

# David Grossman

давид  
гроссман

с кем бы побегать



издательство



**Давид Гроссман**

**С кем бы побегать**

**Едва рука Асафа сжала поводок, пес изо всех сил рванулся с места и потащил его за собой. Асафа на дикой скорости проволокло через двор, стащило по ступенькам и выдернуло на улицу. Потом его ударило о машину, о мусорный бак, швырнуло на прохожего, на одного, другого. Он бежал...**

**епр**

**Тамар собрала волосы в кулак, ощутила их запах попробовала на вкус, поцеловала на прощание, заранее тоскуя по их теплomu прикосновению, по их тяжести...**

**— Наголо, — велела она парикмахеру.**

**— Наголо?! — Его визгливый голос от изумления прервался.**

**епр**

**В центре зала стоял большой ящик. Асаф аккуратно обошел его. Кто его знает — может, это гроб, а может, алтарь. Но стенах висели портреты мужчин в мантиях над их головами сияли нимбы, а глаза, полные осуждения, были вперены в Асафа.**

**епр**

**Что ты о себе навоображала. ты всего-навсего глупая девчонка, решившая поиграть в Джеймса Бонда! Тамар стояла, сжавшись и пригнув голову, словно в ожидании удара. Всегда наступает момент, когда твои фантазии сталкиваются с действительностью, и мыльный пузырь твоих фантазий лопаается прямо у тебя на физиономии...**

*епр*

*Асаф приподнял руку, одну из двух рук, которые лежали рядом с ним. Рука весила тонну. Он медленно расцепил пальцы, торчавшие из руки (это тоже заняло какое-то время) и дотронулся до носа. Нос был очень мокрый и весь в каких-то незнакомых выпуклостях.*

*епр*

*— Ты знаешь «Imagine» Леннона? — спросила Тамар и заметила, как его глаза улыбнулись где-то в самой глубине. Легкая дрожь на дне двух серых потухших озер.*

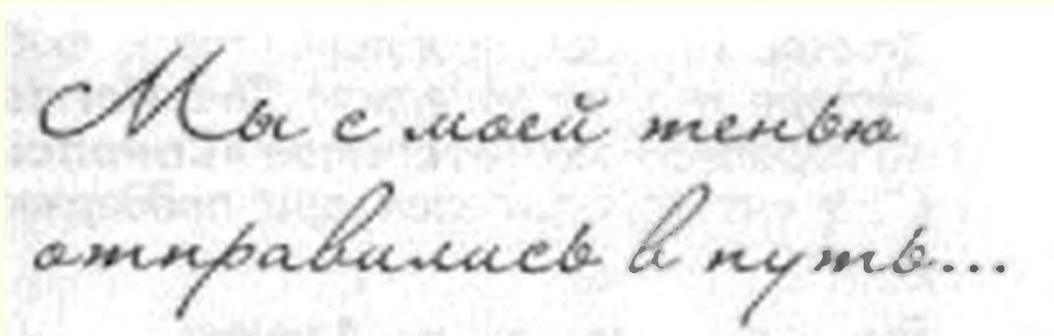
*епр*

*Шай провел по струнам, подстроил гитару, слегка склонив голову набок и едва улыбнувшись своей слабой лунатической улыбкой — самым краешком рта. Словно он слышал звуки, не доступные никому, кроме него.*

*епр*

*А когда песня поведала о том, что «у маленьких цветочков есть мудрость своя». Тамар словно сообщила Пейсаху, перед ним не обычная маленькая доходяга, остерегайся ее тайны. Какого черта ей понадобилось с первой же минуты привлекать к себе особое внимание? Опять то самое проклятие, с тоской думала Тамар, тот самый выпендрож тихонь и отвага трусов.*

# Мы с моей тенью отправились в путь...



Собака мчится по улицам, а за ней торопится мальчишка. Длинный поводок, соединяющий их, цепляется за ноги прохожих, те возмущенно ворчат, и мальчишка вновь и вновь бормочет: «Простите, простите», а между извинениями кричит собаке: «Стой! Стоп!», а однажды, к стыду его, вырвалось еще и «Тпру!», а собака все бежит и бежит.

Она летит вперед, проскакивает оживленные перекрестки на красный свет. Ее золотистая шерсть то исчезает, то возникает снова меж ногами людей, мелькает перед глазами мальчишки, словно посылая тайные сигналы.

— Помедленней! — кричит мальчик и думает, что если бы он хоть знал, как звать эту псину, то мог бы окликнуть по имени, и та, возможно, остановилась или хотя бы притормозила.

Но в глубине души он понимает, что и тогда собака продолжит бежать; даже если поводок затянется на ее шее, собака все равно будет рваться вперед, пока не

окажется там, куда так торопится. И скорее бы уж туда добраться, чтобы она оставила его в покое.

Время для такой беготни не самое подходящее. Мальчик по имени Асаф бежит вперед, а его мысли путаются далеко позади. Он не хочет задерживаться на них, ему нужно сосредоточиться на этой гонке за псом, и мысли его грохочут следом связкой жестянок. Вот, например, жестянка с поездкой его родителей. Сейчас они над океаном, летят впервые в жизни, зачем вообще им понадобилось так внезапно уезжать? А вот жестянка с его старшей сестрой, в эту посудину он боится заглядывать, ведь оттуда полезут одни напасти. А есть и другие жестянки, большие и маленькие, они позвякивают у него в голове, а в конце связки грохочет жестянка, преследующая Асафа уже две недели, и ее лязг, этот неумный дребезг сводит его с ума: он обязан наконец влюбиться в Дафи — сколько можно тянуть?! Асаф знает, что должен хоть на миг остановиться, распутать эту осточертевшую связку из жестянок-мыслей, только у собаки совсем иные планы.

— Вот черт! — выдыхает Асаф.

Ведь еще за минуту до того, как дверь открылась и его позвали взглянуть на пса, он был так близок к этому последнему и бесповоротному месту, где влюбляются в эту чертову Дафи. Он буквально чувствовал, как подчиняет себе эту непокорную точку где-то в глубине живота, слышал неторопливый тихий голосок, вечно шепчущий ему оттуда: «Она не про тебя, эта Дафи, она все время только издевается и насмехается над всеми, а особенно над тобой, и зачем тебе продолжать этот дурацкий спектакль день за днем?» И вот, когда ему уже почти удалось заглушить этот вражий голос, дверь

комнаты, в которой он ежедневно просиживал с восьми до четырех всю последнюю неделю, отворилась и в проеме возник Авраам Данох, тощий, смуглый и мрачный санитарный чиновник мэрии и что-то вроде приятеля его отца, — тот самый, что устроил Асафа на эту работу на весь август. Данох велел ему прекратить бить баклуши и немедленно спуститься в помещение для собак — наконец-то и для него есть работа.

Данох быстро шагал впереди, объясняя про какую-то псину, но Асаф не слушал: обычно ему требовалось несколько секунд, чтобы перейти из одного состояния в другое. Он плелся за Данохом коридорами мэрии, лавируя среди людей, пришедших оплачивать счета за воду и всякие налоги или ябедничать на соседей, которые без разрешения построили террасу; потом он спускался по аварийной лестнице на задний двор — и все пытался уловить, удалось ли ему уже нейтрализовать внутри себя последний оплот сопротивления этой Дафи, а если нет, то что же он скажет Рои, который все требует покончить с колебаниями и начать уже вести себя как мужик. Еще издали Асаф услышал частый, надсадный лай и удивился, так как обычно собаки брехали все вместе, и хор их, достигая третьего этажа, зачастую мешал его грезам. Но сейчас лаяла только одна псина. Данох открыл решетчатую дверь и, повернувшись, что-то сказал — что именно, Асаф не разобрал из-за лая, — затем открыл вторую решетку и ткнул пальцем в узкий проход между клетками.

Ошибиться было невозможно. Данох наверняка привел его именно к этой собаке. Их было там восемь или девять, каждая в отдельной клетке, но на самом деле была только одна собака, словно впитавшая всех

остальных, лишившая их голоса и энергии. Она не отличалась такими уж крупными размерами, но в ней угадывались мощь и неистовство, а еще — отчаяние. Такого отчаяния в собаке Асаф еще никогда не видел. Раз за разом она кидалась на решетку, и клетки дрожали, позвякивая, и тогда собаченция издавала высокий, наводящий ужас звук — странное сочетание воя и рыка. Другие псы, застыв на ногах или лежа, смотрели на нее с молчаливым изумлением и даже с почтением, и у Асафа возникло странное ощущение, что если бы перед ним находился человек, то следовало бы или кинуться ему на помощь, или поскорее уйти, чтобы тот мог побыть наедине со своим горем.

В короткий промежуток между лаем и атаками на клетку вклинился торопливый голос Даноха. Один из инспекторов нашел собаку позавчера, когда та как заведенная кружила по Сионской площади. Ветеринар сперва подумал, что это ранняя стадия бешенства, но никаких признаков болезни не обнаружил, и если не считать грязи и нескольких легких ссадин, то псина в прекрасном состоянии. Асаф заметил, что Данох говорит сквозь зубы, словно желая скрыть от собаки, о ком идет речь.

— Уже двое суток она вот так, — процедил Данох. — А пороху еще хватает. Изрядная зверюга, а? — добавил он и как-то подтянулся, когда пес вдруг уставился на него. — Не простая дворняжка...

— А чья она? — спросил Асаф и отпрянул, потому что собака опять кинулась на решетку, сотрясая клетку.

— То-то и оно, — прогнусавил Данох, почесав голову. — Это тебе как раз и предстоит выяснить.

— Как мне? — испугался Асаф. — Где это я выясню?

А Данох сказал, что как только этот «кальб», как он выразился по-арабски, уgomонится, они его и спросят. Асаф изумленно смотрел на него, и Данох объяснил, что это обычная процедура: цепляют собаку на поводок и пускают ее куда глаза глядят, а сами идут за нею час, другой — пока она не приводит их напрямиком к хозяевам.

Асаф решил, что тот шутит — где это слыхано такое? — но Данох вынул из кармана рубашки сложенный листок и сказал, что прежде, чем передавать собаку, пусть хозяева распишутся в получении вот на этом бланке номер семьдесят шесть.

— Сунь-ка в карман, Асаф, да смотри не потеряй, а то, как я погляжу, ты малость не от мира сего. А главное, объясни этому уважаемому собаководу, что к бланку прилагается штраф — сто пятьдесят шекелей: во-первых, в качестве урока — впредь будет следить за своей псиной, а во-вторых — в качестве ми-ни-маль-ной (Данох явно наслаждался, издевательски цедя каждый слог) компенсации за причиненные мэрии беспокойство и головную боль и за трату времени пре-вос-ход-но-го пер-со-на-ла!

И он с силой хлопнул Асафа по плечу, добавив, что тот, после того как найдет хозяев пса, сможет вернуться в свой кабинет и продолжать валять дурака до конца летних каникул на деньги налогоплательщиков.

— Но как же я... — запротестовал Асаф. — Посмотрите на него... он же как бешеный...

И вот что тогда произошло: пес услышал голос Асафа. Он вдруг остановился. Перестал носиться по клетке. Медленно приблизился к решетке и посмотрел на

Асафа. Его ребра все еще ходили ходуном, но движения замедлились, а глаза словно потемнели. Он наклонил голову набок, точно стараясь получше разглядеть мальчика, и тот подумал, что сейчас пес разинет пасть и скажет человеческим голосом: «Сам ты бешеный».

Пес вдруг лег, положил голову на пол, и его передние лапы заскребли под перегородкой, словно умоляя, а из глотки вырвался новый звук, тоненький и деликатный, вроде щенячьего или детского плача. Даже Данох, человек суровый и без особого восторга устроивший Асафу эту работенку, слегка улыбнулся.

Асаф присел на корточки по другую сторону решетки и, глядя на пса, тихонько заговорил:

— Ты чей? Что с тобой приключилось? Чего ты так буянишь?

Он говорил медленно, оставляя место для ответов и не смущая пса слишком долгими и пристальными взглядами. Он понимал разницу между тем, как приказывают собаке и как разговаривают с ней, — Носорог, приятель его сестры Релли, научил его этому. Пес лежал на полу, часто дышал и выглядел сейчас уставшим, и выдохшимся, и каким-то менее крупным, чем раньше. В помещении для собак наконец воцарилась тишина, другие животные зашевелились в клетках, оживая. Просунув палец между прутьями, Асаф дотронулся до собачьей головы. Пес не пошевелился. Асаф поскреб пальцем слипшуюся, грязную шерсть. Пес начал быстро, жалобно, безостановочно скулить. Словно должен был кому-то что-то рассказать и не способен больше держать все это при себе. Красный язык подрагивал, большие глаза о чем-то молили.

Захваченный этим моментом, Асаф больше не спорил с Данохом, который, поспешив воспользоваться тем, что пес утихомирился, вошел в клетку и пристегнул длинный поводок к скрывавшемуся в спутанной шерсти оранжевому ошейнику.

— Ну-ка, хватай его! — скомандовал Данох. — Сейчас он как миленький пойдет с тобой. — И слегка отпрянул, когда пес вдруг очутился вне клетки и, казалось, в один миг стряхнул с себя и усталость, и тихую покорность, глядя по сторонам с новой нервозностью, принюхиваясь и будто вслушиваясь в далекие звуки. — Ну вот, уже и поладили, — попытался Данох убедить себя. — Только будь осторожен с ним в городе. Я ведь обещал твоему отцу...

Слова замерли у него на языке, ибо пес уже преобразился: его морда заострилась и в облике проступило что-то почти волчье.

— Слышь, — слегка раскисываясь, пробормотал Данох, — это ничего, что я тебя так вот посылаю, а?

Асаф не ответил, только изумленно смотрел на перемены, творившиеся со зверем.

Данох опять хлопнул его по плечу:

— Ты парень крепкий, глянь — повыше меня будешь, да и отца своего. Ты ведь с ним справишься, верно?

Асаф хотел спросить, что ему следует делать, если пес не приведет его к хозяевам, и до каких пор он должен так за ним ходить (в ящике стола его ждал обед — три бутерброда), и что, если пес, например, не

поладил с хозяевами и вовсе не намерен возвращаться домой...

Но все эти вопросы не были заданы ни в тот момент, ни в какой иной. Асаф больше не видел Даноха — ни в тот день, ни в последующие дни. Иногда так легко определить точный миг, когда что-то — например, жизнь Асафа — начинает бесповоротно и до неузнаваемости меняться.

Едва рука Асафа сжала поводок, пес изо всех сил рванулся с места и потащил его за собой. Данох испуганно взмахнул рукой, успел сделать пару шагов за ними, даже кинулся было вслед — все бесполезно. Асафа уже проволочило на дикой скорости через двор мэрии, стащило по ступенькам и выдернуло на улицу. Потом его ударило о припаркованную машину, о мусорный бак, швырнуло на прохожего, на одного, другого.

Он бежал...

Большой мохнатый хвост мельтешит перед глазами, сметая в стороны людей и машины, а следом несется Асаф, загипнотизированный этим хвостом. Иногда пес останавливается на мгновение, поднимает голову и принюхивается, а потом сворачивает в боковую улицу и опять мчится во весь дух, — кажется, что он точно знает, куда стремится, так что гонка, возможно, скоро закончится, пес найдет свой дом, Асаф передаст его хозяевам, и дело с концом. На бегу Асаф размышляет, как же ему быть, если хозяин пса не пожелает платить штраф. Тогда он заявит этому наглецу: «Сударь, моя должность не позволяет мне в данном случае никакой снисходительности. Или платите, или вас ждет суд!» А тот кинется спорить, и Асаф пустит в ход убийственные

аргументы... Асаф бежит и бормочет эти убийственные аргументы, прекрасно понимая, что ничего такого ему не удастся — в спорах он никогда не был силен, всегда предпочитал соглашаться и не устраивать себе лишних проблем. Именно поэтому-то он вечер за вечером соглашался с Рои по поводу Дафи Каплан, лишь бы избежать проблемы. Асаф представляет Дафи — вот она стоит перед ним, высокая и тоненькая, — ненавидя себя за слабость, и вдруг осознает, что рослый мужчина с кустистыми бровями и в белом поварском колпаке о чем-то настойчиво спрашивает его.

Асаф растерянно моргает. Ясное лицо Дафи с вечно ее насмешливым выражением и прозрачными веками ящерицы быстро перетекает в другое лицо, отекшее и хмурое. Асаф испуганно фокусирует взгляд и обнаруживает перед собой узкое помещение, будто высеченное в стене, в глубине пылает печь, и выясняется, что пес решил почему-то задержаться перед маленькой пиццерией, а хозяин, перегнувшись через прилавок, уже во второй или третий раз спрашивает Асафа о какой-то даме.

— Где она? Куда она пропала? Месяц уж, как ее не видать.

Асаф осторожно косится за плечо — может, хозяин пиццерии говорит с кем-то, кто стоит позади? Но нет, тот явно обращается к нему и интересуется, сестра она ему или подружка, и Асаф смущенно поддакивает, пытаясь выиграть время. После недели, проведенной в мэрии, он уже знает, что люди, работающие в старом городе, отличаются своеобразными повадками, странноватым чувством юмора и любят разные приколы в разговоре. Наверное, имея дело со всякими чудаками и туристами из

дальних стран, они привыкли разговаривать нарочито, как в театре, словно за ними наблюдает невидимая публика. Асафу хочется смыться — уж лучше нестись за псом, чем общаться с этим типом, — но пес, как нарочно, усаживается и, вывалив язык, с надеждой пялится на хозяина пиццерии, а этот дядька приятельски свистит ему, будто они старые знакомые, и стремительно, точно баскетболист-профи, из-за спины, запускает в его сторону солидный кусок сыра, а пес на лету хватает кусман и мигом проглатывает.

И еще один кусман. И еще, и еще.

У торговца пиццей брови топорщатся двумя кактусами, и эти брови-кактусы ужасно раздражают Асафа. А мужик говорит, что он никогда еще не видел эту сучку такой изголодавшейся.

— Так это она? — изумленным шепотом переспрашивает Асаф.

До этого момента ему и в голову не приходило, что пес может оказаться сукой — из-за стремительности, силы и упорства. А кроме того, во время безумной гонки, среди всеобщей суеты и переполоха, Асафу нравилось вообразить, будто они с псом — команда, молчаливый мужской союз, а вот теперь... А теперь все стало еще более странным, раз он бежит за собачонкой...

Торговец пиццей сдвигает свои кактусы и, испытующе, быть может даже подозрительно глядя на Асафа, спрашивает:

— Это чего ж, она тебя решила послать вместо себя? И начинает крутить в воздухе НЛО из тонкого теста, умело подбрасывая и ловко подхватывая. Асаф кивает, этак по диагонали кивает, изображая нечто

промежуточное между «да» и «нет» — врать он не хочет. А хозяин пиццерии размазывает по тесту томатное пюре, хотя никаких клиентов вокруг не наблюдается, и посыпает нарезанными маслинами и луком, а также грибами и анчоусами, и даже сезамом и чабрецом, и время от времени, не глядя, бросает через плечо кусочки сыра, а эта собаченция, которая всего минуту назад была сильным и смелым псом, ловит их в воздухе, словно сто раз репетировала этот трюк.

Асаф с изумлением наблюдает за этой парочкой, за их слаженным танцем и не понимает, а он-то что тут делает, чего дожидается. Надо бы спросить о «молодой даме», которая, похоже, бывала здесь со своей собакой, но вопросы, что вертятся на языке, кажутся нелепыми, да еще придется объяснять, что да как, о работе в мэрии, о найденных собаках, и в конце концов Асаф осознает всю запутанность взваленной на него миссии. Не будет ведь он приставать к каждому встречному-поперечному, выясняя, не знаком ли тот с владельцем собаки. И вообще, какое отношение имеют к его службе всякие шавки? Какого черта он согласился на эту затею? Асаф прокручивает в мозгу слова, которые следовало сказать проклятому Даноху. Точно остроумный, въедливый и даже слегка заносчивый адвокат, он мысленно приводит блестящие аргументы, а сам — как всегда случается с ним в подобных ситуациях — слегка съеживается, втягивает голову в широкие плечи и молчит.

Малые и великие возмущения распирают Асафа, пока не вырываются наружу крошечным потоком лавы и не оседают на подбородке ярко-красным прыщиком ярости на Рои, который уломал-таки его собраться сегодня вчетвером, уболтал его, что, мол, Дафи — это самое то, со всех точек зрения самое то. Именно так Рои

и сказал, одарив Асафа пристальным и долгим взглядом, взглядом *порабощения*, а Асаф, глядя на насмешливый золотистый ореол вокруг его зрачков, удрученно подумал, что их дружба с годами превратилась во что-то иное, ну как бы это назвать — то самое «иное»? И, внезапно испугавшись, будто его что-то ударило, он пообещал прийти сегодня, а Рои тогда хлопнул его по плечу и воскликнул:

— Так-то лучше, чувак!

И Асаф ушел, мечтая о решительности, которая позволила бы ему развернуться и швырнуть Рои в морду это «самое то». Ведь все, что Рои требуется, это чтоб Асаф и Дафи были чем-то вроде зеркала навыворот, чтоб оттеняли его самого и Мейталь, их легкость и непринужденность: вот они идут, обнявшись, и целуются через каждые два шага, а Дафи и Асаф молча тащатся за ними, ненавидя друг друга.

— Эй, что с тобой? — рассердился торговец пиццей. — Я с тобой разговариваю!

Пицца, разрезанная на восемь частей, уже упакована в белую картонную коробку, и хозяин пиццерии говорит с ударением, словно ему уже надоело повторять одни и те же слова:

— Смотри хорошенько, тут как всегда: два куска с грибами, один с анчоусами, один с кукурузой, два простые и два с маслинами, езжай поскорее, чтобы не остыло, с тебя сорок шекелей.

— Куда езжай? — шепотом спрашивает Асаф.

— Ты что, без велосипеда? — изумляется торговец. — Сестра твоя на багажник пристраивала. А

ты-то как ухватишь? Но сперва деньги гони! — И он тянет длинную волосатую руку.

Пораженный, Асаф сует пальцы в карман, а навстречу им лезет возмущение. Уезжая, родители оставили ему достаточно денег, но он очень точно рассчитал свои расходы и каждый день пропускал обед в столовке мэрии, чтобы скопить денег на второй объектив к «Кэнону», который родители обещали ему привезти из Америки. И эти неожиданные расходы, вдруг свалившиеся на него, взбесили Асафа. Но ничего не поделаешь, ясно, что пицца приготовлена специально для него, то есть для того, кто приходит сюда с этой собаченцией. И не будь Асаф так зол, он бы, конечно, спросил, кто такая эта хозяйка собаки, но то ли от возмущения, то ли от мерзкого чувства, что вечно кто-то решает за него, Асаф расплачивается и стремительно уходит, демонстрируя свое полное безразличие к деньгам, которые у него выманили обманом. А собака? Та не ждет, пока соответствующее выражение созреет на лице Асафа, она вновь кидается во всю прыть, натягивая поводок до предела. И Асаф снова летит за нею с беззвучным воплем, с лицом, перекошенным от усилий удержать в одной руке большую картонную коробку, а в другой — поводок. Чудом он проносится между прохожими целым и невредимым, коробка парит в высоко вскинутой руке, и Асаф абсолютно уверен, тут у него нет никаких иллюзий, что он сейчас — точь-в-точь официант с карикатуры. Вдобавок ко всему коробка источает аромат пиццы, а он с утра съел всего-навсего один сэндвич и, ясное дело, имеет полное право на эту пиццу, реющую у него над головой ароматным знаменем. Он ведь уплатил за каждую маслинку, за каждый грибок, и все же Асаф чувствует, что пицца не совсем его, что, в

некотором смысле, кто-то другой купил ее для кого-то еще, и эти люди ему незнакомы.

И вот так, с пиццей в руке, он пересек на красный свет немало улиц и переулков. Никогда еще Асаф так не бегал, никогда еще не нарушал столько правил одновременно, и со всех сторон ему сигналили, натыкались на него, ругались и орали, но Асаф давно бросил обращать внимание на ругань и крики. С каждым шагом он освобождался и от злости на самого себя — ведь он сейчас совершенно свободен, он вырвался из душного и скучного кабинета, избавлен от всех больших и мелких неприятностей, изводивших его в последние дни, он свободен, как свободна звезда, сорвавшаяся с орбиты и пересекающая небосвод, оставляя за собой шлейф искр. А потом Асаф и вовсе перестал думать, перестал слышать рычание внешнего мира, превратился в топот собственных ног, в удары сердца и ритмичное дыхание. Асаф никогда не был искателем приключений, совсем даже наоборот, но он все больше переполнялся незнакомым ощущением тайны, наслаждением от бега в неведомое, и в сознании его прыгала радостная, как туго накачанный мяч, мысль о том, что хорошо бы, хорошо бы это не кончалось.

За месяц до того, как Асаф встретился с собакой, а точнее — за тридцать один день до этого, на шоссе, что извивается над одной из окружающих Иерусалим долин, с автобуса сошла девушка. Маленькая, хрупкая. Грива черных вьющихся волос почти полностью скрывала ее лицо. Чуть пошатываясь под тяжестью огромного рюкзака, девушка спустилась по автобусным ступенькам. Водитель с сомнением спросил, не надо ли помочь, и девушка,

перепуганная его вопросом, съежилась, сжала губы и отрицательно покачала головой.

Она подождала на пустой остановке, пока автобус отъедет подальше, потом еще немного подождала — пока автобус совсем не скрылся за поворотом. Не двигаясь с места, она посмотрела налево, потом направо, потом еще покрутила головой, и предзакатное солнце вспыхивало искрами всякий раз, когда касалось голубой сережки в ее ухе.

Возле остановки валялась изъеденная ржавчиной цистерна из-под бензина. На столбе болталась вылинявшая картонка с надписью «На свадьбу Сиги и Моти» и стрелкой, указующей в небеса. Девушка в последний раз оглянулась по сторонам и убедилась, что никого нет. Машины не часто сворачивали на это раздолбанное шоссе. Девушка медленно обогнула остановку. Теперь она смотрела на расстилавшуюся у ее ног долину, голову она старалась держать неподвижно, но глаза пристально исследовали местность.

Случайный свидетель наверняка решил бы, что она надумала прогуляться вечерком на природе. Именно так ей и хотелось выглядеть. Но если бы мимо проехала машина, то водитель мог бы и удивиться, с чего это девчонка одна спускается в долину. И быть может, еще одна мысль потревожила бы его: зачем это на вечерней прогулке в непосредственной близости от города понадобился здоровенный рюкзак — будто девчонка отправляется в кругосветное путешествие? Но машин на дороге не было, как не было никого и в долине. Девушка начала спускаться по теплым камням, пробираясь сквозь

желтые заросли горчицы, и вскоре пропала в чаще из терebinта<sup>[1]</sup> и колючего кустарника.

Она шла быстро, едва не падая из-за рюкзака, то тянувшего ее назад, то подталкивавшего вперед. Непокорные волосы лезли в лицо. Губы были по-прежнему стиснуты с тем решительным выражением, с каким она сказала «нет» водителю автобуса. Через несколько минут она начала задыхаться. Сердце учащенно колотилось, и в голову полезли неприятные мысли. В последний раз она приходит сюда в одиночку, подумалось ей, а в следующий раз, в следующий раз...

Если следующий раз будет.

Наконец она добралась до дна почти пересохшего русла, по которому струился едва заметный ручеек, рассеянно обвела взглядом склоны, будто наслаждаясь видом. Завороженно проследила за летящей сойкой, вместе с ней оглядела линию горизонта. На дороге есть участок, откуда ее могут заметить. Если кто-то вдруг стоит сейчас наверху, то она видна как на ладони.

Мало того, этот кто-то может вспомнить, что и вчера, и позавчера она тоже спускалась сюда.

По меньшей мере десять раз за этот месяц.

И тогда этот кто-то может поймать ее, когда она придет в следующий раз...

— Будет, будет следующий раз, — твердила она, стараясь не думать, что произойдет с ней до тех пор.

Присев в последний раз, словно поправляя застёжки на сандалиях, девушка замерла в неподвижности на

---

<sup>1</sup> Фисташковые деревья. — *Здесь и далее примеч. перев.*

целых две минуты, проверяя каждый камень, каждое дерево, каждый куст.

И тут, словно заколдованная, она исчезла. Попросту растаяла. Даже если кто-нибудь за ней, он не смог бы уловить, что произошло, — за миг до этого она еще сидела на камне, спустив рюкзак с плеч, откинувшись назад, и вот — ветер колыхает кусты, а долина пуста.

Она бежит по нижнему, не видному с дороги руслу, пытаясь поймать рюкзак, катящийся впереди, словно мягкий валун, приминая дикий овес и чертополох. Рюкзак затормозил только у ствола теребинта, и дерево качнулось, уронило засохшие фисташки, рассыпавшиеся красновато-коричневыми осколками.

Из бокового кармашка рюкзака девушка достала фонарик и отбросила в сторону несколько засохших, вырванных с корнем кустов, открывая низкий проем, похожий на вход в домик гномов.

Два-три шага согнувшись. Она пристально вслушивалась в каждый шорох, вглядывалась в каждую тень, принюхивалась, как дикий зверь, всеми порами впитывая темноту: не побывал ли тут кто-нибудь со вчерашнего дня? Не сорвется ли вдруг одна из теней, чтобы кинуться на нее?

Пещера неожиданно расширилась, сделавшись высокой и просторной — можно было распрямиться во весь рост и даже сделать несколько шагов от стены к стене. Слабый свет проникал сквозь находившееся где-то наверху отверстие, заросшее кустарником.

Она быстро вытряхнула содержимое рюкзака на циновку. Консервы. Свечи. Пластиковые стаканчики, тарелки. Спички. Батарейки. Еще одна пара брюк и еще

рубашка, которые она решила прибавить в самый последний момент. Пенопластовая канистра с водой. Рулоны туалетной бумаги, сборники кроссвордов. Плитки шоколада. Сигареты «Винстон»... Все, рюкзак опустел. Консервы она купила после обеда. Поехала за ними в Рамат-Эшколь, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из знакомых, и все равно встретила женщину, которая когда-то работала с ее мамой в ювелирной лавке при гостинице «Царь Давид». Женщина приветливо заговорила с ней и поинтересовалась, зачем это она покупает такую кучу всего, а она, даже не покраснев, ответила, что завтра отправляется в поход.

Девушка проворно сортировала и укладывала принесенное добро. В сотый раз пересчитала бутылки с минеральной водой, канистры. Главное — вода. Уже набралось больше пятидесяти литров. Этого достаточно, должно хватить на все время, на дни и ночи. Ночи будут особенно тяжелыми, и ей потребуется много воды. Она снова, в последний раз, смела песок с каменного пола. Попыталась почувствовать себя как дома. Однажды, миллион лет назад — примерно за месяц до этого дня, — это было любимое ее потайное место. Сейчас при мысли о том, что ее тут ждет, все внутри переворачивалось.

Она подтянула толстый матрас поближе к стене и прилегла на него, проверяя, удобно ли. Даже лежа она не позволяла себе расслабиться. Мозг не переставал гудеть. Как все это будет, когда она приведет его сюда, в свой заколдованный лес, в ресторан на краю вселенной? И что ее ожидает в этом месте, наедине с ним?

На стене пещеры футболисты «Манчестер Юнайтед» сияли от счастья после завоевания Кубка чемпионов. Маленький сюрприз, который она приготовила, чтобы его

порадовать. Если он вообще обратит внимание. Она рассеянно улыбнулась, и вместе с этой улыбкой возвратились неприятные мысли и внутри снова заскребся страх.

«А что, если я совершаю ужасную ошибку?» — подумала девушка.

Она встала и принялась расхаживать от стены к стене, притиснув руки к груди. Вот здесь он будет лежать. А здесь, на этом складном пластиковом стуле, будет сидеть она. Она приготовила матрас потоньше и для себя, но у нее не было иллюзий: она ни на минуту не сможет сомкнуть глаз в течение всех этих дней. Трое, четверо, пятеро суток... Как предупредил ее беззубый из парка Независимости, «на минуту отведешь от него взгляд — смоемся от тебя».

Она удрученно смотрела в ухмыляющийся пустой рот, в глаза, пожирающие ее фигуру и двадцатишекелевую бумажку, которую она держала перед его носом.

— Объясни, — потребовала она, стараясь скрыть дрожь в голосе, — что значит «смоемся»? С чего это ему смываться?

А тот, в своем загаженном полосатом халате, кутаясь, несмотря на жару, в свалявшееся мохнатое одеяло, ухмыльнулся подобной наивности:

— Слыхала, сестренка, о таком фокуснике, который смывался из любого места, где его запрут? Так и с ним будет. Да засади ты его в сундук со ста замками, в банковский сейф, в мамкино пузо — а он все равно смоемся.

Она не представляла, как все это выдержит. Может быть, когда окажется с ним тут, откуда-нибудь возьмутся новые силы? Только на это и остается уповать, пусть надежды и слишком слабы. Все и так из рук вон плохо, а если начать сейчас думать о вероятности провала, то можно заранее отчаяться. Она в страхе металась по тесной пещерке. Только не размышлять. Только не рассуждать. Сейчас ей нужно быть чуть-чуть не в себе. Как солдату, идущему на смертельное задание. Она снова пересчитала запасы провизии, наверное уже в двадцатый раз, прикидывая, хватит ли на все дни и ночи. Снова присела на складной стул перед матрасом, пытаюсь представить, что он ей скажет, и как он с каждым часом будет ее все больше ненавидеть, и что попытается с ней сделать. Эти мысли подняли ее на ноги. Она подбежала к нише в стене, проверила бинты, пластыри и йод. Но не успокоилась. Отодвинула большой камень, открыв деревянную дощечку. Под ней, в ямке, вырытой в земле, лежали маленький электрошокер и наручники, купленные в магазине туристского снаряжения.

«Я чокнулась», — подумала она.

Перед тем как выйти, она еще раз обвела взглядом пещеру, которую обустроивала целый месяц. Когда-то, может быть много веков назад, здесь жили люди. Она обнаружила их следы. И звери тоже тут обитали. А теперь это будет их дом — ее и его. А также их психушка и больница, а главное — тюрьма. Довольно. Надо уходить.

А месяц спустя мальчишка с собакой мчались по улицам Иерусалима, чужие друг другу, но связанные поводком, еще не готовые признаться себе, что они и

вправду*вместе*,но все-таки уже начинающие узнавать разные мелочи друг о друге: манеру, с которой наостряют уши; скорость, с которой стучат башмаки по асфальту; запах пота; разные чувства, которые умеет выражать хвост; с какой силой рука сжимает поводок и сколько рвения и надежды в теле, тянущем его все дальше вперед... Они уже вырвались за пределы оживленных центральных улиц, углубились в узкие извилистые переулки, а собака так и не замедлила бег. Асафу казалось, что ее тянет к себе мощный магнит, у него мелькнула странная мысль, что если бы он перестал размышлять, если бы начисто отказался от собственной воли, то и его бы потянуло туда же. А через минуту он с изумлением очнулся от этих грез, потому что собака остановилась напротив зеленой двери в высокой каменной стене и буквально по-человечьи открыла ее — встав на задние лапы и нажав передними на железную ручку. Асаф осмотрелся по сторонам. Улица была пуста. Собака, посапывая, тянула его вперед. Он нырнул в дверной проем и мгновенно погрузился в абсолютную тишину, наводившую на мысли о подводных глубинах.

Большой двор, присыпанный белоснежной щебенкой. Ряды фруктовых саженцев.

Массивный каменный дом.

Асаф шел медленно, осторожно. Щебенка скрипела под ногами. Его изумило, как столь красивое и просторное место может прятаться в такой близости от самого центра города. На перекладине круглого колодца висело сверкающее ведро, рядом, на пеньке, стояли несколько больших керамических чашек, словно ожидая желающих выпить. Асаф заглянул в колодец, бросил вниз камешек и долго ждал всплеска. Чуть поодаль

находился увитый виноградом навес, под ним пять рядов скамеек, перед каждой скамейкой установлено по пять больших обтесанных камней — подставки для усталых ног.

Он остановился и пригляделся к каменному дому. Стены оплело разросшееся вьющееся растение с бордовыми цветами; вьюнок добирался до высокой башни, до основания венчающего ее креста.

«Да это же церковь! — с удивлением подумал Асаф. — Собака, видно, здесь живет. Что-то вроде церковной собаки».

Асаф попытался поверить в эту идею и на миг представил себе улицы Иерусалима, кишашие сворами обалдевших церковных собак.

Собака же упорно, словно здесь и вправду был ее дом, тянула его в глубь двора. На самой верхотуре башни располагалось маленькое узорчатое окошко — словно глаз, раскрытый посреди зарослей бугенвиллии. Собака задрала голову к небу и коротко и звонко залаяла.

Несколько секунд ничего не происходило. Потом сверху послышался невнятный шум — будто кто-то поднялся со скрипучего стула. Еще через мгновение узкое окошко отворилось и раздался женский, а может, и мужской голос (такой скрипучий, что и не разберешь) — взволнованный, односложный выкрик. Возможно, то было имя собаки. А та все лаяла и лаяла, и голос сверху снова позвал ее, резкий и изумленный, будто человек не верил удаче. Асаф решил, что его краткое путешествие подошло к концу. Собака вернулась домой, к обитателю этой башни. Как же быстро все закончилось! Асаф ждал, что кто-нибудь выглянет из окошка и позовет его наверх, но вместо головы высунулась тонкая смуглая рука — он

даже подумал, что это рука ребенка, — а затем появилась плетеная корзинка, привязанная к веревке, и стала спускаться, покачиваясь, точно маленькая воздушная лодочка, пока не остановилась прямо перед его лицом.

Собака уже буквально бесновалась: заливаясь лаем, она рыла землю и носилась между церковной дверью и Асафом. В корзинке Асаф обнаружил большой и тяжелый железный ключ. Он на миг заколебался. Где ключ, там и дверь, но что ожидает его за нею? С определенной точки зрения, Асаф больше всех соответствовал такой задаче. За его плечами были сотни часов упражнений, подготовивших его именно к подобной ситуации: большой железный ключ, высокая башня, таинственный замок. А также заколдованный меч, волшебное кольцо, сундук с сокровищами и охраняющий его кровожадный дракон, и почти всегда — три двери, из которых необходимо выбрать единственно нужную, а за двумя другими подстерегают всевозможные разновидности мученической смерти. Но здесь только один ключ и одна дверь, и Асаф вслед за собакой подошел к двери и открыл ее.

Он постоял на пороге большого темного зала, надеясь, что хозяин спустится из своей башни, но никто не спускался, да и шагов никаких не слышалось. Тогда Асаф вошел, и дверь медленно закрылась за ним. Он снова подождал. Зал медленно проступал из темноты, и Асаф разглядел несколько высоких шкафов, этажерок и столов. И книги. Тысячи книг. Вдоль всех стен, на полках, на шкафах, на столах и стопками на полу. Там же высились гигантские пачки газет, перевязанные тонкой бечевкой, и на каждую была наклеена бумажка с датами: 1955, 1957, 1960... Собака снова потянула вперед, и Асаф

двинулся за ней, шаг за шагом. На одной из полок он увидел детские книги и на секунду замешкался и даже слегка перепугался. Откуда здесь детские книжки? С каких это пор попы и монахи читают детские книжки?

В центре зала стоял большой ящик, Асаф аккуратно обогнул его. Кто его знает — может, это гроб, а может, алтарь. Ему казалось, что сверху доносятся звуки легких и быстрых шагов и даже звон ножей и вилок. На стенах висели портреты мужчин в мантиях, над их головами сияли нимбы, а глаза их, полные осуждения, были вперены в Асафа.

Огромное гулкое пространство множило эхом каждое движение, каждый выдох, скрежет собачьих когтей по полу. Собака тянула Асафа к деревянной двери в конце зала, а он старался оттащить ее назад. Он вдруг остро почувствовал, что настал последний миг, когда еще можно скрыться, убежать, возможно даже — спастись. Но собака не собиралась терпеть его колебания, она учуяла кого-то дорогого, любимого, запах этот должен был стать телом, прикосновением, и она из всех своих собачьих сил стремилась вперед. Натянутый поводок подрагивал. Собака наконец добралась до двери, встала на задние лапы и, поскуливая, принялась скрести ее когтями. В таком положении она была почти с него ростом, и сквозь грязь и спутанную шерсть Асаф опять разглядел, как она гибка и красива, и сердце его сжалось, потому что, в сущности, он не успел ее узнать... всю жизнь он мечтал о собаке и умолял родителей, чтобы ему позволили завести ее, — прекрасно сознавая, что на это нечего и рассчитывать из-за маминой астмы, а вот теперь у него появилась собака, но столь ненадолго и лишь на бегу.

«Что я тут делаю?» — спросил он себя и нажал на ручку.

Дверь отворилась. Он стоял в изогнутом круговом коридоре, вероятно огибавшем всю церковь по периметру.

«Мне не следует здесь находиться», — подумал Асаф и побежал за собакой, ринувшейся вперед, миновал три закрытые двери и очутился у подножия большой каменной лестницы.

«Если со мной что-нибудь случится, — думал он, представляя себе капитана авиалайнера, с мрачным видом подходящего к его родителям и шепчущего им что-то на ухо, — никому на свете не придет в голову искать меня здесь».

На верхней площадке обнаружилась еще одна дверца, маленькая и синяя. Собака лаяла и скулила, почти разговаривала, принюхиваясь и скребя порог, а из-за двери неслись ликующе-радостные возгласы, напомнившие Асафу кудахтанье, и кто-то провозгласил на странном иврите:

— Прийди-прийди, голубка моя, врата разверсты и ты узришь!

В замке заскрежетал ключ, дверь слегка приоткрылась, и собака пулей влетела внутрь. Асаф остался снаружи, по эту сторону тут же захлопнувшейся двери. Почему всегда все заканчивается вот так, подумал он удрученно, почему всегда именно перед ним захлопывается дверь? И на сей раз Асаф решился — слегка толкнул дверь и заглянул в щелочку. Он увидел согнутую спину и длинную косу, свисающую из-под круглой черной шапочки, и на миг подумал, что это

ребенок с косой — худенькая девочка в странноватом сером халате, но через секунду понял, что это женщина, маленькая и старая, что она смеется, зарывается лицом в собачью шерсть, обнимает собаченцию тонкими ручками и что-то лопочет на чужом языке.

Асаф терпеливо ждал, не желая мешать. Наконец женщина со смехом отпихнула от себя собаку и воскликнула:

— Ну довольно, довольно, скандальяриса ты этакая! Дай мне и Тamar узреть!

Старушка обернулась, и широкая улыбка на ее лице померкла.

— Кто это? — отпрянула она. — Кто ты?

Она застонала и схватилась руками за воротник своей рясы, лицо исказилось гримасой разочарования и испуга.

— И что ты здесь алкаешь?

Асаф на секунду задумался.

— Не знаю, — ответил он.

Монашка отступила в глубь комнаты, прижалась спиной к книжным полкам. Собака стояла между ней и Асафом, в замешательстве глядя на них по очереди. Асафу показалось, что и собака разочарована — не такой встречи она ждала, ведя его сюда.

— Извините, н-ну... я правда не знаю, что я здесь делаю, — повторил Асаф, чувствуя, что только все запутывает, вместо того чтобы разъяснить, — как обычно, как всегда, когда от него требуется что-то уладить при помощи слов. Он не понимал, как успокоить эту удивительную старушку, как сделать, чтобы она не

задыхалась, чтобы не морщила лоб. — Вот пицца. — Он взглядом указал на коробку в своих руках, надеясь, что хоть это ее успокоит, ведь пицца — это пицца, штука понятная и однозначная.

Но монашка лишь крепче прижалась к полке с книгами, и Асаф ощутил себя слишком большим, слишком угрожающим в своей телесности, слишком неуклюжим, а старушка была такой крошечной и трогательной — напуганная маленькая птичка, распушившая перышки, чтобы напугать хищника.

Тут Асаф заметил накрытый стол: две тарелки, две чашки, большие железные вилки. Монашка ждала гостя. Вот только чем объясняются этот ужасный страх и это разочарование — просто мука?

— Ну... я пойду, — осторожно сказал он. Оставался еще бланк... и штраф. Асаф понятия не имел, как об этом сообщают. Как просят человека уплатить штраф.

— Как пойдешь? — перепугалась женщина. — А где Тамар? Почему она не пришла?

— Кто?

— Тамар! Тамар! Моя Тамар, *ее*Тамар! — И трижды нетерпеливо указала на собаку, которая настороженно следила за разговором, переводя взгляд с одного лица на другое, будто наблюдая за игрой в пинг-понг.

— Я с ней незнаком, — пробормотал Асаф. — Я ее не знаю. Правда.

Наступило долгое молчание. Асаф и монашка смотрели друг на друга, как иностранцы, отчаянно нуждающиеся в переводчике. Внезапно собака гавкнула, и они одновременно сморгнули, будто очнулись от

заклятья. В голове Асафа медленно ворочались мысли: Тамар — это, наверное, та самая «молодая дама», о которой говорил торговец пиццей, та самая, что с велосипедом, — может, она развозит пиццу по храмам... Ну да, все теперь ясно, думал он, прекрасно зная, что ничего не ясно, но все это его уже не касается.

— Понимаете, я только принес пиццу. — Он опустил белую картонную коробку на стол и проворно отступил, чтобы старушенция не подумала, будто он тоже собирается тут лакомиться...

— Пицца, пицца! — взорвалась монашка. — Довольно уже про пиццу! Я о Тамар его вопрошаю, а он о пицце все толкует! В каких краях ты ее встретил? Сказывай немедля!

Асаф невольно втянул голову в плечи. Ее страх быстро улетучился, и вопросы сыпались один за другим, словно удары маленьких кулачков:

— Как это ты сказываешь, что она тебе неведома? И не дружочек ты ей, и не родич? Ну-ка, воззришь мне в очи!

Асаф поднял глаза, почему-то чувствуя себя под ее въедливым взглядом чуточку обманщиком.

— И она не снарядила тебя, чтобы радость мне даровать? Чтобы я не очень за нее тревожилась? Один миг! Письмо! Дура я, конечно же, письмо!

Монашка бросилась к картонке, открыла ее, заглянула под пиццу и со странным волнением принялась читать рекламу пиццерии, словно ища намек между строк, и не найдя, переменялась в лице.

— Нет даже маленькой записочки? — прошептала она, нервно заправляя седые пряди под черную шерстяную шапочку. — Но может, сообщение на устах? Что она испросила тебя упомнить? Постарайся, молю тебя, это важно, очень важно. Конечно, она повелела сказывать мне кое-что, верно?

Ее глаза были прикованы к его губам, как будто она пыталась вызвать желанные слова.

— Или же повелела передать, что всё там благолепно устроилось? А, верно? Что опасность миновала? Так и сказывала тебе? Не так ли?

Асафу подумалось, что сейчас он являет точную иллюстрацию к словам его сестрицы Релли: «Твое счастье, Асафи, — с такой физиономией, как у тебя, худшее всегда позади».

— Но подожди минуточку! — Глаза монашки сузились. — Уж не из них ли ты, не дай Бог, из этих вурдалаков? Толкуй наконец, ты из *этих*? Так знай же, что я, сударь, не боюсь!

И она топнула так, что Асаф отшатнулся.

— Что ты язык проглотил? Что ты с ней сотворил? Я вот этими дланями растерзаю тебя на части, если ты хоть перстом дотронулся до моей девочки!

Тут собака внезапно заскулила, Асаф вздрогнул, опустился на корточки и принялся гладить ее обеими руками. Однако собака продолжала скулить, дрожа всем телом и напоминая ребенка, очутившегося между ссорящимися родителями и неспособного больше выносить этого. Без колебаний Асаф растянулся на полу рядом с ней, глядя, обнимая, шепча на ухо. Он будто и забыл, где находится, забыл о монашке, он изливал всю

свою нежность на эту несчастную, запутавшуюся псину. А монашка молча, в изумлении смотрела на этого полувзрослого парня, изучающе вглядывалась в его серьезное детское лицо с черной челкой, с редкими подростковыми прыщиками.

Но тут до Асафа дошли ее слова, он вскинул голову:

— Так она — девочка?

— Что? Кто? Да, девочка... нет, дева. Примерно как ты...

Монашка откашлялась, легкими прикосновениями пальцев пробежалась по своему лицу, не сводя глаз с Асафа — глядя, как он утешает и урезонивает собаку, терпеливо и нежно разглаживая собачьи всхлипы, пока окончательно не угомонил их и пока карие собачьи глаза снова не засветились.

— Ну все, все, вот видишь — все в порядке, — пробормотал Асаф, затем встал и снова замкнулся в себе.

— Ну хоть растолкуй ты мне, — сказала монашка, уже совсем иным тоном, в котором сквозили лишь горечь и разочарование. — Если ты ее не ведаешь, то как же ты домыслил принести сюда воскресную пиццу? И как эта собака дозволила тебе вести ее? Ведь никому в целом свете, никому, кроме Тамар, она не дозволила бы себя привязать. Или ты такой младенец Соломон, сведущий в языке тварей земных?

Вздернув маленький подбородок, она требовательно ждала ответа. Асаф неуверенно пробормотал, что, мол, нет, никакой это не язык тварей земных, а просто... как бы сказать... Если честно, он понимал далеко не все из того, что монашка говорила. Она так быстро тараторила, вставляла какие-то странные слова, и говор у нее был с

каким-то придыханием — как у очень-очень старых иерусалимцев, да и вообще ответов она не дожидалась, сыпала все новыми и новыми вопросами.

— Однако ты наконец отвернешь уста свои? — нетерпеливо выпалила она. — Панагия му!<sup>[2]</sup> Доколе ты станешь язык глотать свой?

Асаф встряхнулся и рассказал вкратце, что он работает в мэрии и что этим утром...

— Погодь минуточку! — оборвала его монашка. — Что ты мчишься? Не разумею я: ведь ты же зелен еще, дабы в трудах пот лить.

Асаф улыбнулся про себя, сказал, что пот льет лишь в каникулы, когда совершенно свободен от... И она снова перебила:

— Свободен? Так тебе дарована совершенная свобода? Скорей ж, скорей, поведай мне, где же пребывает это райское, дивное место!

И Асаф объяснил, что имел в виду обычные летние каникулы, и теперь уже была очередь монашки улыбаться.

— А-а, каникулы разумеешь, прекрасно, продолжай! Да только поведай прежде, как раздобыл ты столь дивную работу?

Асаф удивился этому вопросу. Какое отношение его работа имеет к собаке и почему его персона вообще так интересуется ее? Но он, похоже, и впрямь интересовал эту странную монашку. Она придвинула себе маленькое кресло-качалку, уселась, сложила руки на слегка

---

<sup>2</sup> Пресвятая Богородица (*греч.*).

расставленных коленях и, легко качнувшись, спросила, превеликое ли наслаждение он получает от трудов своих, и Асаф ответил, что не особо превеликое — он регистрирует жалобы жителей по поводу лопнувшего водопровода или потекшей канализации, но большую часть времени просто проводит как во сне...

— Как во сне? — Монашка так и подскочила. — Сидишь и сны зришь наяву? Да еще за плату? О, вот ты и заговорил! Кто сказал, что не умеешь ты разговаривать? Ну а что же ты зришь во снах своих? Поведай! — И в предвкушении даже коленками пристукнула.

Асаф смутился еще больше и принялся объяснять, что он не совсем видит сны, а так только, наяву... думает разные мысли о всяких там вещах...

— Но о каких вещах, вот в чем вопрос! — В глазах монашки явственно полыхнуло нечто бесовское, а все лицо ее выразило столь глубокую заинтересованность, что Асаф вконец смешался.

Что же, рассказывать ей о Дафи? О том, как бы от нее отделаться так, чтобы не поругаться с Рои? Он растерянно взглянул на монашку. Ее темные глаза были жадно прикованы к его губам, и на какой-то шальной миг он подумал, что и вправду расскажет ей чуть-чуть... А что — для понта, она все равно ничего в этом понять не способна, тысячи световых лет разделяют их миры.

— Да? — поторопила монашка. — Снова ты смолк, милый? Невзначай отсох твой язык? Не дай тебе Бог прервать лишь зародившуюся историю!

Асаф пробормотал, что это так, просто глупости.

— Нет, нет, нет! — Старушка ударила в ладоши. — Не бывает глупых историй. Знай же, что всякая история

связана во глубине своей с великой истиной, даже ежели истина нам неведома!

— Но это правда обычная глупая история, — возразил Асаф и тут же невольно улыбнулся, потому что ее губы сложились в хитрую усмешку — так усмеваются маленькие девочки, загнавшие взрослого в угол.

— Хорошо. — Монашка притворно вздохнула и скрестила руки на груди. — Поведай мне, в таком разе, твою обычную глупую историю. Но зачем ты стоишь? Слыхали вы о таком? — Она изумленно огляделась вокруг. — Хозяйка расселась, а гость стоймя стоит!

Она проворно вскочила и подвинула ему высокий стул с прямой тяжелой спинкой.

— Прошу садиться, а я принесу кувшин водицы и немного угощения. Что скажешь, если я нарежу нам свежий огурец и пом-мидор? (Она так и сказала: «пом-мидор».) Не всякий день случается здесь столь важный гость, из мэрии! Динка, сиди тихонько. Ты знаешь, что дадено будет и тебе.

— Динка? — переспросил Асаф. — Ее так зовут?

— Да. Динка. А я, — она подмигнула собаке, — я кличу ее Укрощение Строптивной, и Непокорная Дщерь,<sup>[3]</sup> и Голубка Моя, и Златовласка, и Скандальяриса, и еще ста двадцатью одним именем, верно, свет очей моих?

Собака смотрела на старуху с любовью, наостряя уши каждый раз, когда упоминалось ее очередное имя, и что-то незнакомое и неясное задело вдруг Асафа, словно легкое прикосновение. «Динка и Тамар, — подумал он. —

---

<sup>3</sup> Парафраз из Первой книги Царств.

Динка Тамар и Тамар Динки». И на миг увидел их, льнущих друг к другу в нежном, ласкающем единстве. Но тут он вспомнил, что это и правда не его дело, и поспешно отогнал видение.

— А тебя как?

— Что как меня?

— Как тебя кличут?

— Асаф.

— Асаф, Асаф, псалом Асафа... — пропела монашка себе под нос и почти бегом поспешила на кухню.

Через цветастую занавеску он слышал, как она режет овощи и напевает. Вернувшись, монашка поставила на стол большой стеклянный кувшин, в котором плавали ломтики лимона и листья мяты, и тарелку с нарезанными огурцом и помидором, а также с маслинами, колечками лука и кубиками брынзы, и все это было полито оливковым маслом. Она села напротив Асафа, вытерла ладони о фартук, повязанный поверх рясы, и протянула ему руку:

— Теодора. Дочь греческого острова Ликсос. Последняя из жителей несчастного сего острова ныне сидит с тобою за трапезой. Прошу, откушай, сын мой.

Напротив двери маленькой парикмахерской в квартале Рехавия Тамар надолго остановилась, не решаясь войти. Час был вечерний, завершался тягучий и ленивый июльский день. Чуть ли не целый час она вышагивала взад-вперед по тротуару перед парикмахерской, разглядывая в большом витринном

стекле свое отражение и старика-парикмахера, стригшего старика-клиента.

«Стариковская парикмахерская, — думала Тамар. — То, что надо. Здесь меня не признают».

Два старца дожидались своей очереди. Один читал газету, а другой, почти совершенно лысый — что он вообще здесь делает! — с круглыми и водянисто-стеклянными глазами, не умолкая болтал с парикмахером. Волосы льнули к спине Тамар, словно умоляя их помиловать. Вот уже шесть лет, с десятилетнего возраста, она не стриглась. Не решалась на это даже в те годы, когда хотела навсегда забыть, что она девочка. Волосы были удобной защитой от мира, завесой, за которой она могла укрыться, они становились знаменем свободы, когда, неукротимые и летучие, развевались вокруг нее. Раз в несколько месяцев, в редкие приступы заботы о своей внешности, Тамар заплетала волосы в толстые косы, укладывала на макушке и чувствовала себя взрослой и женственной — почти красивой.

В конце концов она все же толкнула дверь и вошла в парикмахерскую. Запахи мыла, шампуня и спирта встретили ее вместе со взглядами стариков. В парикмахерской воцарилось тяжелое молчание. Тамар отважно прошла к креслу у стены и села, стараясь не обращать внимания на взгляды; свой большой рюкзак она пристроила у ног, а огромный черный кассетник положила в соседнее кресло.

— Так вот, слышь, — попытался возобновить прерванную беседу лысый со стеклянными глазами, — что она мне заявила, дочка-то моя? Что внучку, которая

сейчас родилась, они, значит, решили назвать Беверли. Почему? А вот так. Старшая сестричка надоумила...

Слова его бессмыслицей повисли в воздухе, сгустившись, словно пар, вырвавшийся на холод. Старик обескураженно замолчал, погладил лысину, будто что-то размазывая по ней. Мужчины украдкой косились на девушку, переглядывались, плетя паутину всеобщего согласия. С ней не все в порядке, говорили эти взгляды, она не на своем месте, да и сама не своя.

Парикмахер работал молча, иногда поднимая глаза к зеркалу. Неожиданно он встретился со взглядом ее спокойных голубых глаз, и внезапно его пальцы словно онемели.

— Ну хватит тебе, Шимек, — сказал он со странным напряжением в голосе. — Потом расскажешь.

Тамар собрала волосы в кулак, ощутила их запах, попробовала на вкус, поцеловала на прощание, заранее тоскуя по их теплоте, чуть щекочущему прикосновению, по их тяжести, по ощущению, что эти волосы — ее суть, что именно они делают ее реальной.

— Наголо, — велела она парикмахеру, сев в кресло.

— Наголо?! — Его визгливый голос от изумления прервался.

— Наголо.

— А не жалко?

— По-моему, я ясно выразилась.

Два старика аж привстали. Третий — Шимек — глухо закашлялся.

— Мейдэле,<sup>[4]</sup> — вздохнул парикмахер, и его очки запотели, — может, вам стоит пойти домой и сперва спроситься у ваших мамы и папы?

— Вы стрижете или даете консультации по вопросам воспитания? — резко спросила Тамар.

Их взгляды на мгновение скрестились в зеркале. Эта резкость и это упорство были для нее внове. Тамар новые черты ее характера не нравились, но они помогали, и в последнее время помогали все чаще.

— Я попросила наголо, и рассуждать тут нечего. Я ведь плачу, не так ли?

— Но это мужская парикмахерская, — пролепетал парикмахер.

— Ну так и брейте! — мрачно приказала Тамар, сцепила руки и зажмурилась.

Парикмахер беспомощно оглянулся на стариков, как бы объясняя: «Вы ведь знаете, что я пытался отговорить ее. Так что теперь все на ее совести!» И стариковские взгляды ответили согласием. Парикмахер провел рукой по собственным жидким волосам и пожал плечами. Потом взял самые большие ножницы, пару раз клацнул ими в воздухе и почувствовал, что с клацаньем слегка не в порядке, какое-то оно немощное и бессодержательное. Поэтому он продолжал клацать, пока не достиг верного тона — звука, приносящего ему радость в работе. Тогда он захватил в ладонь густую, вьющуюся, черную как смоль прядь, вздохнул и начал резать.

Тамар не открыла глаза и тогда, когда он сменил ножницы на более деликатные, и позже, когда пустил в

---

<sup>4</sup> Барышня (*идиш*).

ход электрическую машинку, и даже под конец — когда опасной бритвой парикмахер наводил блеск. Она не видела вытаращенных глаз посетителей, выпустивших из рук газеты и, подавшись вперед, зачарованно пялившихся на голую, розовую, цыплячью макушку. На пол падали пряди отсеченных черных кудрей, и парикмахер старался не наступать на них. В помещении было жарко и душно, но Тамар чувствовала, как вокруг ее головы веет прохладой.

Может, это и не так уж страшно, подумала Тамар, и по лицу ее скользнула улыбка, когда она вспомнила Алину, свою старенькую учительницу вокала, которая иногда выговаривала ей за то, что та запускает свою внешность: «Волосы тоже требуют к себе внимания, Тамиле. Занимаясь ими, ты сразу сама делаешься чуть-чуть веселее, разве нет? А что, вполне допустимо немного кондиционера, крема, вовсе не так уж зазорно быть красивой...»

— Вот и все, — шепотом сказал парикмахер, протер бритву ватой, смоченной спиртом, и принялся возиться с футляром для ножниц, лишь бы не смотреть на клиентку, когда она увидит себя.

Тамар открыла глаза и обнаружила в зеркале маленькую уродливую девочку, ошарашенную, перепуганную. Она увидела уличную девочку, девочку из приюта, девочку из психушки. У девочки были острые уши, слишком длинный нос, огромные и широко расставленные странные глаза. Она никогда и не знала, что у нее такие странные глаза. Ее испугала их пронзительность и сосредоточенность. Она подумала, что ужасно похожа на отца, который страшно состарился в последний год. А потом подумала, что теперь ее не

узнают даже собственные родители, надо лишь переодеться во что-то подходящее.

В парикмахерской по-прежнему стояла абсолютная тишина. Тамар пристально, долго, без всякой жалости рассматривала себя. Голая голова напоминала культу. У нее возникло ощущение, что теперь всякий сможет свободно прочесть ее мысли.

— Привыкнешь, — услышала она, будто издали, утешающий голос парикмахера. — В твоём возрасте волосы растут быстро.

— Не волнуйтесь обо мне, — отвергла она сочувствие, от которого так легко раскиснуть.

Без волос даже собственный голос казался ей другим, более высоким, словно расщепленным на несколько тональностей и исходящим откуда-то извне.

Парикмахер принял деньги кончиками пальцев. Ей показалось, что он боится, как бы она к нему не прикоснулась. Она ступала медленно, очень прямая, словно несла на голове кувшин. Каждое движение пробуждало в ней все новые ощущения, и это ей понравилось. Воздух двигался вокруг ее головы в странном танце: приближался, словно желая проверить, кто она такая, отступал и снова приближался — чтобы коснуться ее.

Тамар закинула на спину рюкзак, подхватила магнитофон. В дверях она помешкала. Отнюдь не новичок на сцене, она понимала: только что здесь состоялось представление, быть может чуть жутковатое, но увлекательное. И она не могла устоять перед соблазном: выпрямилась, откинула голову назад, будто встряхнув тяжелой оперной гривой, и полным

одновременно величия и смятения жестом Тоски из последнего акта за миг до прыжка с крыши подняла руку, на секунду замерла и лишь после этого вышла из парикмахерской, хлопнув дверью.

— Грибы или маслины?

Асаф не понял, в какой момент Теодора перестала его опасаться и как получилось, что он сидит напротив нее с большой вилкой в руке, собираясь приступить к пицце. Он лишь смутно припоминал, что несколько минут назад в этой комнате что-то произошло. И во взгляде ее появилось нечто новое, словно у нее внутри отворилась для него какая-то дверца.

— Ты опять загрезился?

Асаф ответил, что грибы и лук. Она хихикнула себе под нос.

— Тамар любит маслины, а ты — грибы. Она — сыр, а ты — лук. Она маленькая, а ты — Ог, царь Васанский.<sup>[5]</sup> Она толкует, а ты молчишь.

Он покраснел.

— Однако теперь поведай, поведай мне обо всем! Сидел ты там и грезил...

— Где?

— Во мэрии! Где! И только не сказал мне, о ком грезил.

---

<sup>5</sup> Ог, царь Васанский, упоминается в Библии, кн. Второзаконие; отличался гигантским ростом.

Асаф не переставал изумляться этой странной монашке. Удивляла его даже вязь морщин на ее лице. Лоб напоминал кору дерева, как и подбородок, и вокруг губ тоже залегли глубокие складки. Однако щеки были совершенно гладкими, круглыми и свежими, и сейчас на них играл легкий румянец.

Этот румянец сбивал его с толку. Он выпрямился и поспешил перевести разговор на официальные рельсы:

— Так я могу оставить вам собаку, а вы отдадите ее Тамар?

Но она ждала от него совсем иных слов — рассказа о снах наяву, например. Монашка покачала головой и решительно заявила:

— Однако нет, нет! Невозможно такое.

Он удивленно спросил, почему невозможно, и она сердито ответила:

— Нет-нет! Если я могла бы! И не пытай, будь любезен! Внемли мне, — голос ее смягчился, — всей душой хотела бы я оставить здесь со мной Динку, голубку мою. Однако выводить ее иной раз — надобно? И шествовать с ней немного по двору и по улице — надобно? А она еще пожелает, вестимо, выйти на улицы и искать Тамар, а я — что поделаю? Я ведь не покидаю этих стен.

— Почему?

— Почему? — Она медленно склонила голову, взвешивая что-то про себя. — Воистину ты хочешь ведать?

Асаф кивнул. Может, у нее грипп какой или аллергия на солнце.

— А что, если явятся неожиданно паломники с Ликсоса? Что, согласно твоему разумению, случится, если не встречу я их у врат?

Асаф вспомнил колодец, и деревянные скамьи, и глиняные кружки, и каменные подставки под ноги.

— А спальную залу для утомленных в пути видел?

— Нет.

Ведь Динка неслась со всех ног и тащила его за собой.

А теперь вот и монашка Теодора тянет его куда-то. Она встала, позвав и Динку, взяла его за руку (ладошка у нее была маленькая и сильная), и все трое быстро спустились по ступенькам. Асаф заметил большой, цвета меда, шрам на руке монашки.

Теодора остановилась перед массивной дверью.

— Здесь восстань, обожди. А ну, сомкни вежды!

Асаф сомкнул, гадая — кто обучал ее ивриту и в каком веке это было. Послышался скрип открывающейся двери.

— Отверзни ныне!

Перед ним была вытянутая, овальная комната, а в ней — десятки высоких железных кроватей в два ряда. На каждой кровати лежал толстый, ничем не покрытый матрас, сверху аккуратная стопка — простыня, одеяло и подушка. А поверх всего, словно точка в конце фразы, — маленькая черная книга.

— Все готово к их приходу, — прошептала Теодора. Асаф двинулся вперед, изумленно ступая между кроватями, и каждый его шаг поднимал облачко пыли.

Свет сочился сквозь узкие высокие оконца. Асаф открыл одну из книг, увидел незнакомые буквы и попытался представить эту комнату, полную взволнованных паломников. Воздух здесь был прохладнее и влажнее, чем в келье монашки, казалось, он липнет к коже, и Асафом почему-то овладело беспокойство.

Обернувшись, он увидел, что Теодора стоит в дверях, и на долю секунды у него мелькнуло странное чувство, что даже если он повернет назад, то не дойдет до двери, что он застрял здесь — в застывшем, неподвижном времени. Сорвавшись с места, он почти бегом кинулся к выходу.

Один вопрос не терпел отлагательства.

— А они, паломники эти... — Тут он разглядел выражение ее лица и понял, что должен хорошенько выбирать слова. — В общем... когда они должны прийти? То есть когда вы их ожидаете, сегодня? На этой неделе?

Она развернулась, острая и резкая, как циркуль.

— Идем, милый, воротимся. Пицца стынет.

Асаф поднимался за нею, смущенный и озабоченный.

— А Тамар моя, — сказала Теодора на лестнице, шаркая веревочными сандалиями по ступенькам, — она там убирает, в опочивальне, один раз на неделе приходит она, бушует и скребет. Однако ныне, узрел — пыль...

Они снова сели за стол, но что-то изменилось в их отношениях, что-то замутилось, и Асаф не понимал, в чем дело. Он был встревожен чем-то витающим в воздухе, чем-то невысказанным. Монашка тоже казалась

рассеянной и не смотрела на него. Чем больше погружалась она в свои мысли, тем сильнее надувала щеки, и с этими круглыми щеками и узкими глазами напоминала теперь старую китайянку. Некоторое время они молча ели или притворялись, что едят. Иногда Асаф бросал взгляды по сторонам. Узкая кроватка, заваленная кипами книг. В углу на столе — черный телефонный аппарат, жутко допотопный, с круглым диском. Еще один беглый взгляд — на глиняного ослика на палочке из ржавой перекрученной проволоки.

— Нет, нет, нет! — вдруг вспыхнула монашка, с такой силой ударив руками по столу, что Асаф перестал жевать. — Как можно так? Вкушать без беседы? Жевать яко две коровицы? Не беседуя о том, что на сердце? И что тогда в пицце той, сударь мой, без беседы?

Она резко отодвинула от себя тарелку. Асаф быстренько проглотил кусок и потупился, втянув голову в плечи.

— А с Тamar... — он запнулся, впервые произнеся ее имя, — с ней вы разговариваете, да?

Собственный голос показался ему чересчур громким и неестественным.

Теодора явно заметила его неудачную попытку уйти от разговора о самом себе и вонзила в него насмешливый взгляд. Но Асаф, завязнув, не знал, как достойно выпутаться, да и вообще не был он силен по части светских бесед (порой, в компании Рои, Мейталь и Дафи, когда от него требовались легкость и остроумие, он чувствовал себя танком, угодившим в тесную комнатку).

— Так она... Тamar, она приходит к вам каждую неделю? Да?

Теодора явно не рвалась удовлетворять его любопытство, и все же упоминание имени Тамар заставило ее глаза сверкнуть.

— Уже год и два месяца она является мне здесь, — ответила она и горделиво погладила свою косу. — И она трудится немного, ибо нуждается в деньгах, а в последнее время — в очень многих деньгах. А у родителей своих она, вестимо, не берет.

Асаф заметил, что нос у Теодоры слегка сморщился, когда она упомянула родителей Тамар, но воздержался от вопроса. Какое ему дело?

— А у меня работы есть во множестве, да ты сам узрел: вымести опочивальню, протереть кровати и на кухне начистить большие котлы...

— Но для чего? — перебил ее Асаф. — Все эти кровати и котлы... Когда они сюда приедут, паломники эти, когда они...

И прикусил язык, почувствовав, что лучше сейчас помолчать. Это чувство было ему знакомо. В темноте фотокомнаты есть такие чудесные мгновения, когда изображение медленно проступает на бумаге, вырисовываются линии... Сейчас было то же самое — что-то начинало потихоньку приобретать какую-то форму. Еще несколько секунд — и он все поймет.

— А после трудов мы садимся обеи, совлекаем с себя фартуки, омываем руки и вкушаем пиццу. — Теодора хихикнула. — Пицца! Ведь только благодаря Тамар обучилась я вкушать пиццу... И вот мы беседуем так себе во умиротворении. Обо всем на свете она толкует со мной, малая...

И снова Асафу почудилась гордость в ее голосе, и он удивился: что такого в этой свистушке Тамар, что старая монашка так гордится ее дружбой.

— А порой также спорим мы, сера огненная, но всё, как меж подругами. — Теодора на миг и сама показалась ему девочкой. — Как меж весьма добрыми подругами.

— Но о чем же вы столько разговариваете? — Вопрос вырвался у Асафа с какой-то несуразной поспешностью, и тут же сердце пронзила неясная зависть, быть может, из-за того, что вспомнилось ему, как пару дней назад Дафи сказала, что, когда он начинает о чем-нибудь рассказывать, всегда так и хочется посмотреть на часы. — О Боге? — спросил он с надеждой, ведь если они говорили только о Боге, это еще можно пережить.

— О Боге? — изумилась Теодора. — Зачем... вестимо... конечно, и Бог является в беседе временами, иначе как можно? — Она сложила руки на животе и смотрела на Асафа глазами, полными удивления, взвешивая, не ошиблась ли она в нем, и Асаф узнал, слишком хорошо узнал этот взгляд и готов был лезть из кожи вон, лишь бы это выражение исчезло из ее глаз. — По правде, скажу тебе, милый, о Боге я не люблю говорить... мы уже не в той дружбе, как бывало, Бог и я. Он — сам по себе, и я — сама по себе. Однако разве не достало людей в мире, о ком говорить? А душа? А любовь? Любовь уже, по-твоему, не считается, юный сударь? Или уже сам разгадал ты все загадки ее?

Асаф покраснел и отрицательно замотал головой.

— И не думай, что о философических вопросах мы беседуем здесь, над пиццей, то-то! — возбужденно воскликнула Теодора и взмахнула невесомой ручкой. — И

снова спорим до небес, что даже обительную башню мою кидает во дрожь! О чем, согласишь ты?

Асаф понял, что должен спросить, и энергично кивнул.

— О чем только нет? О добре и зле, и истинно ли есть у нас свобода, подлинно великая свобода... — она сверкнула вызывающей улыбкой, — выбирать наш путь, или он назначен нам загодя и только ведут нас по нему? И о Юде Поликере<sup>[6]</sup> беседуем мы, ибо Тamar приносит от него кассеты, всякую новую песнь! И все здесь записано у меня на магнитофонической машинке «Сони». И если, для примера, есть какая красивая фильма во синематографе, я тотчас говорю: Тamar! А ну пойдй для меня, на тебе деньги, может, возьмешь какую подругу, и воротись скоро, и расскажи мне все, картинку за картинкой, и так она радуется, что и я тоже сподобилась посмотреть фильму.

— А вы сами видели когда-нибудь фильм?

— Нет. И это новое, телевидение, тоже нет.

Отдельные детали начинали соединяться между собой.

— И вы... сказали, что не выходите, верно?

Теодора с улыбкой кивнула, не отрывая от Асафа взгляда, наблюдая, как зарождается в нем догадка.

— Значит... вы никогда отсюда не выходите, — сказал он в изумлении.

---

<sup>6</sup> Иегуда Поликер — популярный израильский певец и композитор, в творчестве которого отчетливы греческие народные мелодии.

— Со дня, что прибыла во Святую землю, — подтвердила она с гордостью. — Нежной козочкой двенадцати годов доставлена была сюда. Пятьдесят лет минуло с той години.

— И вы тут пятьдесят лет? — Собственный голос показался ему детским. — И вы ни разу... постойте, даже во двор?

Теодора снова кивнула. И Асаф вдруг ощутил невыносимую тяжесть. Ему захотелось встать, распахнуть большое окно и вырваться отсюда на шумную улицу. Потрясенный, смотрел он на монашку и думал, что она, в сущности, не такая уж старая. Ненамного старше его отца. Просто по причине замкнутого образа жизни она выглядит как вмиг состарившаяся девочка.

Теодора терпеливо подождала, пока он додумает все свои мысли о ней, а потом тихо сказала:

— Тамар нашла ради меня весьма прекрасную фразу в одной из книг. «Счастлив тот человек, что может быть заперт сам с собою в одной комнате». Согласно сему я счастливый человек. — Уголки ее губ слегка опустились. — Весьма счастливый.

Асаф ерзал на стуле, невольно ища взглядом дверь. Ступни его зудели. Дело не в том, что он лично не смог бы просидеть в запертой комнате даже несколько часов подряд. В самом крайнем случае наверняка бы смог — при условии, конечно, что там имеется компьютер и какая-нибудь новая навороченная игра. Да, тогда бы точно просидел часа четыре, а то и пять, как не фиг делать просидел бы — даже без еды. Но прожить так всегда? Всю жизнь? День за днем, ночь за ночью, неделю за неделей, год за годом? Пятьдесят лет?

— Благодарствую, что ни слова не молвишь, — сказала монашка. — Ограда мудрости — молчание...

Асаф не знал, можно теперь что-нибудь спросить или ему следует изображать мудреца до конца визита.

— А ныне, — продолжала Теодора, — ныне — твой черед. Рассказ против рассказа. Однако не останавливайся каждую минуту и не стерегись настолько уж. Панагия му! Отчего ты настолько страшишься поведать о себе? Такой важный, да?

— Но что... что рассказывать-то? — жалобно спросил Асаф, потому что о Боге говорить не хотелось, о Иегуде Поликере он знал маловато, а жизнь его была настолько обыкновенной, да и вообще он не любил говорить о себе. — Что рассказывать-то?

— Если поведаешь мне рассказ от сердца, — вздохнула Теодора, — я поведаю тебе рассказ от сердца моего.

И она улыбнулась ему, чуть горько. И Асаф вдруг заговорил.

За двадцать восемь дней до того, как Асаф встретил Теодору, в утро, когда он еще не работал в мэрии и даже не подозревал, что на свете существует Теодора, и слыхом не слыхивал ни о какой Тамар, — та вышла на улицу.

Как всегда в каникулы, Асаф проспал до полудня. Потом встал и приготовил себе легкий завтрак: три-четыре бутерброда и яичницу из двух яиц, и почитал газету, и послал электронное письмо голландскому фанату «Хьюстона», и почти час тусовался на

оживленном игровом форуме. В промежутках ему звонил Рои или кто-то еще из класса (сам он обычно никому не звонил), и вместе они пытались придумать, что делать вечером, но, отчаявшись, бросили это занятие, договорившись созвониться попозже. А потом позвонила с работы мама, напомнила, что нужно снять белье, вынуть посуду из мойки и забрать Муки из летнего лагеря. Между всеми этими делами он смотрел канал «Нэшнл джиографик», немного баловался с гантелями и снова прилипал к компьютеру. Так лениво текли часы, и ничего не происходило.

В то же самое время Тамар, запершись в испещренной похабными граффити кабинке общественного туалета на центральной автобусной станции, быстро сняла одежду: джинсы «Ливайс» и тонкую индийскую рубашку, которую родители купили ей в Лондоне, скинула сандалии и встала на них. Она стояла в трусиках и лифчике, содрогаясь от гадкого, успевшего пристать к ней воздуха сортирной кабинки. Из большого рюкзака Тамар достала пакет, из него — футболку и грубый синий комбинезон, рваный, весь в пятнах. «Привыкай!» — велела она и запихнула себя в комбинезон. Секунду поколебавшись, сняла с запястья тонкий серебряный браслет, полученный на батмицву,<sup>[7]</sup> — на нем было выгравировано ее полное имя. После чего достала из рюкзака кеды и обулась. Тамар предпочитала сандалии, но она знала, что в ближайшие недели ей понадобится закрытая обувь — и для того, чтобы чувствовать себя защищенной, и чтобы сподручнее было убегать.

---

<sup>7</sup> День совершеннолетия, отмечаемый по еврейской традиции при достижении девочками двенадцати лет.

В рюкзаке лежал еще дневник. Шесть тетрадей в твердых обложках, запечатанные в бумажный пакет. Первая тетрадь, начатая в двенадцать лет, была тоньше других, разрисованная цветочками, Бемби, птичками и сердечками. Самые последние тетради, в строгих обложках, были гораздо толще и густо исписаны. Весили они изрядно и жутко оттягивали плечи, но дневники следовало непременно унести из дома: родители ведь наверняка прочтут их. Тamar сперва закопала их поглубже в рюкзак, но уже в следующий момент не смогла удержаться, вытащила самую раннюю тетрадку и пробежалась взглядом по первой странице, исписанной детским почерком. Она улыбнулась, рассеянно опустилась на унитаз. Вот тут она в седьмом классе, а вот — ее первый побег из дома, когда она с двумя подружками поехала в Цемах<sup>[8]</sup> на выступление группы «Типекс». Какую классную ночку они тогда провели! Перелистнула дальше. «Лиаг притопала в черном платье с блестками. Офигительно!» «Лиаг танцевала с Гили Папошадо и была такая красивая, что я чуть не разревелась». Удивительно, но почему старые раны не заживают и готовы начать кровоточить в любой момент? Хватит, пора выбираться отсюда... Тamar взяла другую тетрадь, двухлетней давности. «Как же достало, что она все растет. Они говорят — «развивается». *Ненавижу!!!* Кому это надо?» Тamar попыталась припомнить, почему тогда писала о себе в третьем лице. Горько улыбнулась — ну конечно... То самое время, безумные попытки обуздать свое тело. Она тренировала себя, приучала не бояться щекотки, в самые холодные дни ходила без свитера и куртки, а иногда и

---

<sup>8</sup> Киббуц на южном берегу о. Кинерет.

без рубашки, в одной майке, разгуливала босиком по асфальту. Вот и записки в третьем лице были частью того же самого: «Она любит тесные и узкие места, вроде промежутка между шкафом и стеной, куда еще месяц назад легко забиралась, а теперь ее бесит, что она не может туда протиснуться!!!»

А на следующей странице, сродни школьному наказанию, ровно сто раз (она сосчитала): «Я пустая и никчемная девчонка, я пустая и никчемная девчонка».

«Господи! — подумала Тamar и привалилась к бачку. — Неужели я была такая шизанутая?»

А вот запись о первом впечатлении от книги Иегуды Амихая «Кулак был когда-то ладонью и пальцами».<sup>[9]</sup> Она почувствовала себя виноватой перед той девочкой, которая написала: «У новорожденных мальков есть их собственные мешочки с белком. Я знаю, что эта книга будет моим собственным мешочком белка, на всю жизнь». А через неделю после этого, со всей решительностью: «Чтобы у меня были большие глаза, клянусь до конца своей жизни смотреть на мир с удивлением».

Тамар снова горько улыбнулась. В последнее время этот мир просто вынуждал ее смотреть на себя с удивлением, потом — с возмущением, а под конец — в полном отчаянии. Но большие глаза ей обеспечило совсем другое — бритый череп.

Она быстро листала — то вперед, то назад. Чуть усмехалась, слегка вздыхала. Как удачно, что она решила почитать дневник, прежде чем отправиться в путь. Тамар

---

<sup>9</sup> Иегуда Амихай (1924–2000) — выдающийся израильский поэт.

увидела себя саму так подробно, словно кто-то показал ей целый фильм, составленный из отдельных кадров — отдельных дней ее прежней жизни.

Все-таки пора. Лея ждет ее в своем ресторанчике, где они договорились встретиться за прощальной трапезой — на тайной вечере. Но Тамар все никак не могла собраться с духом. Только бы не выходить снова на улицу, навстречу чужим взглядам! Как все они на нее пялятся с той минуты, как она обрила голову! Здесь она по крайней мере в безопасности, наедине с собой, под защитой этих фанерных стенок. Вот ей уже четырнадцать, она тогда начала писать зеркальным шифром все то, что особенно хотела скрыть: «Бедная мама, она так хотела родить дочь, чтобы посвящать ее во все, ладить с ней, открывать ей женские тайны и как это здорово быть женщиной, просто подарок. И что она получила? Меня».

Мама. Папа. Она зажмурилась, оттолкнула их, и они опять исчезли. «В жизни бывают такие моменты, когда каждый остается наедине с собой», — сказал папа во время последней стычки. Хватит, пусть убираются. Когда все закончится, она сможет подумать и о них. «По-моему, все решено, — сказал отец, — и я больше пальцем не пошевельну», — и взглянул на нее с деланным равнодушием, только правая бровь его дергалась беспрестанно, точно жила отдельной жизнью. Медленно, с усилием Тамар вытеснила родителей из сознания. Не до них сейчас. Они только лишают силы и решимости. Пока они для нее не существуют. Тамар судорожно схватила наугад другую тетрадь, примерно полторагодовой давности. Тогда в ее жизнь вошли Идан и Ади и все стало меняться к лучшему. Так она, по крайней мере, думала. Она читала и не верила, что подобная ерунда занимала

ее всего несколько месяцев назад: Идан сказал это, Идан сказал то. Сделал себе стрижку «Франц-Йозеф» и позвал ее, а не Ади, присматривать за парикмахером, «потому что ты более деловая», и она не знала, комплимент это или оскорбление, и была поражена, что кто-то считает ее деловой. А поездка на фестиваль в Араде — кто-то украл рюкзак с их кошельками, и у них осталось десять шекелей на всех. Идан взялся руководить: в писчебумажной лавке купил квитанционную книжечку за девять шекелей, а потом послал их с Ади собирать пожертвования для «Общества против озоновой дыры». И то радостное головокружение, которое она тогда чувствовала от этого жульничества, и какую они устроили обжираловку, и у них еще осталось достаточно денег, чтобы купить травки, и она пыхнула, но ничего не почувствовала, а Идан и Ади буквально бесились и все галдели о диком кайфе, а на обратном пути, в автобусе, Ади с Иданом сидели двумя рядами впереди, и всю дорогу оба истерически хохотали.

И среди всех этих глупостей рассыпаны тут и там мелкие замечания между делом, краткие сообщения о вещах, не казавшихся ей тогда важными, сперва едва слышные, но постепенно, нарастая, превратившиеся в крик: мама и папа обнаружили, что афганский стенной ковер, стоявший скрученным в чулане, исчез; они немедленно уволили домработницу, проработавшую у них семь лет. Следом пропало несколько сотен долларов из папиного ящика, и тогда уволили садовника-араба. А потом случилась история с машиной, счетчик которой намотал не одну сотню километров, пока родители были за границей. И прочие тени сновали по дому, и никто не осмеливался направить на них яркий свет.

В дверь кабинки забарабанили. Уборщица. Орет, что она сидит там уже целый час. Тамар резко выкрикнула в ответ, что будет сидеть здесь сколько захочет. От этого грубого вмешательства она чуть не задохнулась.

Последняя тетрадь ее потрясла — там было все, во всех подробностях и совершенно в открытую. Ее план, пещера, списки необходимого, предполагаемые и неожиданные опасности. Уж эту тетрадь точно надо спрятать, уничтожить. Нельзя оставлять даже в тайнике. Тамар пролистнула страницы. Вот он, тот момент, до которого она еще позволяла себе что-нибудь чувствовать, — мимолетная ночная встреча возле «Риф-Раф» с кучерявым парнишкой, у него еще был такой мягкий взгляд, и он показал ей сломанные пальцы и удрал, словно и она могла проделать с ним что-нибудь подобное. После этого она стала совсем бронированной, почти прекратила разговаривать, начала писать, как служащая секретной военной части: задачи, проблемы, опасности. Что приведено в исполнение и что еще предстоит.

Тамар захлопнула тетрадь. Ее взгляд уперся в какую-то похабень на двери. Если бы она могла взять дневниктуда. Нельзя. Но что она станет делать без дневника? Как поймет себя, если не будет писать? Онемевшими пальцами Тамар оторвала первый лист и бросила его в унитаз между ног. А за ним еще лист, и еще. Минутку, а это что тут такое? «Когда-то я страшно много плакала и была полна надежд. А нынче я много смеюсь и чувствую лишь отчаяние». В канализацию! «А я, наверное, всегда буду влюбляться в кого-нибудь, кто любит кого-то другого. Почему? А вот так. Потому что я специалистка по влезанию в безнадежные ситуации. Каждый в чем-нибудь специалист». В унитаз. «Мое

искусство? Ты что, не знала? Умирать каждую минуту». В унитаз, в унитаз!

Тамар поднялась, немного постояла. Голова кружилась. Оставались страницы самых последних дней. Бесконечные споры с родителями, ее вопли и мольбы, и ужасное осознание того, что они действительно не могут ничего поделать, ни помочь ей, ни помешать отправиться туда, что они попросту опустошены и парализованы бедой, лишившей их самих себя. От ее родителей остались только внешние оболочки, и сейчас она одна может что-то изменить — если у нее хватит решимости.

Но там, куда она собирается проникнуть, ее ведь станут рассматривать как под микроскопом, будут проверять, рыться в вещах, разнюхивать, кто она. Кто я? Что от меня осталось? Тамар спустила воду и проводила взглядом обрывки, смываемые в небытие. Ничего.

Без дневника и без Динки. Одна.

Тамар быстро смешалась с толпой, наводнявшей автовокзал. Она ловила свое отражение в ресторанной витрине, в окошке продавца сосисок, в глазах людей. Наблюдала, как при виде ее у людей поджимаются губы. До вчерашнего дня на нее бросали совсем иные взгляды. До вчерашнего дня она даже поощряла эти взгляды, потому что было в этом какое-то подмигивание, какой-то легкий вызов — она как будто провоцировала мир вокруг себя. Тамар знала: это дерзость чересчур застенчивых. Напуганная дерзость, задавленная и вырывающаяся наружу, словно отрывка, которую не в силах сдержать. Вроде той прозрачной блузки, что она надела на вечеринку по случаю окончания учебного года. Или жуткие красные туфли — туфли Дороти из «Волшебника из страны Оз», — которые она надела на торжественный

концерт в академии. И все эти перепады в одежде — от полного пофигизма (Алина однажды наорала на нее, что запрещает ей одеваться «в эту одежду из Бней-Брака<sup>[10]</sup>») к всплескам стильности и даже роскоши: ее фиолетовый период, желтый, черный...

Большой рюкзак Тamar сдала в камеру хранения, оставив себе маленький рюкзачок. Отныне он будет ее домом. Парень из камеры хранения посмотрел на нее так же, как тот парикмахер, и постарался не коснуться ее пальцев, бирку с номером брезгливо бросил на стойку. Тamar взяла номерок.

Ну вот, этого она не предусмотрела: куда теперь положить эту штуку? Она испытала почти злорадство когда поняла, что не все ей удалось предвидеть и запланировать. А что ты скажешь, если ее у тебя обнаружат? А если кто-нибудь *из них* заберет рюкзак из камеры хранения и сунет нос в бумажник и дневники? Тупица, мегаломанка убогая!

Тamar вышла на улицу. Ей нравилось хлестать себя — пусть шкура закалится перед тем, что ее ожидает. Но кто знает, что еще случится такого, чего она и вообразить не могла? Что еще уготовила ей жизнь и как еще она ее подставит — по своему обыкновению?

И тогда Асаф рассказал, все снова рассказал — начиная с работы в мэрии, на которую его устроил отец благодаря знакомству с Данохом, задолжавшему ему за электропроводку, что отец обновил в его доме, но... Но Теодора остановила его жестом властной ручки, желая

---

<sup>10</sup> Бней-Брак — город в окрестностях Тель-Авива, большую часть населения которого составляют малоимущие ультраортодоксы.

сперва услышать подробности о родителях, и Асафу пришлось прерваться и рассказать, что его родители и младшая сестра, наверное, уже приземлились в Аризоне, в Соединенных Штатах, они отправились туда внезапно, потому что его старшая сестра Релли попросила, чтобы они приехали немедленно. Монашка заинтересовалась, какая она, Релли, и почему так далеко очутилась от родного дома, и Асаф, подивившись, принялся рассказывать и о Релли тоже. Описал ее в общих чертах, какая она особенная и потрясная, рассказал, что она занимается украшениями и придумала свою собственную линию серебряных побрякушек, которая сейчас круто поперла в Штатах и Европе. Асаф повторял словечки Релли и чувствовал, насколько они для него чужие, — возможно, потому, что успех сестры остался для него чуждым, да и эти ее поездки всегда пугали его. И с легкой неприязнью он добавил, что иногда Релли бывает просто невыносимой, например эта ее знаменитая *принципиальность* во всем, начиная с еды, которую она ест, а главное — которую *не* ест, и заканчивая ее идеями об отношениях между евреями и арабами и государственной политике. И как-то так вышло, что он кучу всего понарасказал о Релли и о том, как она просто-напросто сбежала год назад из страны, потому что ей требовался *простор*, и это ее словечко было ему особенно ненавистно, поэтому он его заменил на другое и объяснил, что Релли чувствовала, что она просто *задыхается* здесь, и Теодора улыбнулась, и Асаф понял эту ее улыбку, и между ними без всяких слов возникло взаимопонимание. Ведь есть люди, которые в одной комнате не задыхаются пятьдесят лет, а есть такие, которым недостаточно всей страны. А затем Теодора пожелала узнать и про Муки, которая полетела с

родителями, потому что они не решились оставить ее. Асаф рассказывал о Муки, глупо улыбаясь, и его и без того розовые щеки еще больше покраснелись, даже прыщички сделались как-то менее заметны; когда он говорил «Муки», в нос ему ударял нежный запах ее волос после мытья. Рассмеявшись, Асаф сказал, что уже с трехлетнего возраста она держится за один определенный шампунь и требует кондиционер, хотя ее светлые волосы и так мягкие, как туман. Теодора улыбнулась. И она часами простаивает перед зеркалом, эта малявка, и жутко высоко себя ценит, и уверена, что весь мир от нее без ума. И когда он или Релли злятся по поводу этого семейного культа личности, мама всегда отвечает, чтобы они не смели портить малышке удовольствие, пусть хоть один кто-нибудь в этом доме любит себя, не комплексуя по этому поводу. И тут Асаф, внезапно обнаруживший, что говорит без умолку уже несколько минут, смутился и пробубнил, что вот и все, обычная семья, ничего особенного.

— Замечательная семья у тебя, милый, — возразила Теодора. — Вам следует быть счастливыми весьма-весьма.

Асаф заметил, что она снова погрузилась в себя, будто он погасил в ней какой-то свет, сам не понимая, как это вышло.

Наверное, это потому, что она такая одинокая и кучу времени не разговаривала ни с кем по душам. И тут же Асаф спросил себя: «Ага, а сам ты когда в последний раз разговаривал по душам?» — и тотчас вспомнил, что его ожидает вечер с Рои и Дафи.

Теодора слегка наклонилась к нему и спросила:

— Быстро-быстро, о чем думал ныне? Ведь лик твой, милый, хо-хо! Великое облако застило его.

— Неважно! — выпалил Асаф.

— Нет, важно! — объявила она.

Господи, да чего она вяжется к его глупым историям... А может, они и не такие уж глупые, если кто-то способен так заинтересоваться ими?

— Ну, просто... — Асаф смущенно заерзал на стуле. Он и правда не хотел, чтобы они затевали такие вот разговоры. Кто бы вообще мог такое себе вообразить до того, как он вошел в этот монастырь? Ведь они друг друга не знают... словно какой-то черт в него тут вселился. Но монашка весело рассмеялась, запрокинув голову, и Асаф понял, что, какой бы старой она ни казалась с виду, на самом деле она совсем еще девчонка, — наверное, потому, что никогда не пользовалась этой своей юностью.

«А почему бы мне, собственно, ей и не рассказать? — вдруг подумал он. — Она такая милая, одинокая, а мне и вправду охота поболтать».

И так получилось, что он взял да и выложил все: о Дафи Каплан и о Рои с Мейталь. Монашка внимательно слушала, буквально смотрела ему в рот, и губы ее беззвучно повторяли его слова. И уже после первых пяти фраз она поняла, что Дафи вовсе не самое главное в этой истории. Асаф изумился, как мгновенно эта старушка уловила, что больше всего его изводит.

— Однако оставь-ка на минутку сию несчастную деву! — нетерпеливо взмахнула Теодора рукой. — Цветок она без аромата. Я суть главного знать хочу: об

отроке поведай мне, о твоём прекрасном Рои, что уж не твой, ежели не заблуждаюсь.

Асаф даже зажмурился, потому что она угодила в самое больное место. Он сделал глубокий вдох, словно перед тем как нырнуть, и рассказал о своей дружбе с Рои с четырехлетнего возраста, что они были как братья, ночевали друг у друга по очереди, и у них даже имелся домик на дереве. Рои тогда был поменьше и послабее, и Асаф защищал его от больших мальчишек, воспитательницы говорили, что он просто телохранитель Рои.

— И так это продолжалось примерно до седьмого класса, — сказал Асаф, перескакивая одним махом через восемь лет.

И тут же был возвращен назад мягко, но настойчиво:

— Как это продолжалось?

Пришлось рассказывать о начальных классах, когда Рои не отходил от него ни на шаг и не позволял ему дружить с кем-то еще, и у него были в запасе разные наказания, которые он накладывал на Асафа каждый раз, когда подозревал, что тот пытается предать их дружбу. Хуже всего было наказание молчанием — целые недели, когда он отказывался отвечать Асафу, но при этом все-таки не отходил от него. Случались у Рои и чудовищные приступы ярости, например когда Асаф захотел податься в скауты, но в конце концов вынужден был с тяжелым сердцем отказаться от своей затеи. Ему тогда льстило, что в нем так нуждаются и так его любят.

Асаф замолчал, сглотнул и задумался ненадолго.

В средних классах уже все переменялось.

— Но детали не имеют значения, — сказал он.

— Они имеют очень большое значение, — возразила Теодора.

Он так и знал, что она это скажет, и улыбнулся — это уже была их собственная маленькая игра.

Теодора ушла на кухню, поставить воду для кофе, и оттуда крикнула Асафу, чтобы он продолжал. Асаф рассказал, как в седьмом классе, примерно три года назад, девочки начали обращать внимание, какой Рои красавчик. Он действительно тогда сильно подрос и похорошел, и девчонки стали пачками влюбляться в него, и он их тоже любил — всех подряд, и прямо-таки играл на их чувствах. Асаф произнес это, стараясь не показаться ханжой, а монашка на кухне улыбнулась выцветшим сине-красным обоям.

— Но девочки ему не мстили, — с удивлением заметил Асаф. Навалившись на стол, он разговаривал скорее сам с собой, чем с Теодорой. — Наоборот. Представляете, они еще *состязались* за его любовь, сидели на переменах и рассуждали о том, как он выглядит, да что ему идет, да какую стрижку он сделает, да как ловко двигается, когда играет в баскетбол.

Однажды Асаф, совершенно случайно, сидел за девчоночьим деревом во дворе и слушал, что они несут про Рои: девчонки говорили о нем словно о каком-то божестве или, по меньшей мере, кинозвезде. Одна похвасталась, что собирается провалиться по математике, чтобы оказаться с ним в одной группе. А другая сказала, что иногда молится, чтобы Рои немножко

заболел, — и тогда она сможет пойти в поликлинику и полежать на кушетке, на которой его осматривали!

Асаф взглянул на монашку, ожидая, что она посмеется с ним вместе над этими дурочками, но Теодора не рассмеялась, а только попросила его продолжать, а он... Лучше бы ему помолчать, но он был уже не в силах совладать с тем, что рвалось из него — словно гигантская катушка, начавшая разматываться. Он уже много лет так не разговаривал с посторонним человеком, да и с близким тоже... Это наверняка из-за монастыря, подумал он, или из-за этой маленькой комнатки, похожей на исповедальню, которую он однажды видел в церкви в Эйн-Кереме. А потом он придет в себя и вообще забудет, что однажды сидел в комнатке на вершине башни и рассказывал незнакомой монашке все эти глупости.

— Асаф, я ожидаю, — сказала Теодора.

И он рассказал, как в восьмом классе благодаря девчонкам Рои стал чем-то вроде... как бы лучше сказать... вроде царского наместника в классе. И Асаф собрался объяснить, что это означает, но Теодора нетерпеливо махнула рукой:

— Да-да, царь сего класса, знаю я, вестимо, ну-ка продолжай, будь любезен!

Асаф догадался, что она уже слышала нечто подобное от Тамар — какие-нибудь рассказы о мальчишках и девчонках. Он подумал: возможно, она и слушает его с таким удовольствием потому, что его болтовня напоминает ей о Тамар. И в нем опять шевельнулось то самое тепло, и он представил, что Тамар каким-то образом присутствует в комнате, как невидимка. Предположим, сидит на полу возле довольной Динки и тихонько гладит ее голову. А может,

он сам сейчас говорит с ней, рассказывает, как Рои стал дружкойм Ротем, — первая августейшая пара их школы.

— Это было уже давным-давно, — пробормотал Асаф. — После той девчонки Рои поменял уже четыре или пять подружек.

Сегодня это Мейталь, и из-за нее Рои требует, чтобы Асаф влюбился в Дафи, потому что именно этого хочет Мейталь. Рои даже намекнул, что это станет условием дальнейшей их дружбы с Асафом.

— Все! Это уже неважно! — встрепенулся Асаф. — Это так, глупости, мелкие брызги.

— Важно, очень важно, — мягко сказала Теодора. — Еще не разумеешь ты, агори му?<sup>[11]</sup> Как узнаю тебя помимо мелких деталей? Как поведаю тебе историю сердца моего? — А увидев, что не убедила, уставилась ему прямо в глаза. — Ибо Тamar тоже поперву не желала поведать все — ужели это важно, да ужели это занимательно? — а я превеликим усилием научила ее, что нет ничего важнее мелочей, этих наших пуговок и грошиков. А уж она, знай же, упрямица великая, поболее тебя!

И Асаф бросил противиться — будто какую-то тяжесть сняли у него с плеч, даже голос его изменился — и рассказал о Дафи, о том, что она все уже рассчитала: и деньги, и успех, и славу свою будущую. И внезапно отчетливо понял, почему же ему так неприятна Дафи: она вечно соревнуется со всеми, вечно сравнивает свою удачливость с удачливостью других, вечно подсчитывает свои выигрыши и потери, и оттого возникает ощущение,

---

<sup>11</sup> Мой человек (*греч.*).

будто каждый человек на земле каждую секунду строит против кого-то козни, караулит, когда его ближний расслабится, чтобы подставить его...

— Есть во свете и такие люди, — сказала монашка, миглом почувствовав перемену в Асафе. — Однако есть и другие, истинно? И ведь ради сих других стоит более всего жить?

Асаф улыбнулся и невольно распрямылся, как будто одной фразой она разрешила запутаннейшую проблему, которая столько времени не давала ему покоя. И слова снова потоком полились из него: даже если бы Дафи была совершенно иной, он бы все равно в нее не влюбился, да и вообще он никогда не влюбится. Асаф произнес это — и поразился своей смелости. Ведь подобными признаниями он делился лишь с одним-единственным человеком на свете — с Носорогом, другом его сестрицы Релли. А с этой монашкой он знаком от силы около часа. Да что такое с ним сегодня творится?

Асаф умолк, и они с Теодорой посмотрели друг на друга, словно разом очнулись от общего наваждения. Теодора провела ладонями по голове. И Асафу опять бросился в глаза большой рубец на ее руке. С минуту в комнате висела полная тишина. Слышалось только дыхание спящей Динки.

— Ныне, — со слабой улыбкой шепнула Теодора, — после сих предметов, наконец, быть может, ты поведаешь, как попал ко мне?

И только тогда Асаф рассказал, кратко и по-деловому, как утром явился Данох и отвел его в собачий вольер, и про бланк № 76, и про пиццу, и это внезапно показалось ему смешным — вся эта безумная

гонка неизвестно куда. Он улыбнулся, и лицо Теодоры тоже расплылось в широкой улыбке, и, уставившись друг на друга, они прыснули со смеху, собака проснулась, подняла голову и завилыла хвостом.

— Однако это дивно, — сказала Теодора, успокоившись. — Собака привела тебя ко мне...

Она долго всматривалась в Асафа, точно вдруг увидела его совершенно в новом свете.

— И ты явился сюда невольным посланником, дипломатическим вестовым, не ведающим о своем назначении. — Ее глаза сверкали. — И кто бы еще готов был последовать за поспешной собакой, и купить эту пиццу за полную меру денег, и целиком принести свои желания в жертву ее желаниям? Что за сердце, Панагия му, что за горячее и искреннее сердце...

Асаф смущенно заерзал на стуле. По правде говоря, большую часть времени он чувствовал себя изрядным идиотом, несясь за собакой, и новое толкование его поведения слегка изумляло.

Монашка обхватила себя руками, она почти дрожала.

— Ныне ты разумеешь, отчего молила я тебя поведать сию историю? Ну вот, теперь я чуть более спокойна, ибо сердце говорит мне, что коли есть тот, кто сыщет голубку мою, то ты — сей.

Асаф пробормотал, что именно это и пытается сделать с самого утра, и, если она даст ему теперь адрес Тамар, он сразу же ее отыщет.

— Нет, — сказала Теодора и поспешно встала. — Ко великой скорби моей. Сего сделать не смогу.

— Нет? Почему?

— Ибо клятву взяла с меня Тамар.

И сколько Асаф ни пытался понять, в чем дело, сколько ни спрашивал — она отказывалась отвечать, нервно носилась по комнате, бормотала свое взволнованное «хо-хо» и беспрерывно качала головой.

— Нет, нет, нет... Поверь мне, милый, ежели бы в руке моей было, то я бы даже надежду питала, что ты... нет! Молчок! — Она сердито ударила себя по пальцам. — Молчание, старуха! Не скажи!

Еще один стремительный круг по комнате, яростное сопение, маленький смерч — и она опять остановилась перед ним.

— Ибо Тамар действительно молила меня, внемли, не надуйся ты так, только сие могу сказать тебе: в последний раз, что была Тамар здесь, она взяла с меня клятву, что ежели придет в ближайшие дни некто и спросит, где она или же, к примеру, какая у нее фамилия и кто родители, ежели начнет дознаваться о ней, и будь он даже мил и сладок, как никто другой (сие не она говорила, сие я говорю), запрещено мне строжайшим запретом тому отвечать!

— Но почему, почему?! — взорвался Асаф. — Почему вдруг она такое сказала? Что с ней может случиться, что...

Монашка продолжала отрицательно мотать головой, будто боялась, что он выудит из нее секрет. Потом приложила указательный палец к его губам:

— Ныне молчи!

И Асаф в изумлении сел.

— Внемли-ка, говорить о ней не имею права. Клятвой связан язык мой. Однако позволь, поведаю тебе историю, и ты, возможно, и поймешь нечто.

Асаф возбужденно барабанил по коленке. Его злило, что придется начинать все поиски сначала. Да и вообще, может, лучше уйти прямо сейчас, не терять больше времени? Но слово «история» всегда действовало на него завораживающе, а мысль о том, что он услышит историю *из ее уст*, с ее выражением лица, с этими удивительными всполохами света в ее глазах...

— Хо-хо! Улыбнулся, сударь мой! Меня не проведешь, сия старуха знает, что означает таковая улыбка! Дитя историй ты, я с одного взгляда проведала, в точности как Тамар моя! Ежели так, поведаю тебе историю мою, — вот тебе подарок за историю, что ты рассказал.

— Ну, так за что пьем? — спросила Лея и попыталась улыбнуться.

Тамар взглянула на вино и поняла, что боится произнести вслух свое желание.

Лея сказала вместо нее:

— Выпьем за твой успех, чтобы вы благополучно вернулись. Оба.

Они чокнулись и выпили, глядя глаза в глаза. Вентиляторные лопасти под потолком бесшумно крутились, разгоняя волны прохлады, но нарождающийся сухой неумолимо проникал внутрь здания.

— Поскорей бы уж началось, — вздохнула Тамар. — А то предыдущие дни... Я уже неделю почти не сплю, не

могу ни на чем сосредоточиться. Это напряжение меня убивает.

Лея протянула через стол крепкие руки, и они с Тамар сцепили пальцы.

— Тами-мами, еще не поздно передумать... никто тебя не сможет обвинить, уж тем более я, и я никому не расскажу про твою сумасшедшую идею.

Тамар покачала головой, отстраняя всякую мысль об отступлении.

К столику подошел Самир и зашептал Лее на ухо.

— Подай в больших горшках, — распорядилась та. — А что касается вина — порекомендуй шабли. А нам можешь принести курицу с тимьяном.

Самир улыбнулся Тамар и вернулся на кухню.

— Что ты им сказала? — спросила Тамар. — Ребятам с кухни? Что ты им рассказала?

— Мол, мы что-то такое с тобой празднуем... погоди, что же я действительно сказала? А... мол, ты уезжаешь, надолго... Сейчас увидишь, какой сюрприз тебе приготовили.

— Господи, как я буду скучать.

— Это точно, такой еды ты там не покушаешь.

— Теперь смотри. — Лицо Тамар сделалось жестким. — Вот конверт, в нем письма, оставляю их тебе. Они уже с адресом и с марками.

Лея обиженно насупилась.

— Господи, Лея, дело не в деньгах! Просто я хотела, чтобы все было готово.

— И еще хотела все сделать сама, как обычно, — уточнила Лея и покачала головой, словно говоря: «Что прикажете делать с этой девчонкой?»

— Брось, Лея! Хватит пререкаться. Что касается писем... ты ведь помнишь, правда?

Лея закатила глаза и забубнила, как ученик, в который раз вынужденный повторять ненавистное домашнее задание:

— Каждые вторник и пятницу. Ты их пронумеровала?

— Здесь, сбоку, на круглых наклейках. Прежде чем пойти...

— ...отлепить наклейку, — отчеканила Лея. — Слушай, ты думаешь, что я идиотка? Тупица с базара? Да! — Она демонстративно рассмеялась. — Вот кто я?!

Тамар пропустила этот выпад мимо ушей.

— Очень важно, чтобы ты отсылала письма в правильном порядке, потому что я сочинила целую историю и шуточки про всяких людей, которых я встречаю... в общем, всякую дурь дебилную, но беспокоиться они не станут, а значит, не станут мешать. — Она скривила губы в язвительной усмешке. — Такой вот роман в письмах с продолжением.

— Боже. Ты и это продумала? Всю голову небось сломала.

И Лея метнула неодобрительный взгляд на бритый череп Тамар.

— Вообще-то, — продолжала Тамар, в душе поблагодарив Лею за то, что та воздержалась от комментариев по поводу ее новой «прически», — письма

должны усыпить их на месяц, этого времени мне хватит. До середины августа. И две недели из этого месяца они пробудут за границей. Священный отпуск! — она снова криво улыбнулась. — В этом году под девизом «жизнь должна продолжаться несмотря ни на что».

Они с Леей посмотрели друг на друга, вздохнули, пожали плечами — в полном неверии, что такое возможно.

— Главное, чтобы мне не мешали, чтобы не начали меня искать, — сказала Тамар.

— Навряд ли они сподобятся на такое, — буркнула Лея.

Она придвинула к себе конверты, зашевелила толстыми губами, читая адрес и имена родителей Тамар.

— Тельма и Авнер... красивые они подцепили имена, точно из какого-нибудь звездного шоу...

— Моя жизнь в последнее время больше похожа на дешевую мыльную оперу.

— Знаешь, однажды я видела на стене надпись... «Я убью свою мамочку, если она еще раз меня родит».

— Примерно так, — рассмеялась Тамар.

Самир и Авива вынесли из кухни большое блюдо. Сняв серебристую крышку, Тамар увидела, что вокруг виноградной долмы бордовыми вишенками выложено ее имя.

— Это от нас всех, с любовью, — сказала Авива, зарумянившаяся от кухонного жара. — Чтобы ты нас не забывала.

Ели они молча. Обе притворялись, что наслаждаются едой, но аппетита не было ни у той, ни у другой.

— Я что подумала, — наконец заговорила Лея, отодвигая тарелку. — Помнишь мою сараюшку для всякого барахла? В двух шагах отсюда. — Тамар помнила. — Так вот, я кину там матрас для тебя, и не вздумай мне говорить «нет»! — Тамар молчала. — Ключ спрячу под вторым цветочным горшком. Если тебе надоест ночевать на скамейке в парке Независимости или, скажем... сервис там будет недостаточно стильный, так ты приходи в сараюшку и выпишись как белый человек, идет?

Тамар перебрала в уме возможные опасности. Кто-нибудь увидит, как она входит в сарай, потом выяснит, кому он принадлежит... Лея, конечно, ее не выдаст, но один из кухонных работников может проболтаться по глупости, и тогда они поймут, кто она такая, и план сорвется. Лея с тревогой следила за морщинками, собравшимися на чистом лбу Тамар. Что происходит с девочкой в последнее время?

И все же сараюшка — хорошая идея, подумала Тамар. Даже очень хорошая. Надо будет лишь как следует проверить, нет ли слежки. И ничуть не повредит, если она выспится и станет хоть немножко похожа на человека. Она улыбнулась. Лицо ее смягчилось, морщинки разгладились.

— Приходи, мам, отоспись! — обрадовалась Лея. — Там и кран с раковиной есть — помоешься. Вот туалета нет...

— Я уж устроюсь.

— Ах, приятно, что я хоть чем-то могу помочь!

Лея знала, что отныне каждое утро первым делом будет спешить в сарай — глянуть, не ночевала ли Тamar. И не забыть ободряющих записочек оставить там, и...

— Только пообещай, — потребовала Тamar, заметив в глазах Леи влажный блеск, — что если ты увидишь меня на улице, неважно, работаю я или просто сижу в каком-нибудь углу, ты ко мне не подойдешь. Даже виду не подаешь, что узнала меня. Обещаешь?

— Ах, сурова же ты, мать! — засуетилась Лея. — Но уж раз сказала, так сказала. Только объясни-ка мне, как я пройду мимо, чтоб тебя не обнять? Чтоб не принести тебе кой чего покушать? А что, если Ноа будет со мной? Как ее удержу, она ведь тебя узнает.

— Не узнает.

— Ага, — тихо сказала Лея. — Точно не узнает.

— Совсем жутко выгляжу, да?

— Ты... («Ты такая голая, что у меня сердце разрывается», — хотела сказать Лея.) Для меня ты всегда красивая, — сказала она в результате. — Моя мама говорила: «Кто красивый — хоть башмак на физиономию надень, а все одно не испортит».

Тamar благодарно улыбнулась и ласково сжала руку Леи. Увы, мама Леи не имела в виду свою дочку.

— Но я сама не знаю, как сдержусь, если увижу Ноа, — сказала она. — Я ведь впервые расстаюсь с ней так надолго.

— Я тебе принесла ее карточку.

— Лея... я не могу взять туда ничего.

Тамар взяла фотографию, лицо смягчилось, даже расплылось — точно акварельный рисунок.

— Солнышко... если бы я только могла ее взять! Я бы ее сто раз на дню целовала, ты же знаешь.

Самир принялся убирать тарелки, выговаривая за то, что не доели, и испуганно поглядывая на лысину Тамар. Они не обращали на него внимания.

— В детском саду, — рассказывала Лея, — их спрашивали о братьях и сестрах, и как думаешь, кого назвала Ноа?

— Наверное... меня... — улыбнулась Тамар, опуская внутрь, как вино в бокал, эту капельку гордости.

Они еще долго рассматривали портрет крошечной, словно из слоновой кости выточенной, девочки с чуть раскосыми глазами. Тамар прекрасно помнила слова Леи о том, что прежде, в том мире, где она жила примерно лет до тридцати, в своей прошлой жизни, она и женщиной-то не была.

— Относились ко мне там с уважением, — рассказывала Лея. — Но как к парню, а не как к женщине. Да и у меня никаких женских чувств не было. Ничегошеньки. И так вот с детства и тянулось, я ни настоящей девочкой не была, ни девушкой настоящей, ни женщиной, ни матерью. Ничего от женщины во мне не было. И только сейчас, в сорок пять, а все Ноа.

За одним из столиков разгорался скандал: седой краснолицый толстяк орал на Самира за то, что вино недостаточно охлажденное. Лея вскочила и бросилась туда, словно львица, защищающая своего львенка.

— А вы кто такая? — процедил толстяк. — Я требую хозяина ресторана!

Лея скрестила мощные руки на груди:

— Я и есть хозяин. В чем дело?

— Смеяться надо мной решили?! Вы?

Тамар поежилась от оскорбления, нанесенного Лее.

— А чего ж, — совершенно спокойно сказала Лея. Только губы ее побелели, да на щеке отчетливой выступили длинные шрамы. — Может, и хозяина ресторана вы желаете похолоднее?

Толстяк еще больше побагровел, взгляд у него сделался мутным. Пышнотелая дамочка, сидевшая с ним рядом, вся увешанная золотыми украшениями, успокаивающе похлопала его по ладони. Сделав усилие, Лея взяла себя в руки и послала Самира на кухню поменять вино, сказав, что новая бутылка — за счет заведения. Толстяк еще немного поворчал и умолк.

— Ну и свинья, — сказала Тамар, когда Лея вернулась.

— Я его знаю, — ответила Лея. — Какая-то шишка в армии, генерал или типа того. Думает — у него вся страна по стойке смирно... Вечно скандалит, нарочно нарываемся.

Она налила себе вина, и Тамар заметила, как дрожит у нее рука.

— К таким вещам не привыкнешь, — призналась Лея, залпом выпив.

— Не обращай внимания. Только подумай, что ты сделала в своей жизни и что перенесла, и как ты оттуда

выбралась, и как уехала во Францию, совсем одна, и три года училась там...

Лея слушала ее со странным выражением на лице — воодушевления и отчаяния. Рубцы на щеке пульсировали, словно в них билась кровь.

— И как ты подняла этот ресторан, опять в одиночку, а теперь снова одна растишь Нойку... Знаешь, такой мамы, как ты, нет больше на свете! Так что не обращай внимания на всяких уродов.

— Иногда я думаю, — пробормотала Лея. — Если б только был у меня мужик, схватил бы такую скотину за воротник да вышвырнул его кибенимат.<sup>[12]</sup> Какой-нибудь Брюс Уиллис...

— Или Ник Нолте, — рассмеялась Тамар.

— Но чтоб внутри мягкий был! — потребовала Лея. — И чтоб милый!

— В общем, Хью Грант, — резюмировала Тамар. — Чтобы любил тебя и баловал.

— Нет, этому я не верю. Хлыщ. Ты тоже таких остерегайся. Знаю, есть у тебя к ним слабость. — Лея рассмеялась, и у Тамар отлегло от сердца. — Мне нужен Сталлоне, фаршированный внутри Харви Кейтелем!

— Такого не существует, — вздохнула Тамар.

— Должен существовать, — возразила Лея. — Кстати, тебе тоже такой пригодится.

— Мне? Мне сейчас не до этого.

---

<sup>12</sup> Распространенное израильское ругательство, проникшее в иврит из русского языка в первой половине двадцатого века.

Любая мысль о любви, о близости была слишком опасна. Глядя на нее, Лея думала: «Зачем она это с собой делает? Зачем она себя так губит, совсем ведь еще девчонка». И тут едва не подскочила. Господи! Ей же на этой неделе шестнадцать! Лея быстро подсчитала — точно, на этой неделе... И ведь будет совсем одна, на улице, разве ж можно... Лея открыла было рот, но из кухни появился Цион с десертом, и она выпалила:

— Чего это вдруг? Выходите все, как на параде.

— В честь Тamar, — хохотнул Цион.

Тамар наслаждалась медово-лавандовым мороженым, жалея, что не может поднакопить где-нибудь в теле запасов всей это вкуснятины, чтобы питаться ими в течение ближайшего месяца. Она вылизала все до капельки под рассеянным взглядом Леи.

— Ну-ка, посмотрим, все ли я поняла, — сказала Лея. — Когда ты отправляешься на улицу?

— Прямо сейчас. — Тамар поежилась. — Пора.

— Да ну? — Лея не смогла сдержать тяжелый вздох. — А когда ты мне позвонишь?

— Прежде всего, запомни: весь этот месяц я никому звонить не буду. — Тамар чувствовала, как ногти впиваются в ладони. — А через месяц, где-то в середине августа, — это зависит от моего состояния, и если все пойдет нормально, я позвоню и попрошу тебя приехать на твоём «фольксвагене».

— И куда я тебя отвезу?

Тамар бегло улыбнулась:

— Когда до этого дойдет, я тебе скажу.

— Ну ты даешь! — Лея покачала головой, подумав: скорее бы уж все закончилось и к ней вернулась прежняя, настоящая Тамар.

Они встали и прошли на кухню. Тамар поблагодарила всех за особенный обед, расцеловалась с поварами, подсобными рабочими и официантами. Лея предложила поднять тост за здоровье Тамар, за успех ее дальнейшей поездки. Выпили. На Тамар все посматривали с опаской. Она выглядела не так, как выглядят перед приятным путешествием. Она выглядела словно перед операцией.

Тамар, у которой от вина кружилась голова, всматривалась в тесную, в клубах пара кухню, в окружающие ее лица и думала о тех часах, которые она провела здесь, вспоминала руки, по самые локти погруженные в рубленую петрушку или набивающие виноградные листья рисом, кедровыми орешками и мясом. Два года назад, в четырнадцать лет, она решила бросить школу и пойти в подмастерье к Лее. Лея согласилась, и Тамар проработала здесь несколько недель, пока ее отцу не стало известно, что она не ходит в школу. Он заявился тогда сюда и раскричался, что приведет инспектора из министерства труда, если Тамар хоть раз еще переступит порог этого ресторана. Сейчас она почти тосковала по той постыдной сцене. Как бы ей хотелось снова увидеть отца таким решительным и агрессивным. Она вернулась к ненавистным занятиям и встречалась с Леей только у нее дома, приходя, чтобы повозиться с маленькой Ноа, но с кулинарной идеей не рассталась. Ведь и так, думала Тамар, на другую карьеру теперь особо рассчитывать не приходится.

Лея проводила ее на улицу. В переулке нежно пахло жасмином. Мимо, пошатываясь и хихикая, прошла парочка в обнимку. Тамар и Лея переглянулись, пожали плечами. Лея когда-то объяснила, что в каждой паре есть своя тайна, понятная только двоим, а если тайны нет, то эта пара — вовсе не пара.

— Слышь-ка, Тами-мами, — сказала Лея, — не знаю уж, как это тебе сказать, но ты все-таки не сердись, лады?

— Сперва послушаем, — ответила Тамар.

Лея скрестила руки на груди:

— Если хочешь, я могла бы избавить тебя от всего этого балагана, постой, дай мне договорить до конца...

Тамар приподняла брови, но промолчала, хотя и знала заранее, что скажет Лея.

— Смотри, один мой звонок кое-кому, кто меня еще помнит с тех пор, с тех самых денечков... Для меня это не проблема.

Тамар подняла руку, чтобы прервать ее. Она знала, что пережила Лея, чего ей стоило вырваться из того мира, забыть все, к чему она была так привязана: и людей, и все это зелье. Знала она и другое — однажды Лея проговорила, что любое соприкосновение с тем миром способно снова сбить ее с пути.

— Нет! — отрезала Тамар, глубоко тронутая этим предложением.

— Я только брякну кое-кому, — продолжала Лея изображать воодушевление. — Я уверена, что он знает твоих хмырей. Через часок он заглянет к ним с парой

десятков стволов и без лишнего шухера вытащит его тебе оттуда.

— Нет, Лея!

— Да кое-кто только и ждет, чтобы я у них чего попросила, — сказала Лея, мрачно глядя себе под ноги.

Тамар обняла ее, прижалась.

— Какое у тебя сердце огромное, — тихо сказала она.

— Да? — переспросила Лея придушенным голосом. — Зато титек нет почти.

Она обняла маленькое, худое тельце. Жалостно коснулась острых, выступающих лопаток. Они надолго замерли, обнявшись. Тамар думала, что это последнее объятие перед тем, как она отправится в путь, а Лея изо всех сил старалась, чтобы это последнее объятие было особенно крепким и добрым, материнским и в то же время отеческим.

— Ты только береги себя, — почти беззвучно пробормотала она. — А то там, я-то ведь знаю, никто тебя беречь не будет.

Тамар остановилась в двух шагах от перекрестка. Из-за угла последнего дома в переулке она бросила на улицу опасливый, недружелюбный взгляд. Оглядела поле своей деятельности и почувствовала, что ей не хватает сил ступить на него. Она была похожа на актрису или певицу, которая за минуту до премьеры в страхе выглядывает сквозь дырочку в занавесе, стараясь угадать, что ожидает ее этим вечером, *рядом с ними*.

Внезапно одиночество, и страх, и жалость к себе хлынули на нее, и, вопреки всем своим тщательно

разработанным планам, Тамар поднялась в автобус и в таком вот виде — без волос, в комбинезоне, среди бела дня — проехала несколько остановок и вошла во двор собственного дома, молясь, чтобы никто из соседей ее не увидел, чтобы не встретилась садовница или кто-то еще, хотя знала, что даже если ее и увидят, то не признают.

И лишь приоткрыв калитку, Тамар ощутила, как воздух сгустился в комок жизни — в большой комок радости и любви, покрытый золотистой шерстью, сгустился и бросился ей навстречу. Большой, горячий и шершавый язык разок-другой прошелся по ее лицу. Мгновение удивления, легкого замешательства... но какое облегчение, настоящее чувство избавления! Собаке не было дела до перемен в ее внешности.

— Пойдем, Динкуш, я не справлюсь одна...

— Однажды, — начала Теодора, — жил-поживал...

И рассмеялась, потому что Асаф даже рот приоткрыл, замороженный ее интонациями бывалой сказительницы. Она уселась поудобнее, пососала ломтик лимона, чтобы освежить горло, и складно, не останавливаясь, с выразительными жестами и сверкающими глазами, поведала историю своего сердца, историю о себе, об острове Ликсос и о Тамар.

Однажды, примерно год назад, в одно из воскресений, когда Теодора наслаждалась полуденным отдыхом, она внезапно вздрогнула всем телом от грянувших прямо напротив ее окна ужасных звуков, состоявших из визга и скрипа, но постепенно очистившихся и превратившихся в живой девичий голос, умолявший ее подойти к окну.

То есть умолявший не ее саму, а «почтеннейшего господина монаха, который обитает в башне».

Теодора подошла к окну, увитому бугенвиллией, и увидела, что за оградой монастыря, в центре школьного двора, стоит бочка. А на бочке — миниатюрная девочка с черными вьющимися волосами, и в руках у нее мегафон.

— Дорогой монах! — вежливо начала девочка и, осекшись, замолчала, когда поняла, что появившееся в окне морщинистое лицо принадлежит женщине. — Дорогая монахиня, — с сомнением поправились она. — Я хочу рассказать вам сказку, которую вы, может быть, знаете.

И тогда Теодора вспомнила, что видела эту девочку около недели назад — на роскошном фиговом дереве, гордости монастырского сада. Девочка что-то записывала в толстую тетрадь и рассеянно поглощала одну инжирину за другой. И Теодора, давно подготовленная к подобным вещам, направила тогда на любительницу ворованных фруктов свое оружие — рогатку, посредством которой распугивала птиц, и пульнула абрикосовой косточкой.

И попала. В первый момент Теодора преисполнилась гордости. Еще одно подтверждение, что искусство стрельбы из рогатки не забыто, — она овладела им в детстве, на родном острове, когда их с сестрами отправляли караулить виноградники от ворон-грабительниц. Раздался вопль, полный испуга и боли, — косточка угодила девочке в шею. Та ухватилась рукой за пораженное место, потеряла равновесие, ломая ветки, полетела вниз и с глухим стуком ударилась о землю. Тот миг стал для Теодоры мигом глубочайшего раскаяния. Она хотела кинуться на помощь, и от всего сердца извиниться за содеянное, и умолять, чтобы

девочка с подружками перестала наконец разорять ее дерево. Но, будучи пожизненной узницей своей обители, Теодора не двинулась с места и сполна вкусила наказание, принудив себя смотреть, как девочка медленно поднимается, кидает в ее сторону яростный взгляд, поворачивается к ней спиной и, внезапным движением спустив штаны, посылает ей белокожую вспышку ягодич.

— Была когда-то в далекой стране маленькая деревушка, и рядом с ней жил-поживал один великан, — говорила девочка в мегафон неделю спустя после этого печального происшествия.

Монашка с изумлением слушала, и сердце ее переполнялось странной радостью от того, что девочка вернулась.

— У великана был большой сад, а в нем — множество фруктовых деревьев. Были там абрикосовые и грушевые деревья, персики и гуайявы, фиги, вишни и лимоны.

Теодора окинула взглядом свои деревья. Голос девочки ей понравился. В нем не было никакой враждебности, наоборот, в тоне слышалось приглашение к разговору, и Теодора мигом это уловила. Но не только приглашение к разговору — девочка обращалась к ней так, словно рассказывала сказку маленькому ребенку, и мягкий спокойный голос проникал в самые глубины памяти монашки.

— Деревенские дети любили играть в саду великана, — продолжала девочка. — Любили лазать по деревьям, купаться в ручейке и резвиться в траве...

Простите, госпожа монахиня, я даже не спросила, понимаете ли вы иврит?

Теодора очнулась от своего сладкого парения в грезах, взяла со стола лист бумаги, скрутила из него нечто вроде маленького рупора и слегка каркающим голосом, уже долгие годы не ведавшим громкого разговора, объявила, что она свободно говорит, пишет и читает на иврите, который изучала в юности у господина Элиасафа, учителя в школе «Тахкемони», для пополнения заработка дававшего частные уроки всем желающим. Завершив эту небольшую, но вполне детальную речь, она уловила на лице девочки первую улыбку.

— А ты не зрел ее, когда она улыбается? — шепнула Теодора Асафу. — С малой ямочкой здесь, — легко дотронулась она до его щеки, а он чуть вздрогнул, будто ощутил тепло Тamar, до которой ему, в сущности, никакого дела нет. Что ему до ее ямочки?

А Теодора подумала: «Покраснели, сударь!» Вслух же сказала:

— Сердце рвется наружу и летает, когда она улыбается, нет, не смейся! Вовеки я не преувеличиваю! Сердце рвется наружу, бия крылами своими!

— Но великан не хотел, чтобы дети играли в его саду, — продолжала девочка на бочке. — Не хотел, чтобы они лакомились плодами с его деревьев, и не разрешал рвать цветы или купаться в своем ручье. И тогда он построил стену вокруг своего сада, высокую и прочную стену.

Она в упор посмотрела на монахиню, и взгляд этот был пронзителен, сосредоточен и не по годам взросл. Теодора невольно почувствовала, как в душе ее из далекого далека всплывают нежные воспоминания.

Асаф тоже слушал как замороженный, улыбаясь, будто видя всю картину: маленькая монашка, выглядывающая в окно, заросший сад, а по другую сторону ограды на бочке стоит девчонка. По правде говоря, он немного побаивался девчонок, способных лазать по бочкам и вытворять такое. (Какое такое? А такое — вызывающее, особенное, экстраординарное, такое *оригинальное*.) Да, он издалика вычислял таких девчонок и обходил их стороной — упрямые и самоуверенные, с собственным мнением на все случаи жизни, они не сомневаются, что мир принадлежит им, и всё для них — одна игра. И уж конечно, им нет дела до таких, как он, — тормознутых и скучноватых.

Но у Теодоры были совсем иные мысли. Она подтащила к окну резной деревянный стул, на котором не сживала уже долгие годы, — дозорный стул для ожидания паломников. Смахнув со стула стопку книг, она села, выпрямилась и напряженно замерла на мгновение, но вскоре ее тело само собою подалось в сторону окна, локти легли на подоконник, а подбородок опустился на сцепленные ладони.

Со стороны улицы сад был огорожен массивной каменной стеной, но от школы его отделяла только высокая уродливая ограда из железной сетки. Эта ограда не защищала сад от вторжения прожорливых школьников, которых с наступлением сезона запах спелых плодов сводил с ума. Назарян, садовник-армянин, служивший также экономом, маляром, плотником,

слесарем, посыльным и письмоноском, вынужден был вновь и вновь латать дыры в ограде, но каждое утро обнаруживались новые. Сад, в прошлом служивший Теодоре источником огромного наслаждения, теперь причинял ей только душевные муки, и не раз, в минуты отчаяния, она всерьез обдумывала идею отделаться одним махом от всех этих деревьев — чтоб ни нашим, ни вашим.

Но сейчас, слушая эту девочку, Теодора забыла про свои терзания. Она и вправду не знала этой сказки. Теодоре вдруг вспомнилась мать — вечно занятая, вечно усталая, с неизменным младенцем за спиной, у нее никогда не было времени на Теодору. И возможно, впервые в жизни Теодора подумала, что мать никогда не рассказывала ей историй и никогда не пела песен. Размышления унесли ее в маленькую деревушку на острове Ликсос, к побеленным домикам и рыбацким сетям, к семи ветряным мельницам и малюсеньким голубятням, к развешанным тушкам осьминогов... Уже долгие годы Теодора не видела свою деревеньку с такой ясностью: эти дворики и узкие улочки, вымощенные булыжниками — на острове их называли «обезьяньими головами». Почти пятьдесят лет она запрещала себе вернуться туда даже на миг, перекрыв и забаррикадивав тот дальний уголок памяти, ибо знала, что сердце ее разорвется от невыносимой тоски и горя.

— Ешь виноград, — сказала она Асафу еле слышно. — Сладкая султана... ибо ныне она будет горька, сия история.

Лет за семьдесят до того, как Теодора родилась, Фанориос, староста деревни, богач, ученый и путешественник, решил пожертвовать огромную сумму

на постройку дома для жителей своего острова в священном граде Иерусалиме. Сам Фанориос прибыл в Святую землю в 1871 году и оказался с толпой русских крестьян в грязной вонючей казарме, построенной Российской империей для своих паломников. Несколько недель он провел среди людей, не понимавших его языка, чьи обычаи и повадки казались ему дикими и даже отвратительными; он стал жертвой проводников, измывавшихся над простодушными паломниками и грабивших их, отнимая скудные гроши, а когда заболел, то во всем городе не нашлось врача, который понял бы его жалобы. Вернувшись наконец на родной остров, умирающий от тифа, мучимый кошмарами, Фанориос продиктовал секретарю свою последнюю волю: чтобы в священном граде возвели обитель, в которой смогут гостить уроженцы острова Ликсос, пусть у них будет свой дом в Святой земле, где можно преклонить усталую голову и омыть ноги после долгого пути, — дом, где с ними будут говорить на их родном языке, более того, на кикладском диалекте. И еще одно правило установил Фанориос: чтобы всегда жила в этом доме одна-единственная монахиня из девочек, рожденных на острове, — та, кому выпадет жребий. Всю свою непорочную жизнь проведет она в этом доме, никогда не покинет его, даже на краткий миг, и каждый свой день посвятит она ожиданию паломников и уходу за ними.

Девочка продолжала говорить, но Теодору уже подхватили и унесли тихие подводные течения памяти. Она вспомнила тот день, когда старейшины собрались в доме внука Фанориоса, чтобы в третий раз с тех пор, как возведен был этот дом в Иерусалиме, бросить жребий. За долгие годы, прошедшие со смерти Фанориоса, уже две

уроженки острова отправились туда. Одна сошла с ума после сорока пяти лет, проведенных в обители, и тогда вместо нее послали Амариллию, девочку с золотыми косами. А теперь пришел черед сменить и заболевшую Амариллию, ходили слухи, что и она больна не телесной болезнью. В то самое время двенадцатилетняя Теодора, голая и загорелая, как спелая слива, валялась на каменном уступе в своем тайном заливчике. С закрытыми глазами предавалась она размышлениям об одном парне, с недавних пор дразнившем ее на каждом шагу, — этот наглец смеялся над ее треугольным лицом, над вечно поцарапанными ногами, обзывал «трусихой» и «девчонкой». А вчера, когда она в одиночестве возвращалась с моря, он преградил ей дорогу и потребовал, чтобы она ему поклонилась, — тогда он позволит ей пройти. Она набросилась на него, и они долго боролись молча — слышны были только их стоны и сопение. Теодора царапалась, кусалась, как кошка. Она уже почти одолела его, когда послышался скрип колес приближающейся повозки. Парень вскочил и убежал. Отряхнувшись от дорожной пыли, Теодора обнаружила, что он ей что-то оставил. Это был глиняный ослик на длинной проволочной палочке.

И, нежась на теплом уступе, гадая, что он принесет ей сегодня, вспоминая резкий и странный запах, исходивший от его потного тела, юная Теодора вдруг услышала чей-то крик. Она приподнялась и увидела на вершине горы маленькую фигурку, стремительно бежавшую в ее сторону. Теодора привстала на коленях. Человек, судя по всему, выскочил из дома внука Фанориоса. Еще через минуту Теодора поняла, что это мальчик, маленький полуголый мальчик. Он размахивал руками и в исступлении выкрикивал ее имя.

Через три дня ее снарядили в путь. Обида вновь вскипела в ее сердце. Отец и мать были, конечно, так же несчастны, как она, но им и в голову не пришло противиться решению старейшин острова. Теодора вспомнила прощальную вечеринку, которую они ей устроили, белого ослика, украшенного цветами, сахарную голову в форме этой вот иерусалимской башни. И еще клятву, которую ей пришлось дать, что она никогда-никогда не покинет странноприимный дом с окном, обращенным на запад, в сторону моря.

Точную формулировку клятвы Теодора уже не помнила, но, словно в кошмаре, видела заросшее черным волосом лицо главы старейшин и мясистые губы попа, на глазах у всей деревни взявшего ее ладонь и положившего на прямоугольную железную пластину. Она знала, что может добиться свободы, если издаст хоть один крик боли, хоть один слабый стон. Но, подняв глаза, она увидела горящие глаза того парня, и гордость не позволила ей закричать.

Тоненькая девочка продолжала вещать со своей бочки. Теодора сделала глубокий вдох и в охватившем ее трепете почти распознала запах моря, запах своего отплытия — первого и последнего путешествия к жалкому яффскому порту, и увидела долгую дорогу к Иерусалиму на стареньком автобусе, пыхтевшем совсем по-человечьи. Теодора вспомнила чувство физического недоумения, наполнившее все ее тело, когда она впервые в жизни очутилась не на острове.

А поздней ночью, когда извозчик-бухарец высадил Теодору со всеми ее свертками перед воротами монастыря, она поняла, что жизнь кончена. Сестра Амариллия открыла ей калитку, и Теодора была

потрясена при виде этого отрешенного лица — лица заживо погребенного человека.

За два года, что она провела вместе с сестрой Амарилией в этом доме, в Иерусалиме не побывал ни один паломник. Теодора повзрослела и похорошела и, глядя на Амарилию, видела, в каждой черточке ее увядшего лица видела, что ожидает ее самое, когда она вырастет и состарится. Большую часть времени Амарилия сидела на высоком стуле у окна, обращенного на запад, смотрела туда, где предположительно находилась Яффа, и ждала. За те десятки лет, что провела Амарилия в заключении, она забыла даже своих домашних, буквы алфавита и жителей Ликсоса, пославших ее сюда. Она сжалась в одну узкую линию, в тонкий шрам ничего не выражающего взгляда.

А через месяц после того, как сестра Амарилия умерла и ее похоронили во дворе монастыря, прибыла трагическая весть: в Эгейском море разразилось страшное землетрясение — великое землетрясение пятьдесят первого года. Остров раскололся пополам, а из моря вознесся гигантский вал, в несколько мгновений смывший все население Ликсоса в пучину.

Но нет, не об этом хотелось Теодоре вспоминать в тот момент, когда из внешнего мира доносился чистый, нахальный голос, уводящий ее в детство, погребенное под толщей воды и пятьюдесятью годами. Теодора не знала, отчего она готова уступить этому голосу, звучащему песней. Она с силой прижала кулачки к глазам, словно для того, чтобы скрыться от образа девочки на бочке, и сквозь искры увидела себя — резкую, дерзкую и неукротимую Теодору, прыгающую в

обнимку с двумя подружками. А теперь... где ты, хохотушка Александра, легкая горная козочка, где ты, Катарина, бывшая в курсе всех тайн моих? Жители деревни всплыли со дна, стучась в ее закрытые веки, умоляя вспомнить их: сестры, старшие братья, два ее брата-близнеца, в один день ослепшие, потому что посмотрели на солнце в час затмения. Их тоже больше нет. И того глупого красивого парня.

Рукавом рясы Теодора отерла мокрые глаза, перевела взгляд на девочку, на свои фруктовые деревья и подумала, что ведет себя как последняя ослица и даже как негодяйка. Деревья гнулись под тяжестью плодов, которые никто, кроме нее, не ел. И даже после налетов разбойников-школяров плоды эти гнили на ветках в огромном количестве. Она воевала с детьми потому, что они воровали у нее, а она не переносит воровства, но если она разрешит им понемногу рвать плоды, то, возможно, эта война враз прекратится...

От раздумий ее отвлекла внезапная тишина. Девочка замолчала и, как видно, ждала ответа.

Сейчас, когда рассказчица опустила массивный мегафон, Теодора увидела, какая она милая. В этом открытом и красивом лице, в широко распахнутых глазах, застенчивых и пронзительных одновременно, было что-то истовое и искреннее, задевшее Теодору, проникшее сквозь все наслоения возраста, времени и одиночества. Тогда Теодора взяла свой бумажный рупор и возвестила, что готова пойти на переговоры.

— Вот так сие и началось, — тихонько засмеялась Теодора, и Асаф потянулся, словно пробудившись от странного сна. — Назавтра они явились и сидели здесь, у меня во комнате, — Тamar и еще друг и подруга ее души,

и дали мне подробный план хоть куда, и во нем — перечисление деревьев во саду и список детей из хора, заинтересованных во договоре, и таблица дежурств, то есть деревьев, с которых можно пожинать плоды в определенную неделю... И закончилась война, — Теодора громко рассмеялась, — в один день.

А сейчас наступает момент, думает Тамар, когда уже нельзя сбежать. Она волочит ноги, не находя места, где можно было бы хоть минутку постоять, — стоит ей задержаться на мгновение, и асфальт вспыхивает под ее подметками. Чтобы немного успокоиться, она вспоминает, что в последние месяцы хватало таких «моментов»...

Например, когда она впервые рискнула обратиться к кому-то типу в одной из вонючих забегаловок у рынка — показала ему фотографию и спросила, знаком ли ему этот человек. Или когда впервые заговорила с приметным торговцем на Сионской площади — толстозадый карлик в цветастой вязаной шапочке, которого запросто можно было вообразить на театральной сцене в роли симпатичного тролля из страны сказок. Она тогда долго торговалась с ним, и никто бы не смог догадаться, как отчаянно колотится у нее сердце. Деньги и товар перешли из рук в руки, и она спрятала покупку в пакетик, а пакетик завернула в колготки. С этой минуты она знала, что у нее есть теперь количество, достаточное для первых дней операции...

И все же сейчас было особенно тяжело — надо было встать в самом центре города, в самом людном месте, на пешеходной улице Бен-Йегуда, по которой она миллион раз проходила нормальным, свободным человеком...

...С Иданом и Ади они отправлялись сюда после репетиции хора полизать мороженого или выпить капучино, они сидели и злословили о новом теноре, русском мальчишке, который так нагло решил посостязаться с Иданом за сольные партии.

— Еще один сиволапый с Урала, — бурчал Идан в свою чашку и слегка раздувал ноздри, что служило для Тамар с Ади знаком, что сейчас следует разразиться раскатистым смехом до слез.

И Тамар смеялась, даже громче, чем Ади, — наверное, для того, чтобы заглушить мысли о себе. И еще она смеялась потому, что не в силах была противиться этому чуду — впервые в жизни она принадлежала к маленькой сплоченной компании насмешников, которые вот уже год и два месяца и неделю и еще день вместе, троица юных гениев, чудесное братство, где один за всех и все за одного. Так она, во всяком случае, считала.

А сейчас она должна пройти по этой улице совсем одна, найти место — например, вон там, рядышком с русским стариком, наяривающим на гармошке, — и встать посреди уличной жизни, и вот кто-то уже нервно косится на нее, кто-то раздраженно обходит, и она тут же начинает чувствовать себя маленьким листиком, решившим повернуть против течения мощной реки. Однако колебаться нельзя, и думать нельзя — и ни в коем случае не представлять, что вот сейчас кто-то узнает ее и подойдет, и спросит, что это за бред такой. Господи, какая наивность или глупость — думать, будто выбритая голова и этот маскарадный комбинезон смогут

ее изменить до неузнаваемости. А вдобавок еще и Динка — даже если ее не узнают, Динку узнают непременно. Какую же глупость она сделала, взяв с собой Динку! И разом все совершенные промахи встают перед ее глазами, целая цепочка глупостей и ошибок. Что ты о себе навоображала, ты всего-навсего глупая девчонка, решившая поиграть в Джеймса Бонда! Тамар стояла, сжавшись и пригнув голову, словно в ожидании удара. Как ты могла не догадаться, что именно так все и случится, что в самый ответственный момент ошибки вылезут наружу, — ведь с тобой всегда так?! Всегда наступает момент, когда твои фантазии сталкиваются с действительностью и мыльный пузырь твоих фантазий лопается прямо у тебя на физиономии...

Люди обходили Тамар, что-то ворчали, задевали. Динка неуверенно гавкнула. Тамар выпрямилась, закусила нижнюю губу. Хватит себя жалеть! Времени для сомнений больше нет, поздно передумывать. Забудь о себе. Надо поставить кассетник на тротуар, нажать на клавишу, прибавить громкости, еще, еще — это тебе не комната, это улица, это Бен-Иегуда-стрит, пора забыть о себе, теперь ты только инструмент, с этого момента ты — орудие, не более, прислушайся к звукам, к своей любимой музыке, к гитаре Шая, представь себе его длинные медовые волосы, падавшие на щеку, когда он играл для тебя в своей комнате, дай ему окутать тебя, растопить, и в нужный, точно выбранный момент...

Suzanne takes you down

To her place near the river

You can hear the boats go by

You can spend the night beside her

And you know that she's half crazy

But that's why you want to be there...<sup>[13]</sup>

Много дней Тамар обдумывала, с какой песни начать свою уличную карьеру. Ведь и это она была обязана рассчитать — наряду с запасами питьевой воды, свечей и рулонов туалетной бумаги. Сначала она собиралась спеть что-нибудь хорошо известное на иврите — что-нибудь из репертуара Иегудит Равиц или Нурит Гальрон. Что-нибудь милое, ритмичное, душевное, такое, чтобы и самой не напрягаться, и в уличную атмосферу чтобы вписалось. С другой стороны, Тамар изводил вечный ее зуд, вечный соблазн поразить их с самого начала чем-нибудь совершенно неожиданным — второй арией Керубино из «Свадьбы Фигаро», например. И с самого начала заявить о себе и о своих намерениях на этой улице, чтобы все немедленно поняли, насколько она не похожа на остальных...

Ведь в воображении смелость ее не знала границ. В воображении Тамар посылала свой голос вдоль и поперек улицы, заполняя им все пространство, всякое помещение и всякую нишу, омывая в нем людей, словно в очистительно-смягчающем растворе. В воображении она пела очень высоким голосом, на грани гротеска, чтобы потрясти их с самого начала и не стесняясь предаться этому легкому дурману, который всегда охватывает ее, когда она поет вот так — пьянея от наслаждения неудержимым полетом из самой глубины ее нутра к самым головокружительным высотам. Но в конце

---

<sup>13</sup> Песня Леонарда Коэна; здесь и далее перевод Александра Голева.

концов она выбрала «Сюзанну», потому что любила эту песню и любила теплый, грустный и надтреснутый голос Леонарда Коэна, а главное, она решила, что начать будет легче с песни на иностранном языке.

Но уже через пару секунд что-то пошло не так. Тамар знала, что первые ноты взяла слишком слабенько, слишком неуверенно. «Никакой харизмы», — звучит в ее ушах уничтожающий приговор Идана. Что с ней происходит? Только бы не сломаться. Ведь единственное, в чем она была уверена, — это в своем пении. А теперь выясняется, что и оно ей не дается, что петь на улице — значит вывернуть себя наизнанку перед глазами скучающей толпы, которой до тебя и твоих песен нет никакого дела.

Тамар поднажала, попыталась преодолеть напряжение, сковывавшее ее, но как же далеко все было от ее фантазий — что с первой ноты вся улица бросится к ее ногам, вне себя от восторга. Не видела ли она как наяву, что мойщик окон на втором этаже «Бургер-Кинга» прерывает свои круговые движения, а продавец соков вырубает соковыжималку, оборвав на середине жалобный вопль морковки?..

Но постой, погоди, только не отчаивайся так сразу. Вот, например, тот дядька возле обувного магазина замер на месте и смотрит на тебя. Ну да, он еще на приличном расстоянии, перестраховывается, но все-таки слушает. Тамар попробовала еще чуточку прибавить, и голос расправился, окреп:

... And she feeds you tea and oranges

That came all the way from China

And just when you mean to tell her  
That you have no love to give her  
Then she gets you on her wavelength  
And she lets the river answer...<sup>[14]</sup>

И как это случается с речным или уличным потоком, как только одна щепка застревает, тут же вокруг скапливаются другие. Таков закон, таков физический закон движения в потоке. И рядом с человеком, что замер у обувного магазина, останавливается еще один. И еще один, и еще. Вот их скопилось там уже шестеро или даже семеро. А теперь уже восемь. И Тамар выравнивает дыхание, сдерживая внезапно окрепшее тремоло, и решается поднять глаза, чтобы мельком глянуть на свою публику, на десяток человек, собравшихся вокруг нее...

That you've always been her lover  
And you want to travel with her  
And you want to travel blind<sup>[15]</sup>

«Легче, легче, не нажимать, дышать снизу, от пальчиков на ногах дышать! — слышит она в воображении голос деспотичной и обожаемой Алины. — Не дай бог тебе петь с таким зажатым горлом: х-х! х-х! Ты разве Цецилия Бартоли?»

Улыбнувшись про себя, Тамар по завету своей учительницы взбирается по воображаемой лестнице — от горла до тайной птички в центре лба, и Алина, которая и

сама выглядит немного по-птичьему, проворно приподнимается над роялем, ее слишком узкая юбка шуршит, одна рука продолжает играть, а другая — на лбу Тамар: «Пожалуйста! Bravo! Теперь слышно! Глядишь, и на прослушивании услышат, а?»

Но Алина готовила ее к пению в концертных залах, на фестивалях или в мастер-классах, с известными дирижерами или с гениальными оперными режиссерами, наезжающими из-за границы, или на ежегодных выступлениях хора, перед дружески настроенными слушателями, под гордым маминым взглядом (отец приплетался нехотя, и однажды Тамар даже заметила, как он читает во время концерта). Иногда приходила еще пара родительских друзей — из тех, чьи лица смягчаются и сияют, когда она поет: девочка, которую они знают с пеленок, родившаяся с таким оглушительным воплем, что даже акушерка сказала, что она будет «певицей в опере», а на одной младенческой фотографии она поет, микрофоном держа перед собой штепсель от утюга...

И вот уже накатывает срыв... жаль, что так быстро. Но ведь ясно было, что именно это с ней и случится, все-таки не станем забывать, дорогие друзья и родители, что Тамар не знает, чего ждать от себя на улице, не знает, может ли она положиться на себя. Так-то вот, милочка моя, блаженненькая моя, на самом деле надеяться не на кого, даже на себя, особенно на себя...

И вместе с испугом приходит отрезвление, крысенок отрезвления вгрызается в желудочно-кишечную полость и кусает, кусает, кусает. Тамар еще поет, непонятно как, но неприятные мысли стремительно сгущаются в слова, в черные гимны ее нутра, только бы не запеть их по ошибке...

Не прекращать, не прекращать! — беззвучно кричит она в страхе себе, когда голос начинает дрожать из-за частых и резких ударов сердца. Все тело сжимается, мышцы деревенеют, наверняка снаружи слышно все, что с ней происходит внутри, наверняка все уже заметили ее перепуганную гримасу. Еще несколько секунд, и все рухнет — не только это несчастное выступление, но и все то, что ему предшествовало, все то, что и так шатко и неустойчиво. Прекрасно, дебилка, так тебе и надо! Ты наконец понимаешь, чего наворотила в своих ненормальных мозгах? Дошло до тебя, во что себя втянула? Ты пропала. Теперь приведи себя в порядок и тихонечко возвращайся домой. Нет, нет, продолжай петь! Пожалуйста, пожалуйста, продолжай петь! Тамар пресмыкается перед собой, словно перед зловещим похитителем детей, в лапы к которому угодила. Если бы у нее в руках был хоть какой-нибудь инструмент: гитара, да пусть барабан, даже платок, как у Паваротти, — что-нибудь, за что можно схватиться, сжаться за ним всем телом... Удары сердца превращаются в монотонный клеткот, кто-то внутри Тамар с сатанинским усердием приводит в действие силы, способные разрушить ее: все неприязненные взгляды, когда-либо брошенные на нее, все перешептывания, все неприятности, старые провинности, позоры и обиды. Колонна крыс шагает в ногу. Глянь-ка, как быстро тебя разоблачила *реальность* — не та, что в твоих фантазиях, а настоящая... Ведь здесь *жизнь*, дорогуша, подлинная жизнь, осязаемая, ты пытаешься пристроиться к ней, а она отторгает тебя, как тело отторгает чужеродный орган. «Ты опять дышишь грудью, а не диафрагмой, — сухо подводит итог Алина, вжикает молнией своего черного ридикюля и поворачивается, чтобы уйти. — Твой голос застревает в

горле, а я тебе тысячу раз говорила: не нажимать горлом! Не желаю, чтобы ты была как Муссолини на балконе!» А что бы сказал Идан, если бы сейчас прошел здесь? «Don't call us, we shall call you».<sup>[16]</sup> Брось, он здесь не пройдет, и знаешь почему? Ты помнишь? Потому что наш Идан сейчас в Италии... только не думать об этом сейчас, пожалуйста, пожалуйста... Идан и Ади, и весь хор — месяц выступлений по всей стране. Сегодня они поют в «Театро де ла Пергола»; между прочим, именно сейчас у них репетиция с флорентийским симфоническим оркестром. Забудь, забудь, сосредоточься, вспомни, что это твой заработок, что без этих денег останешься вечером без еды. До вчерашнего дня они были в Венеции, в «Театро Фениче», интересно, как прошло выступление и отправились ли они потом посмотреть мост Вздохов и есть фруктовое мороженое на площади Сан-Марко. Ради этой поездки они втроем трудились почти полгода, она тогда и не представляла, что весь мир так перевернется. Забудь про Венецию, вспомни про Сюзанну, отдай свой голос песне. А что, если Идан и Ади смогли все устроить так, чтобы спать в Венеции вместе, то есть у одних хозяев, то есть... дверь в дверь?

Эта мысль перехватывает ей горло, и Тamar замолкает на полуслове. Она точно онемела. Гитара на кассете продолжает без нее, сопровождая Сюзанну без Сюзанны. Тamar выключает магнитофон, оседает на мостовую и сидит, уронив голову на руки. Люди смотрят на нее еще минутку. Пожимают плечами. Начинают расходиться, снова натягивая на себя оболочки непричастности и равнодушия улицы. Только одна

---

<sup>16</sup> «Не звони нам, мы сами тебе позвоним» (англ.)

пожилая женщина, тяжело переваливающаяся и бедно одетая, подходит к ней:

— Деточка, ты больна? Ты сегодня что-нибудь ела?

В ее глазах жалость и тревога, и Тамар с большим усилием выдавливает из себя подобие улыбки:

— Я в порядке, только голова чуть-чуть закружилась.

Женщина копается в кошельке, роется среди старых автобусных билетов. Тамар не понимает, что она там ищет. Женщина достает несколько шекелевых монеток и кладет рядом с Тамар на землю.

— На, миленькая, купи себе чего-нибудь покушать. Так ведь нельзя...

Тамар смотрит на деньги. Эта женщина, похоже, куда беднее ее самой. Она чувствует себя мошенницей, вымогательницей. Но тут же вспоминает, что это роль, что она — персонаж той пьесы, которую сама пишет, ставит и играет. А главное, она всем сердцем надеется, что есть некто, наблюдающий за ней со стороны и видящий именно то, что она хочет ему показать. И девочка в этом спектакле обязана взять эти монетки, пересчитать, ссыпать в карман рюкзака и улыбнуться про себя с облегчением — теперь есть на что купить еды.

Динка кладет голову ей на колени и заглядывает в глаза. О, эта большая, материнская собачья голова! Тамар молча жалуется ей: «Ой, Динка, я боюсь. Я не могу вот так вот, перед посторонними...»

«Не морочь мне голову. — Динка дышит ей в ладонь. — Во-первых, ты все можешь, а во-вторых, напомни-ка мне, кто сдернул блузку в заключительной

песне из «Волос» на отчетном концерте, перед всей публикой?»

«Но там это было по-другому, — смущается Тамар. — Там... ну как тебе объяснить?»

Динка чуть приподнимает брови, что придает ее морде выражение ироничного удивления. И Тамар раздражается:

«Даже ты не понимаешь? Это как раз и была та самая отвага трусов и выпендрож тихонь, то самое «назло» тех, кто боится собственной тени. Всегда это так... ну, эти заходы, которые Шай называл «слалом», а теперь у меня нет на них сил...»

«Ну так займись этим и здесь! — выносит приговор Динка, решительно высвобождая голову из объятий Тамар. — Продемонстрируй им, что такое выпендрож тихонь, устрой им слалом трусов!»

«А что, если над моим пением начнут смеяться? — умоляет Тамар. — И что, если я еще раз облажаюсь? Кому я буду нужна?»

Но обе они знают, что самое-то страшное будет именно в том случае, если этот заход удастся, если ее план осуществится и потянет ее, шаг за шагом, к тем, кто ее должен поймать.

— Ну-ка, — говорит Тамар с неожиданным приливом лихорадочной энергии, — покажем им, кто мы такие!

В два часа дня, ровно через четыре недели после провальной премьеры Тамар, Асаф вышел из монастыря. Солнце ошеломило его, он ощутил себя человеком, пробывшим долгое время в ином, очень далеком мире.

Теодора проводила его до лестницы, наказав, чтобы он разыскал Тamar, и поскорее. Оставалось еще полно вопросов, которые Асаф хотел ей задать, но он понял, что ничего нового о Тamar монахиня ему не сообщит, да и находиться в отгороженной от всего мира комнатке больше не мог.

Все тело почему-то пульсировало непонятным напряжением. Динка шла рядом, время от времени бросая на него удивленные взгляды. Может, собаки чувт такие вещи, подумал Асаф, такие вот вспышки невращения. Он перешел на бег, и Динка рванулась следом. Асаф любил бегать, бег его успокаивал, да и размышлять на бегу было приятно. Учитель физкультуры неоднократно пытался уговорить его поучаствовать в соревнованиях, уверяя, что у него ритмичное дыхание и хороший пульс, а главное — выносливость, подходящая для кроссов. Но Асаф не любил ни напряжения соревнований, ни соперничества с незнакомыми людьми, а главное — он не любил выставляться перед публикой. Смешно, что в беге на шестьдесят метров он всегда бывал среди последних (из-за того, что физкультурник называл «запоздалым заводом»), но в беге на два или на пять километров у него не было соперников даже среди старшеклассников. «С того момента, как у тебя что пошло, так все, а? И до конца, без дураков!» — как-то с изумлением сказал ему физкультурник, и эту короткую фразу Асаф хранил в сердце, как медаль.

Вот и сейчас он чувствовал, что вся эта беготня, начавшаяся утром, наконец превращается в «то самое», в правильный, хорошо рассчитанный бег в верном ритме. Он бежал, и мысли постепенно прояснялись. Асаф понял, что каким-то образом угодил в небольшую заваруху, — ничего по-настоящему опасного, и тем не менее он попал

в зону более насыщенной, наэлектризованной реальности.

Они с Динкой бежали неспешной рысцой. Поводок провисал между ними, и Асаф чуть не поддался соблазну вовсе бросить его. Он подумал, что, в сущности, они впервые бегут вот так — как человек со своей собакой. Он посмотрел на Динку — язык высунут, глаза сверкают, хвост вытянут. Попытавшись подстроиться под ее шаг, он вдруг ощутил энергию общего ритма. Казалось, что и собака чувствует то же самое, что она знает: они — вроде двух друзей-попутчиков. Асаф улыбнулся про себя. В этом совместном беге присутствовало нечто такое, чего он не знал уже долгие годы, по чему забыл уж и тосковать, — нечто вроде дружбы.

Он подумал о той девушке, Тамар, и душевного покоя опять как не бывало, и шаги сразу сделались шире. Каждая новая подробность о Тамар, каждая мельчайшая деталь или второстепенный факт казались ему — невесть почему — наполненными огромным значением, скрытым содержанием. Удивленная Динка прибавила шагу. И вообще, с самого утра, с того момента, когда все началось, он чувствовал, будто какой-то новый смысл силой пытается проникнуть в его жизнь, зацепиться за нее любой ценой, пустить в ней корни. А ведь Асаф на самом деле вовсе не любил такого рода неожиданностей. Обычная, каждодневная жизнь и так казалась ему чрезмерно непредсказуемой, а кроме того (он с испугом глянул на часы), нужно уделить немного времени его личному делу — решить, как отделаться от давления Рои. Да и не собирался он прочесывать полгорода в погоне за неизвестной девчонкой, с которой он ничем не связан и не будет связан никогда, какое ему до нее дело? Только благодаря странному стечению обстоятельств узнал он о

ее существовании, и если хорошенько подумать, то с Дафи он хотя бы знаком, и не нужно по новой привыкать к ее изъяснам, а эта, новая, у которой, кстати говоря, такая классная собака и которая любит пиццу с сыром и маслинами... Асаф забыл, о чем это он.

Вдруг Динка обогнала его и припустила быстрее. Он не понял, в чем дело, огляделся, но никого не увидел. Улица была пуста. Но Асаф уже знал, что нужно положиться на Динку, догадывался, что она, вероятно, увидела или учуяла кого-то. Динка резко нырнула в улочку, свернула на другую и опрометью кинулась в парк Независимости, ураганом ломаясь через кусты и заросли травы. Ее большие уши летели за головой, а Асаф летел за ней, размышляя о чуде собачьего обоняния, о том, что собака способна почувствовать кого-то, совершенно его не видя. И еще он думал, что скажет этому кому-то, когда наконец до него доберется.

— Попался! — крикнул кто-то сзади и прыгнул ему на спину, повалив его на землю.

Асаф был так ошарашен, что какое-то время лежал неподвижно, без единой мысли в голове. Лишь через минуту он ощутил, что человек заламывает ему руку за спину так, что едва не трещат кости, и только тогда Асаф закричал.

— Поори мне, поори, — сказал сидевший на его спине. — Там еще и поплачешь.

— Что вам от меня надо? — простонал Асаф. — Что я вам сделал?

Человек с силой ткнул его лицом в землю, немедленно забившую Асафу нос и рот. На лбу расплзлась какая-то мокрота. Два сильных пальца

сдавили ему щеки, заставляя раскрыть рот, и тут же другие пальцы влезли в рот, пошарили и убрались восвояси. Обалдевший Асаф смотрел на снующих муравьев и окурок — все в огромном увеличении.

Перед носом появилась бумажка, смахивающая на документ. Он скосил глаза, но ничего не разглядел. Слишком близко. К тому же глаза туманились слезами. Человек схватил Асафа за волосы, с силой приподнял его голову и подsunул ему под нос документ. Асаф подумал, что его глаза вот-вот вылезут из орбит, но все же увидел фотографию улыбающегося загорелого парня и полицейскую эмблему, и ему на миг полегчало. Но только на миг.

— А ну, встать! Ты арестован.

— Я? За что? Что я сделал?

Вторая рука Асафа тут же оказалась заломлена за спину, и он услышал щелчок, знакомый только по фильмам. Наручники! Он в наручниках. Мама просто умрет.

— Что сделал? — Язвительный бас с хрипотцой за его спиной. — Сейчас ты и расскажешь в точности, что ты сделал, говнюк малолетний. А ну, встать!

Асаф втянул голову поглубже в плечи. Кишечник просто безумствовал, и Асаф испугался, что его пронесет. У него вдруг совсем не осталось сил — ни на что. Так бывало всегда, когда кто-то грубо орал на него или на кого-то еще, — Асафа в такие минуты словно покидала жажда жизни, он полностью терял интерес к миру, где возможна такая грубость. Зато Динка, в отличие от него, была преисполнена боевитости. Она

возмущенно лаяла, чуть в сторонке, не решалась приблизиться.

— Встань наконец, мать твою! — рявкнул человек и снова дернул его за волосы.

Асафу пришлось подняться. От резкой боли глаза наполнились слезами. Человек быстро обследовал карманы Асафа, порылся в рубашке, провел руками по спине и между ног. Может, оружие ищет, может — что другое, подумал Асаф. Он был настолько перепуган, что не решался спросить.

— Скажи «пока» всему дорогому, — процедил тот. — А ну, задницу не хочешь сдвинуть? Будешь рыпаться я тебя на месте урою, понял? — Он достал телефон и вызвал машину, затем подтолкнул Асафа к выходу из парка.

Асаф шел по Иерусалиму в наручниках. Он наклонил голову и молился, чтобы навстречу не попался кто-нибудь, кто знает его самого или родителей. Будь его руки скованы хотя бы спереди, он спрятал бы их под рубашку или закрыл лицо, как делают подозреваемые в телевизоре. Динка шла следом за ними, периодически раздражаясь очередью гневного лая, а человек каждый раз материл ее почем зря и делал вид, будто хочет пнуть. Асаф все еще не мог поверить, что этот тип действительно из полиции, разве может полицейский быть таким жестоким?

Но это действительно был полицейский, и он оттащил Асафа, точно закованного в кандалы раба, к машине, которая уже ждала на улице Агрон. Машина отвезла их в полицейский участок на Русском

подворье,<sup>[17]</sup> и по дороге двое патрульных завели беседу с полицейским Асафа.

— Я его сразу узнал, — похвастался сыщик, — по этой сучке долбанутой. Оранжевый ошейник. Думали меня обдурить.

Когда они приехали в участок, сыщик отвел его в боковую комнату. На двери надпись синим фломастером: «Подростки. Дознание». Стены в комнате были невероятной толщины, и Асаф подумал: это чтобы никто не услышал моих криков, когда меня станут пытаться. Но сыщик швырнул их с Динкой внутрь и громыхнул замком.

Асаф огляделся: металлический столик, два стула и длинная лавка вдоль стены. Асаф без сил упал на скамью. Ему отчаянно хотелось в туалет, но сказать об этом было некому. Под потолком медленно вращались большие вентиляторные лопасти. Асаф заставил себя думать о мальчике, который едет на верблюде по Сахаре. Мысли пытались разбежаться, но Асаф изо всех сил сосредоточился на верблюде и мальчике.

По великой пустыне Сахаре неторопливо тянется длиннющий караван верблюдов (обычно идеи для таких фантазий Асаф черпал из канала «Нэшнл джиографик»). На одном из верблюдов, в самом конце каравана, маленький мальчик покачивается в такт верблюжьему ходу, лицо его почти полностью закрыто платком, защищающим от пыльных бурь, и только глаза пытливо всматриваются в пустыню. Что он там видит, что проносится в его голове? Асаф раскачивается вместе с

---

<sup>17</sup> Русское подворье — это, прежде всего, Троицкий собор, церковно-административный центр Московской патриархии в Иерусалиме. Прилегающие к нему постройки долгое время были заброшены, и впоследствии в них разместили иерусалимскую полицию и суд.

ним на верблюде, окруженный безмолвием пустыни. Он умел сбежать в пустыню, даже сидя в кресле зубного врача, под звуки бормашины. Да и не только туда. Есть ведь еще исландский юнга — на большом сером рыболовецком судне бороздит он просторы Северного моря. Все утро он отмывал палубу от остатков дохлой рыбы, а сейчас прислонился к железному поручню и смотрит на проплывающие мимо айсберги, нависшие над судном, точно горы. Любит ли он такие дальние плавания? Боится ли он боцмана? Когда вновь увидит свой дом?

Асаф сосредоточился на этих двоих. Он не знал, каким именно образом такой трюк помогает ему успокоиться, но действовало всегда безотказно. Что-то вроде интернет-форума, только без прямой речи. Как будто все эти одинокие ребята, разбросанные сейчас по миру, загадочным образом объединились в тайную сеть и передают друг другу силы. Вот и сейчас. Хоть бы прекратилось это чудовищное бурление в кишках.

Асаф чуть распрямился. Все будет хорошо. Мама легонько провела ладонью по его спине, чуть помассировала, напомнила, что все будет хорошо, что в ее секретном договоре с Богом однозначно зафиксировано, что Асафу всегда-всегда будет хорошо. Он даже сумел улыбнуться Динке. Все обойдется, вот увидишь. Динка поднялась и древним, как дружба собаки и человека, движением (но между ними оно было совершенно новым) положила голову ему на колени и заглянула в глаза.

Асаф не мог даже погладить ее со скованными за спиной руками.

Тамар поднялась с тротуара и замерла в тихой задумчивости, словно вспоминая, как она здесь очутилась, глаза ее, и без того большие, сделались еще огромнее и будто парили в воздухе, фанат сверхъестественного наверняка сказал бы, глядя сейчас на Тамар, что ее посетило озарение, отпечатав в мозгу странное и необъяснимое знание о том, что через четыре недели ей предстоит потерять Динку, и собака станет метаться по улицам и найдет незнакомого парня, который отправится по следам Тамар, шаг за шагом, по всему Иерусалиму.

Только мгновение тумана и яркая вспышка в его толще, а потом Тамар моргнула, улыбнулась глазами Динке и забыла. Ее занимала надежда, что никто не припомнит ей последних позорных минут. Она перемотала кассету, отыскала нужную музыку. Чуть слышно прослушала вступление, затем увеличила громкость. Сконцентрировалась.

Все, еще одна попытка, и это наконец должно произойти — она должна вырваться, выломаться из толпы. Она должна схватить себя за шкуру и выдернуть из текучей, нервной и одновременно безопасной анонимности уличной суеты. Она должна выдать что-то невероятное. Посмотри вокруг — десятки равнодушных людей, и запахи шаурмы, и чад капающего в огонь жира, и крики торговцев, и скрипучий аккордеон русского старика, который, быть может, когда-то тоже учился в какой-нибудь музыкальной спецшколе в Москве или Ленинграде, и не исключено, что у него тоже была учительница, которая пригласила его родителей для беседы и не могла найти слов от волнения.

Тамар подняла взгляд, выбирая в окружающем пространстве точку, на которой можно сфокусироваться. Это не картина Ренуара, висящая в репетиционном зале хора, и не люстра с золотыми финтифлюшками, наверняка сияющая в «Театро де ла Пергола», это маленькая табличка, сообщающая о «лечении варикоза, три месяца гарантии», и именно эта табличка ей сейчас по душе — то, что надо. Тамар закрывает глаза и поет, обращаясь к варикозной табличке:

Я видел прекрасную птицу.

И видела птица меня.

Прекрасней ее не случится

Увидеть до смертного дня.

Не открывая глаз, она ощутила, как улица делится на две части, не вдоль и не поперек, а на улицу, которая была до того, как она запела, и на улицу после. Вот какое у нее точное и безошибочное чутье, и какая уверенность в себе! Ей даже не нужно смотреть. Она чувствует кожей: люди замедляют шаги, а кое-кто разворачивается и неуверенно возвращается к тому месту, откуда исходит голос. Стоят и слушают. Затаив дыхание. В самозабвении от ее голоса.

Конечно, хватает и тех, кто не задерживается и даже не понимает, что на улице что-то изменилось. Они приходят и уходят, озабоченные, с кислыми минами. В одной из машин воеет сигнализация. Нищенка проходит с допотопной детской коляской, шуршащей колесами. Да и мойщик на лестнице в окне второго этажа «Бургер-Кинга» не прерывает своих круговых движений. И тем не менее каждую секунду новый человек

присоединяется к выстроившемуся вокруг нее кругу, один ряд уже есть, и собирается еще один, и Тамар чувствует себя будто внутри двойного объятия. Круг пребывает в неосознанном и невольном движении, точно огромное многоногое существо. Спины защищают ее от шума, от улицы. Люди стоят в разных позах, чуть подавшись внутрь круга. Кто-то, случайно подняв голову, встречается глазами с соседом. Мимолетная улыбка, и целая беседа проносится в этой мягкой улыбке. Всех их Тамар различает во мраке. Эти соединяющие их взгляды она знает по своим прежним выступлениям в хоре, по самым лучшим из них: взгляд человека, вспомнившего нечто важное и утерянное.

Дрожь солнца прошла, замирая,

Неслышно шепнув миражу.

Слово то, что сказала вчера я,

Я сегодня уже не скажу.<sup>[18]</sup>

Песню Тамар закончила почти неслышно — голосом, тянущимся, точно тончайшая нить, тающая в шуме реальности, что наступает со всех сторон по мере угасания песни. Люди энергично зааплодировали, кое-кто испустил глубокий вздох. Тамар недвижна. Лицо у нее красное, глаза излучают тихий, отрезвленный свет, руки без сил свисают вдоль тела. Она хочет скакать от радости и облегчения — у нее получилось! Едва-едва не сдалась... Но даже в эту минуту Тамар помнит, что она здесь не ради пения. Увы, песни — это только приманка. Нет, не так: это Тамар — приманка. Она смотрит вокруг

---

<sup>18</sup> Стихи Н. Заха, перевод Г.-Д. Зингер.

сияющими, полными благодарности, но одновременно ищущими глазами. Но среди этих людей пока нет никого, кому предназначается наживка.

И тут Тамар сообразила, что из-за своих переживаний забыла приготовить шапку для денег. И теперь нужно наклоняться перед всеми в этом неуклюжем комбинезоне, рыться в рюкзаке, а из него, конечно, вываливается одежда и белье, и Динка упорно сует в него нос и что-то там вынюхивает, и, пока Тамар достает свой берет, почти все уже расходятся.

Но есть и такие, кто остался, и они подходят — кто уверенно, а кто застенчиво — и опускают монетки в мятый берет.

Тамар подумала, не остаться ли ей здесь и не спеть ли еще что-нибудь. Она теперь знает, что это возможно, и смелости у нее хватит. Ей даже хочется снова запеть. Знакомое ощущение власти охватило ее примерно в середине песни, да с такой силой, какой она не знала, выступая в закрытых помещениях. И кто мог предположить, что у нее действительно потрясающий голос?

Но она также знает, что если бы тот человек был поблизости, или даже один из его посланцев, она бы это почувствовала. Он бы уже стоял где-то там, в задних рядах, изучая ее оценивающим взглядом, как изучают свежую жертву, терпеливо прикидывая, как ее зацапать.

Тамар поежилась, стоя в средоточии золотого солнечного света. Потом быстро высыпала деньги из берета, подхватила Динкин поводок и двинулась прочь. Несколько человек попытались заговорить с ней. Один парень даже пробудил в ней надежду: он все не отставал от нее, и линия рта у него была грубая и недобрая.

Тамар на миг остановилась, прислушалась к тому, что он говорит, но, осознав, что парень всего лишь клеится к ней, отпихнула его и убежала.

В тот день она пела еще пять раз. Однажды — на площади перед «Машбиром»,<sup>[19]</sup> дважды — возле дворца культуры «Жерар Бахар» и еще два раза — на Сионской площади. Время от времени она добавляла еще одну песню, но нарочно не пела больше трех — несмотря на громкие аплодисменты и восторженную реакцию публики. У нее была определенная цель, и когда то, чего она ждала, не происходило, Тамар выключала магнитофон, прятала деньги в рюкзак и старалась побыстрее улизнуть. Ведь главное уже случилось. Главное — что ее слышали и видели, и теперь о ней заговорят. Она запустила слух о себе. Большого она сейчас сделать не может. Оставалось только надеяться, что этот слух очень быстро достигнет ушей того, кто ей нужен, ушей хищника.

Он зажмурил глаза, прислонился к стене, потерся ногой о голову Динки. Вентилятор под потолком натужно поскрипывал, а снаружи творилась суета: приходили и уходили полицейские, преступники, обычные люди. Асаф не знал, сколько времени его продержат и когда придут поинтересоваться им, если это вообще когда-нибудь произойдет. Динка вытянулась у его ног на прохладном полу. Асаф сполз с деревянной лавки и уселся рядом с Динкой, привалившись к стене. Оба закрыли глаза.

Тут же в его голове загудел голос Теодоры, и Асаф поспешно нырнул в него, надеясь найти в нем утешение.

---

<sup>19</sup> Универмаг в центре Иерусалима.

Он все еще путался в ее рассказе из-за резких сюжетных скачков между эпохами, странами и островами. Но прекрасно помнил, как, закончив рассказывать, Теодора сидела, скрючившись и уйдя в свои мысли, напоминая затейливый корень. Если бы она была его бабушкой, Асаф вскочил бы и обнял ее — не задумываясь.

— Однако я жила, — сказала Теодора, будто отвечая на его тайный порыв. — Не желая ничего, Асаф, я эту жизнь жила!

И, увидев в его глазах сомнение, стукнула кулачком по столу:

— Нет, сударь мой! Сей взгляд просьба оставить! — Она даже со стула привстала и отчеканила: — Еще во первую ночь, после горькой вести с Ликсоса, когда взошла заря и узрела я, что не умерла от горя и одиночества, решила я жить!

Она была совсем еще юной — всего четырнадцать лет, но отчетливо понимала свое положение, не обольщалась и не щадила себя. Прошое захлопнулось, а будущего не было. Теодора никого не знала — ни здесь, ни где-либо еще, она ничего не знала о стране, в которой находилась, она не знала здешнего языка. Асаф подумал, что, быть может, вера в Бога немного помогала ей, но Теодора, отвечая на его невысказанный вопрос, объяснила, что стойкой веры в Бога она не имела и прежде, и уж тем более — после случившейся трагедии. В ее распоряжении были большой и пустой дом, щедрое месячное пособие, поступавшее из греческого банка, и страшная клятва, которую она не собиралась нарушать вовек, хотя бы из уважения к мертвым, отправившим ее сюда.

— Таково оказалось положение, — сказала Теодора сухо. — И мне единой было суждено решать, что станется со мною — с той минуты и до конца дней моих.

Она встала, прошла по комнате, остановилась за его стулом, положила руки на спинку.

— И я твердо решила, слышишь ли ты? Что, коли суждено мне вовек не выходить из сего дома, я принесу весь мир в него.

Так она и сделала. Тогдашний служка при монастыре, отец Назаряна, стал по ее указаниям скупать все книги на греческом, какие ему встречались. Это были в основном старинные священные фолианты, ждавшие своего часа в подвалах греческих церквей и совершенно не интересовавшие Теодору. Поэтому в день своего пятнадцатилетия она сделала себе подарок: наняла частного учителя и начала изучать с ним древний и современный иврит. Она была любознательна и восприимчива и по прошествии четырех месяцев занятий уже могла смело покупать в торговом доме Ганса Флюгера книги о стране Израиле, к которой была привязана поневоле, и об Иерусалиме, в котором была заточена. Теодора узнала все, что сообщали книги об арабах, евреях и христианах, живших с ней в одном городе, таких близких и таких невидимых. В шестнадцать лет она наняла учителя литературного и разговорного арабского и прочла с ним Коран и «Тысячу и одну ночь». Из книжных лавок в Меа Шеарим ей стали присылать ящики с томами Мишны, Талмуда и комментариев к ним. Эти книги ее не особо увлекали, но иногда на дне ящика обнаруживалась «негодная еретическая» книжка о научных открытиях, или о жизни муравьев, или о каком-нибудь известном художнике шестнадцатого века,

и Теодора проглатывала ее с жадностью. Перестав удовлетворяться этими огрызками знаний, она принялась скупать потрепанные экземпляры из библиотеки доктора Гуго Бергмана. Она щедро платила разносчику книг Элиэзеру Вайнгартену за немедленную доставку всякой новинки из тех, которые завоевывали ее сердце: «Наполеоновские войны», «Открытия и изобретения», «Астрономия», «Жизнь первобытного человека» и дневники известных путешественников.

Все это было, понятное дело, очень и очень непросто. Надо было научиться понимать слова, описывающие вещи, каких она и в глаза-то никогда не видела. Что такое, например, телескоп или Северный полюс, что такое микробы, опера, аэродром и баскетбол?

— Верится ли тебе, что лишь став осьмнадцати лет, узнала я, что такое Нью-Йорк и кто такой Шекспир? — Лицо Теодоры сморщилось от изумления, и она, словно обращая сама к себе, прошептала: — И что со дня, как вошла я в сей дом, пятьдесят лет не лицезрела я своими глазами радуги в облаке?

Когда ей исполнилось девятнадцать, она купила детскую энциклопедию «Михлаль». За ней последовали и другие — на трех языках, в десятках томов. Теодора навсегда запомнила то опьянение, которое захлестывало ее при чтении в течение полугода — днем и ночью, статьи за статьей, о целой вселенной.

В тот период ее невероятная жажда знаний сосредоточилась главным образом на настоящем, в особенности — на мировой политике. Каждое утро Теодора посылала отца Назаряна купить газету на иврите и газету на арабском и, сжав зубы, читала их со словарями. Так она познакомилась с Давидом

Бен-Гурионом и с египетским правителем Гамалем Абдель Насером, узнала, что курение вызывает рак легких, и взволнованно вместе с остальными жителями планеты следила за процессом воспитания Раджиба, индийского мальчика, которого до девятилетнего возраста выращивали волки. Постепенно, с невероятными усилиями, Теодора торила себе тропку в джунглях новых фактов и имен, складывала картину мира.

— И вместе с тем, — сказала она, проводя пальцами по лбу, словно снимая скопившуюся боль, — вместе со всей радостью и ликованием, грустна была я, ибо все то были лишь слова и еще слова!

Асаф смотрел на Теодору, не понимая, что она имеет в виду, а она, как всегда, когда ей не хватало терпения, стукнула раскрытой ладонью по столу:

— Ибо как объяснишь ты слепцу, что есть зелень, фиолет или багрянец? Ныне разумеешь?

Асаф неуверенно кивнул.

— И так-то, агори му, была и я: лизала скорлупки, а сам плод не ведала... ибо что, для примера, запах младенца после омовения? И что чует человек, когда скорый поезд проносится мимо? И как бьются вместе сердца всех сидящих на театре на дивном представлении?

И Асаф понял: ее мир состоял из одних лишь слов, описаний, книжных персонажей, сухих фактов. Его губы расползлись в удивленной улыбке — ведь именно этим пугала его мама, если он будет все время торчать перед компьютером.

— И во те дни я еще создала тут, во сей обители, почтовую республику.

Теодора рассказала о переписке, которую она уже более сорока лет ведет с учеными, философами и писателями со всего мира. Сначала она отправляла им письма с элементарными вопросами, письма, стесняющиеся собственного невежества и полные извинений за дерзость, но постепенно вопросы делались глубже и разнообразнее, да и ответы становились более подробными, заинтересованными и личными.

— А помимо моих ученых мужей, знай, что я переписываюсь еще со многими невинными пожизненными узниками, подобными мне.

Она показала фотографию голландки, угодившей в страшную аварию и прикованной на всю жизнь к постели, которая видит лишь несколько веток каштана и кусок каменной стены; потом снимок одного бразильца, настолько толстого, что он уже не способен пройти в дверь собственной комнаты и видит в окно лишь берег маленького озерца (но не воду); и еще — старого крестьянина из Северной Ирландии, чей сын отбывает в Англии пожизненное заключение, поэтому и он добровольно заточил себя в комнате до тех пор, пока сын его не выйдет на свободу, и еще, и еще...

— Семьдесят два человека во всем мире! — сказала Теодора с затаенной гордостью. — Послания прибывают и отправляются, по меньшей мере один раз во месяц пишу я каждому из них, они отвечают, рассказывают о себе и даже делятся своими сокровенными тайнами... — Она рассмеялась, и глаза ее хитро сверкнули. — Думают про себя: маленькая старая монашка сидит на вершине

башни во Иерусалиме. Кому уж она сможет раскрыть их секреты?

И вот, после многих лет чтения и занятий, Теодоре пришло в голову, что ей ни разу не довелось прочесть ни одной детской книжки. Назарян-младший, сменивший охромевшего отца, принялся исследовать соответствующие полки книжных магазинов. В возрасте пятидесяти пяти лет Теодора впервые прочла «Пиноккио», «Винни-Пуха» и «Ловенгулу, короля зулусов». Это было не ее детство и не те пейзажи, в которых она выросла. Но ведь ее детство погрузилось в морскую пучину, и к нему она не в силах была вернуться. Однажды вечером она отложила «Ветер в ивах» и в радостном изумлении прошептала: «Вот когда народилось у меня детство...»

— И между прочим, ведай же, — рассмеялась она снова, — что до тех пор не было на мне даже одной морщины! Лицо новорожденной было у меня до тех пор, когда взялась я читать книги сии!

Теперь, когда у нее появилось детство, ей предстояло начать взрослеть. Теодора принялась за «Дэвида Копперфильда», «Черта из седьмого класса» и «Длинноногого дядюшку». Железная дверь, некогда захлопнувшаяся за ней на острове, теперь снова отворилась, и Теодора, престарелая любознательная девочка, вошла в свое уснувшее царство, покрытое паутиной. Душа, тело, желания, томления, любовь — все возродилось для нее в книгах, в которые она окунулась с головой. И порой, после ночи лихорадочного чтения, выпуская из рук прочтенную книгу, она чувствовала, как ее душа растет и поднимается, подобно закипающему в кастрюле молоку.

— Во сей час, — сказала Теодора дрогнувшим голосом, — я почти призывала один-единственный спасительный удар кинжала, дабы пронзил и разорвал наконец муку сию, проклятую оболочку сию из слов, спеленавшую меня.

— И это была Тамар? — не задумываясь спросил Асаф и тут же раскаялся, потому что Теодора вздрогнула, как будто он неосторожно задел нечто тайное и скрытое от посторонних глаз.

— Что, что ты сказал? — Она долго и пристально смотрела на него. — Тамар? Да, пожалуй, кто знает... мне не являлось на ум...

Но что-то сжалось в ней, словно Асаф ненароком раздражил ее, словно ясно дал понять: ты собрала в своей комнате все то, что можно узнать из книг, из букв и из слов, и вдруг сюда ворвалась эта девушка из плоти и крови.

— Довольно! — очнулась Теодора. — Мы уж весьма поговорили, милый, и тебе, быть может, пришла пора следовать?

— Я еще кое-что не понимаю... Она...

— Иди и сыщи ее, и тогда поймешь все.

— Но объясните мне! — Он чуть не стукнул по столу так же, как она. — Что, по-вашему, с ней случилось?

Теодора глубоко вздохнула, секунду помешкала, а потом произнесла:

— Как скажу тебе, чтобы не...

Она беспокойно вскочила. Прошлась по комнате, то и дело испытующе поглядывая на него, как в первые минуты их встречи, стараясь понять, достоин ли он

узнать то, что она собирается ему сообщить, будет ли он верным другом.

— Послушай-ка, быть может, это лишь благоглупости несуразной старухи, — вздохнула Теодора, — однако во последние ее приходы она говорила иные слова, нехорошие слова.

— Какие, например?

— Что мир сей не хорош, — сказала Теодора, зажав руки между коленями. — Не хорош по сути. Невозможно верить в человека, и даже во самых близких. Что все — лишь сила и боязнь, только корысть и зло. И что она не подходит...

— Не подходит к чему?

— К миру сему.

Асаф молчал. У него сложилось стойкое ощущение, что девчонка на бочке — из насмешниц и задир. Но получается, она и немного вроде меня, подумал он с изумлением и осторожно спустил ее с бочки на землю.

— Я же, напротив, сказывала ей, насколько жизнь ее еще будет хороша и прекрасна. И что она еще возлюбит кого-нибудь, и он возлюбит ее, и будут у них дети с сияющими ликами, и она поедет в мир, и повстречает интересных особ, и станет петь на сценах и в залах для великих концертов...

Теодора замолчала и снова ушла в себя. Откуда ей знать, подумал Асаф с жалостью, для нее ведь все те вещи, которые она наобещала Тамар, — чужие. Пятьдесят лет сидит взаперти в этом доме. Откуда ей знать...

Асаф припомнил огорчение и разочарование Теодоры, когда она обнаружила перед собой его, а не Тamar. Выходит, эта девчонка ужасно много значит для нее. Как вода и хлеб, как вкус жизни.

— А во последнее время... довольно, мне уже неведомо, что происходит. И она тоже не открывает более тайник сердца своего. Приходит. Работает. Сидит. Молчит. Много вздыхает. Хранит от меня тайну. Не ведома мне, что с ней происходит, Асаф... — У Теодоры покраснели глаза. — Делается худа и мрачна. Нет уж света во ее прекрасных очах. — Она подняла на него взгляд, и Асаф поежился, увидев тоненькую дорожку слез, затерявшуюся среди морщин. — Что ты скажешь, милый, ты сыщешь ее? Сыщешь?

В девять вечера Тamar купила две порции «иерусалимской смеси»,<sup>[20]</sup> колу и села поесть на ступеньках какого-то административного здания. Одну порцию дала Динке и умяла другую. Обе с наслаждением ели, а покончив с едой, одновременно и глубоко вздохнули в сытом довольстве. Облизывая пальцы, Тamar подумала, что уже давно не ела с таким удовольствием, как сейчас, когда купила еду на деньги, заработанные пеннием.

Но снова набежали прежние мысли. Люди торопились мимо, и Тamar постаралась сжаться в маленький анонимный комочек. Как бы ей хотелось стать прежней Тamar, какой она была год назад. Лежать на животе на собственной кровати, в окружении вязаных и тряпичных зверушек, которые были с ней с самого

---

<sup>20</sup> Жареные птичьи потроха в лепешке.

рождения, прижимать к уху телефонную трубку и болтать ногами (так делали девушки в фильмах, и она тоже так делала, наконец-то ей было с кем это практиковать), и это было так восхитительно — лежать и болтать с Ади про Галит Эдлиц, которую увидели целующейся с Томом, язык и все такое прочее, или про Лиану из хора, которой один чувак из школы «Бойер» предложил стать его подружкой, а она — возьми да согласись. Из «Бойер», представляешь! Хоть стой, хоть падай! И обе они, как полагается, содрогаются, тем самым подтверждая общую преданность искусству, то есть — Идану.

Какой-то старикан, опирающийся на палочку, одетый со старомодным шиком, ковыляя мимо, посмотрел на нее. Его губы зашевелились в изумлении, словно рыбий рот. Тamar увидела себя его глазами: слишком юная девчонка сидит в слишком поздний час в слишком неподходящем месте.

Она съежилась еще больше. Этот день, ее первый день на улице, был таким долгим и изнурительным. Но надо встать и сделать еще несколько кругов — для того чтобы кто-то, если все-таки засек ее, мог подойти к ней под покровом темноты.

Подходили, и немало. Беспрестанно заговаривали, отпускали замечания, делали предложения. Никогда еще Тamar не сталкивалась с таким количеством скабрзностей, никогда не чувствовала такой болезненной отчужденности. Очень быстро она поняла, что отвечать нельзя. Ни единым словом. Только покрепче держаться за свой рюкзак и за кассетник. Динка, конечно, тоже помогала отгонять пристававал. Когда она издавала свой утробный рык, даже самый отморозенный козел мигом испарялся.

Но тот, кого Тamar ждала и кого больше всего боялась, не появлялся.

Она спустилась на «Кошачью площадь» и прошлась между прилавками, освещенными прожекторами, украдкой ласкаясь к индийским рубашкам и шароварам, развешанным на плечиках. Она очень любила эту площадь, несмотря на то что Идан и Ади постановили, что это «Пикадилли для бедных». Она прошла мимо рядов с кальянами, ароматическими маслами и разноцветными камушками, примерила бухарские тюбетейки, и толстый торговец посмеялся с ней вместе над ее удлинённым ашкеназским черепом. Один парень — по его уверениям, лучший спец в мире — предложил написать ее имя на рисовом зернышке, и Тamar сказала, что ее зовут Брунгильда. Красавчик в коротких штанах, с тюрбаном на голове, сидя прямо на земле, старательно наносил на девчоночью ногу узор для татуировки. Тamar постояла, наблюдая и немножко завидуя. Потом заставила себя пройти еще пару раз между прилавками, вдыхая тонкий аромат курений и поднимающихся то тут, то там облачков «травки». Притворилась, что изучает прилавки со свечками всевозможных форм и расцветок, надеясь, что легкие мурашки, забегавшие у нее по спине, свидетельствуют о том, что кто-то изучает и ее. Однако, повернувшись, никого не обнаружила.

На соседней улице Йоэль Моше Саломон давали представление: девушка примерно ее возраста в цветной вязаной шапочке, из-под которой выглядывали золотистые кудряшки, держала в руках две веревки, к каждой веревке было привязано по куску горячей ткани, и она танцевала с ними, выводя в воздухе пылающие

узоры. К стене одной из лавчонок привалилась другая девушка, отбивая ритм бубном.

Танцовщица так сконцентрировалась на движении своих веревок, что Тамар никак не могла оторвать от нее глаз и отойти, очарованная ее абсолютной сосредоточенностью, хорошо знакомой ей самой. Тамар хотелось посмотреть, как это выглядит со стороны — когда ты целиком обращена вовнутрь. Что из твоего существа отдано посторонним взглядам? Голубые глаза девушки неотрывно следовали за двумя маленькими факелами, а брови поднимались и опускались с детским изумлением, и Тамар подумала, что в этом они похожи, потому что она тоже «поет бровями». Два маленьких факела пересекали ночное небо, в них было что-то трогательное, пронзительное, безнадежное.

Вдруг Тамар вспомнила, где и ради чего находится. Не двигаясь, она осторожно и внимательно осмотрелась. Она не знала, кого ищет, но предполагала, что это мужчина, молодой парень. По крайней мере, она слышала именно о парнях. Один из них должен подойти к ней на улице и предложить отправиться с ним — естественно, при условии, что сначала она выдержит испытание, то есть докажет, что нравится публике. А Тамар знала, что экзамен она уже выдержала, это было ее главным и единственным достижением в этот день.

Девушка с веревками в самозабвении приоткрыла рот, обнажив белые зубы. Движения ее убыстрялись вместе с нарастающим ритмом бубна. Взгляд Тамар осторожно перебежал с одного человека в толпе на другого. Там было немало молодых мужчин, но она не смогла решить, смотрит ли кто-нибудь из них на нее как-то иначе, с особым выражением. Пара малолеток со

стрижкой «пепельница» внезапно вынырнули из толпы и крикнули что-то прямо в лицо танцовщице. Это были даже не слова, а какие-то животные вопли. На миг девушка ослабила внимание, и веревки, спутавшись, беспомощно упали на землю. Девушка грустно стянула вязаную шапочку, рассыпав золотые кудри. Очень медленным движением она отерла со лба пот и осталась стоять, потерянная, словно ее разбудили посреди сна. Публика единодушно вздохнула и разошлась, и никто не заплатил за все ее старания. Тамар подошла и положила в шапочку пятишекелевую монету, одну из заработанных за этот день, и девушка устало улыбнулась ей.

Сионская площадь на другом конце улицы тоже оживленно пенилась народом. На площадке у банка парни катались на скейтбордах. Петь там было нельзя, потому что нагрязнули брацлавские хасиды, на крыше их машины динамик надрывался хасидскими мотивами. Тамар устроилась у банка, прижала к себе Динку и съежилась, глаза ее внимательно обегали площадь. Неподалеку вертелись юнцы, от них исходила какая-то суетливая тревога — вроде металлического жужжания, гонявшего их туда-сюда по каким-то незаметным, но твердо вычерченным линиям высокого напряжения. Юнцы появлялись и исчезали, будто лихорадочно разыскивая что-то. Иногда один из них подскакивал к бородачу, стоявшему у ограды, и что-то коротко говорил. Внезапно Тамар увидела толстозадого гнома в веселой вязаной шапочке, окруженного группой парней. Рука карлика скользнула в карман, что-то сжала и вынырнула.

К Тамар подошел парень в джинсовом, как у нее, комбинезоне, надетом на голое тело.

— Сестренка. — Он склонился к Тамар, и она уставилась на колечко в его соске. — Хочешь подогреться?

Она покачала головой: нет, нет, она и так уже в порядке. Упорствовать парень не стал и отошел. Тамар сжалась не из-за его предложения, а от самого факта, что к ней обратились с ним.

Она с силой сжала веки, раскрыла — площадь была на прежнем месте. В центре плясали брацлавские хасиды, семеро дюжих мужиков с косматыми пейсами и развевающимися бородами, в белоснежных одеждах и больших белых ермолках. Она уже знала по предыдущим вечерам, что они будут до полуночи скакать в своем безумном экстазе. Две подружки с мощными бюстами, затянутыми в куцые маечки, прошли рядом с Тамар и остановились неподалеку.

— Глянь на этих, Эла! — сказала одна из девиц. — И это без химии, на одной вере...

Динка прижалась к Тамар, страдая от грохота, свернулась поплотнее и попыталась задремать. Бедняжка, подумала Тамар, она не понимает, что со мной творится. Для нее все это наверняка сплошной кошмар.

К ней подошла молодая женщина с термосом и пластиковым стаканчиком, спросила, не налить ли чаю. Тамар не поняла этого неожиданного участия. Слово к ней обратились на иностранном языке. Женщина присела рядом на тротуар.

— Есть и пирожные, — улыбаясь, сказала она.

Тамар вдруг выпрямилась, воодушевленная новой мыслью. Сердце ее забило. Может быть, ее хищник на самом деле хищница? Ведь, по слухам, в этом деле

замешано немало девушек. Но оказалось, что женщина действительно хочет помочь, — она из группы добровольцев, они приходят сюда вечерами, чтобы побыть с ребятами, тусующимися на площади, наладить с ними контакт. Женщина налила ей горячего чаю, Тамар обхватила стаканчик застывшими руками, и в ней поднялся вал неуклюжей благодарности. Она съела пирожное, но разговаривать отказалась. Женщина погладила Динку, взъерошив шерсть именно так, как та любила, и дала пирожное ей тоже.

— Я тебя уже видела здесь, — вспомнила она. — Примерно две недели назад, да?

Тамар кивнула.

— И еще я видела, как ты покупала у вон того странного человечка, за тобой тогда еще погнался полицейский. Может, ты хочешь встретиться кое с кем, кто уже через все это прошел?

Тамар замкнулась. Только этого не хватало: чтобы ее спасли от пагубного влияния улицы еще до того, как ей удалось к этой улице приобщиться...

— Я оставляю тебе наш телефон, — сказала женщина, записывая номер на салфетке. — Если захочешь поговорить, попросить о чем-нибудь, встретиться с родителями — по этому номеру нас можно найти.

Тамар посмотрела на нее и на миг забылась в ее добрых зеленых глазах, чуть было не спросив, не видела ли та гитариста с длинными медвяными волосами, падающими на лицо, худого и высокого и очень несчастного. Но промолчала. Женщина кивнула, будто уловив что-то, потом легонько коснулась руки Тамар,

тепло улыбнулась и ушла, и Тамар снова осталась одна, еще более одинокая, чем прежде.

Группа подростков устроилась рядом с банками пива в руках, все — в тонких футболках. Как им только не холодно... Широкоплечий плотный парень подошел к ним. «Хай, братишка». — «Чё слышать, братишка?» — «Все по кайфу. Где взять?» — «Вон, у ограды, араба видишь?» Приятельски хлопают рука об руку, обнимаются, дважды стукнув по спине. Картинка отпечаталась в сознании Тамар. Среди всех этих жестов и словечек он живет уже не меньше полугода. Наверное, и сам уже так разговаривает. На каком языке он станет говорить с ней? И как вообще отреагирует на ее появление?

И почему она не присоединится к одной из компаний, почему забилась в самый глухой угол? Со стороны это казалось так легко — присоединиться, особенно — к девчонкам. Немного покрутиться поодаль, и уже на тебя начинают обращать внимание, заговаривают, посмеиваются, предлагают курнуть — и тебя уже переварили, и ты уже заваливаешься на ночлег вместе с ними в каком-нибудь парке или на чердаке.

Но ничего такого не происходит. Не сегодня. Может, завтра. А может, никогда. Она еще не готова. Тамар подтянула коленки к животу. Мысли цеплялись одна за другую, кусаясь, ударяя по самым больным местам. Неужели она просто не умеет общаться с людьми? — шептали едкие мысли, с ней же вечно такое происходит — она всегда одна, всегда отдельно, у нее никогда не получалось быть с людьми, говорить с ними на одном языке.

«Можешь именовать это снобизмом, — горько прошептала Тamar в Динкину шерсть, — но на самом деле это просто отверженность. Неужели ты думаешь, что я нарочно? Но так уж меня сделали, я не могу по-настоящему присоединиться ни к кому. Это факт. Как будто у меня в душе не хватает той самой части, которая прикрепляется, как в конструкторе, которая просто прикрепляется к кому-нибудь другому. И в конце концов у меня все разваливается — семья, друзья. Все».

Лоточник с красными засахаренными яблоками прошел мимо в десятый раз и снова предложил Тamar яблочко. И ведь не отчаивается! Старый человек в ермолке, с усталой улыбкой.

— Возьми, всего три шекеля, полезно для здоровья.

Тamar поблагодарила и не взяла. Лоточник на миг остановился, посмотрел на нее. Что он в ней видит, что все видят в ней, в лысой девочке в комбинезоне, с рюкзаком, большим магнитофоном и собакой? У мусорных баков заработало казино. Тощий мужик в коротких брючках, с кривоватыми ногами моряка водрузил на бак картонную коробку и начал трясти кубики в пластиковом стаканчике:

— Кто на семерку? Кто идет на три по семь?

Одиночество давило все сильнее. Ты уже ничья, грызла себя Тamar, у тебя больше нет ни дома, ни хора, ни друзей, еще чуть-чуть — ты вообще исчезнешь, и никто этого не заметит. Нет, лучше не думать об этом, только не сейчас. Понимаешь, Динка, не то чтобы я считала, что они должны были из-за меня отказаться от Италии, дело не в том, ведь чем они могли мне помочь, если бы остались здесь? Тamar усмехнулась, представив, как Идан сидит вон на том заборчике и корешится с

кем-то: «Эй, чувак!» Но все дело в том, как они к этому отнеслись с первой же минуты... едва я попыталась им рассказать, как они одновременно...

«Перестали меня замечать». Тамар задушила эти слова в горле, не дав им вырваться наружу. Брацлавские хасиды сменили кассету. Заиграл транс, и хасиды заплясали под него, запрыгали, точно ошалелые козлы, тряся руками, ногами, бородами. От музыки затрясся даже тротуар, на котором сидела Тамар. Вся площадь затряслась. Несколько парней и девчонок присоединились к пляске. Это была их музыка. Тамар попыталась вспомнить краткий курс, который преподавал ей престарелый альбинос (он показался ей по меньшей мере сорокалетним), которого она встретила в «Желтой подлодке»<sup>[21]</sup> две недели назад:

— Транс классно идет под кислоту.

Рубашка у него была расстегнута до самого пупа, открывая гладкую, красную, словно обваренную, грудь.

— А хаус — это музон для экстази, и пипл покруче будет. А под техно хорошо...

Тамар забыла, что хорошо под техно, зато она отчетливо помнила его припухшие пальцы в серебряных кольцах, все пытавшиеся пристроиться у нее на бедре.

Среди скачущих в упоении хасидов весело носились дети. К Тамар кто-то подошел. Она подняла голову. На нее смотрела девушка в джинсах, в белом, домашней вязки, свитере, но в рваных кедах, зрачки у нее были неправдоподобно большие. Она молча села рядом. Тамар

---

<sup>21</sup> Популярный иерусалимский ночной клуб.

ждала. Может, это она? Может, вот сейчас это и начнется?

— Можно? — наконец спросила девушка тоненьким голоском и погладила Динку.

Тамар поняла, что *ни*мдевушка никакого отношения не имеет. Она гладила Динку долго, с упоением, принюхивалась к ней, что-то шептала на ухо. Несколько минут она возилась с собакой. Потом тяжело поднялась, посмотрела на Тамар.

— Спасибо.

Глаза ее блеснули. Тамар не поняла — от радости или от слез. Девушка отошла на несколько шагов. Вернулась.

— Я... на улицу-то я пошла тогда, чтоб собаку свою забрать из карантина в Шуафате,<sup>[22]</sup> — объяснила она Тамар каким-то очень детским голосом. — Сто шекелей получила и сразу пошла забирать ее, а через неделю ее задавили, прямо у меня на глазах.

Она отошла.

Тамар испуганно обняла Динку. Она не может оставаться здесь. Ни минуты. Тамар встала и двинулась куда глаза глядят; дойдя до середины площади, она остановилась, потопталась на месте — чтобы как можно сильнее бросаться в глаза. Может, сейчас это произойдет? Кто-нибудь подойдет к ней и прикажет следовать за ним. Она ничего спрашивать не станет и спорить не станет. Послушно пойдет навстречу тому, что ее ждет. Площадь была полна народу, но никто к ней не

---

<sup>22</sup> В арабской деревне Шуафат, находящейся в черте Иерусалима, находится ветеринарная станция, занимающаяся бездомными животными.

подошел. У ограды стоял кучерявый парнишка; чуть согнувшись, он что-то бормотал себе под нос. Тот самый гитарист, которому сломали пальцы. Тамар помнила его еще из прежней жизни, когда он выступал в музыкальной академии. Теперь он почти каждый вечер приходит сюда, вертится около компаний. По слухам, раньше, около полутора лет назад, он был звездой того самого места, приносил им колоссальные доходы, пока не вздумал умничать и не сбежал. Почувствовав, что она на него смотрит, парень втянул голову в плечи и отвернулся. Тамар чуть не застонала, подумав, что теперь его место, наверное, занял Шай.

Она вышла за пределы освещенного круга площади. Вздохнула с облегчением. В одном из дворов, между грудями строительного мусора, присела помочиться. Динка сторожила, приюхиваясь к горячему парку, поднимавшемуся между ног Тамар. Шум с площади долетал и сюда. Тамар встала, натянула комбинезон, отдавшись на миг странности этого места. У стены парой гигантских насекомых застыли леса и бетономешалка. «Как это трусиха вроде меня решилась на такое?» — подумала Тамар с изумлением.

Сейчас ей хотелось лишь одного — лечь и уснуть. Скрыться даже от себя самой. Вот если бы имелось такое место, где можно помыться, соскрести с себя этот день. Она заколебалась. Такое место имелось: Лея постаралась. И там, конечно, ее ждут всякие сюрпризы: какая-нибудь вкуснятина, заботливо завернутая в одеяло и все еще теплая, дорогущий шоколадный десерт, и, конечно же, смешное письмоцо и рисунок от Нойки. Мелочи, которые снова сделают ее человеком. Но Тамар еще утром решила, что не пойдет туда. Она теперь одна, совсем одна. Почему? А потому. Как говорит Теодора,

«не пытай того, что выше понимания твоего». Тамар ускорила шаг, губы шевелились, споря с ней: ты только объясни, почему не пойти в ту сараюшку? Не знаю. Чтобы не подвергать Лею опасности? Нет ответа. Или чтобы ты окончательно уверилась, что нет в мире ни единого человека, на кого ты можешь положиться?

Тамар пересекла улицу Кинг-Джордж, обошла высокое обветшалое здание, в котором находилась контора ее отца. Улица была пустынна. Тамар двигалась, как робот. Вошла внутрь, спустилась в подвал, нашарила ключ над косяком. Открыла железную дверь. Здесь ее ждали тонкий матрас, легкое одеяло и еще кое-что — она принесла это на прошлой неделе, еще посмеялась над собой, а сейчас кинулась к нему так, словно он мог очистить ее от всего, — ее пушистый мишка с оторванным ухом, с которым она спала с самого младенчества.

В замке заскрежетал ключ, и Асаф метнулся на скамью. Полицейский успел заметить его суетливый прыжок, и Асаф тотчас почувствовал себя виноватым. Вместе с сыщиком в камеру вошла молодая симпатичная женщина в форме. Она назвала свое имя — не то Сигаль, не то Сигалит, Асаф не разобрал — и добавила, что она следователь по делам несовершеннолетних и хочет с ним побеседовать. Потом спросила, не желает ли он, чтобы кто-нибудь из родственников присутствовал при беседе, и Асаф в полном ужасе вскрикнул, что нет, не желает.

— Ну тогда начнем, — спокойно сказала следовательница.

Она открыла папку, задала Асафу несколько общих вопросов, записала его ответы, подробно объяснила его

права. После каждой фразы она как-то натянуто улыбалась, и Асаф подумал, что, наверное, ей по инструкции полагается улыбаться преступникам.

Наконец она предложила:

— Может быть, послушаем сперва, что скажет Моти?

Полицейский, на физиономии которого ясно читалось глубочайшее отвращение к этим китайским церемониям, с шумом уселся по другую сторону стола, вытянул ноги, сунул большие пальцы под ремень.

— Живо! — рявкнул он. — Выкладывай! Поставщики, пушеры.оборот, товар, имена. Мне нужна информация, а не всякая херня, понял?

Асаф взглянул на женщину. Он не понял ничего.

— Отвечай, пожалуйста, — сказала следовательница и закурила.

— Но что я такого сделал? — спросил Асаф и тут же смутился, потому что голос сорвался на какой-то всхлип.

— Слышь, ты, недоделок, да я тебя... — начал полицейский, но женщина кашлянула, и он заткнулся, судорожно облизнув верхнюю губу. — Слушай меня хорошенько, — продолжил он после паузы. — Я уже семь лет этим занимаюсь, и я... всем известно, что у меня фотографическая память. И этого твоего вонючего пса я засек не год назад, и не два — меньше месяца назад, точка в точку, засек я его, и с ним была девчонка, лет пятнадцати, может, шестнадцати. Кудряшки, волосы черные, до хрена волос у нее на башке, ростом примерно метр шестьдесят, мордашка, кстати, смазливая.

Обращался он главным образом к следовательнице, явно стараясь произвести на нее впечатление.

— И я ее почти взял с поличным, во время сделки с этим долбаным гномом на Сионской площади, и если бы не пес этот ё...

Кашель, облизывание губы, глубокий вздох.

— Теперь глянь-ка хорошенько. — Полицейский приподнял штанину, обнажив мускулистую, волосатую ногу, на которой явственно виднелись следы укуса. — До кости! Десять уколов из-за твоего пса ебу... вонючего.

Динка протестующе залаяла.

— Молчать, вонючка! — прошипел в ее сторону сыщик.

— Но я-то что сделал? — снова спросил Асаф.

Он был растерян. Метр шестьдесят, то есть примерно ему до плеча... и черные волосы, и кудряшки, и рожица, кстати, смазливая...

— «Что же я сделал?» — передразнил его полицейский. — Щас услышишь, что ты сделал. Это ты с ней и с этим псом сделали. Вы заодно, во как! — Он сложил щепотью три пальца. — Ты что думаешь — все кругом идиоты? А ну, давай выкладывай ее имя!

И он с силой грохнул обеими руками по столу. Асаф испуганно вскочил.

— Я не знаю.

— Не знаешь, да? — Полицейский встал и прошелся по комнате. Асаф нервно следил за ним. — Гулял себе по улице и увидел эту здоровенную псину, и она запросто так согласилась пробежаться с тобой?

Внезапно он набросился на Асафа и, ухватив его за рубашку, начал трясти:

— Говори, сволочь...

— Моти! — крикнула женщина; полицейский отпустил Асафа, бросил на нее мрачный взгляд и замолчал. — Послушай, э... Асаф, — заговорила женщина напряженным голосом, — если ты действительно ни в чем не виноват, то почему ты убежал?

— Я не убежал. Я даже не знал, что он за мной гонится.

Полицейский Моти язвительно хохотнул:

— Я за ним через полгорода гнался, а он «не знал»!

— Тогда, может, — повысила голос следовательница, заглушая разъяренное пыхтение Моти, — ты расскажешь, каким именно образом получил собаку от девчонки? Как насчет этого, Асаф?

— Не получал я от нее ничего! Я ее вообще не знаю! — В голосе Асафа звучало такое искреннее отчаяние, что на лице следовательницы проступило сомнение.

— Но как это возможно? Сам посуди, ты ведь, похоже, разумный парень. Ты действительно думаешь, что тебе поверят, будто вот так, ни с того ни с сего, к тебе попала собака и позволила водить себя на поводке? Мне, например, она бы позволила? Или Моти?

Динка злобно заворчала.

— Видишь? Лучше расскажи все как есть. Всю правду.

Правду! Господи, о ней он даже и не подумал. Забыл от страха и ужаса, от унижения с этими наручниками... А главное — из-за так хорошо знакомого ощущения, что он в чем-то виноват, что его наказали по

справедливости *за что-то*, правда, не понятно за что... одним словом, за что-то, что он наверняка когда-то совершил, и вот сейчас настало время расплаты...

— У меня в кармане рубашки... — Голос его не слушался, и он начал сначала: — У меня в кармане рубашки есть бумага. Посмотрите.

Следовательница взглянула на полицейского. Он кивнул. Она достала бумагу.

— Что это? — Она прочла дважды и протянула сыщику.

— Что это?

— Это бланк семьдесят шесть, — сказал Асаф, черпая силы в словах. — На каникулах я работаю в мэрии. Эту собаку подобрали на улице, а я должен найти ее хозяев.

Как хорошо, что он сказал «хозяев» и не проговорился о том, что знает, как зовут этих «хозяев» с кудряшками.

Женщина взглянула на Моти. Тот энергично жевал нижнюю губу.

— Сейчас же позвоните в мэрию, — велела она. — Прямо отсюда.

Асаф назвал номер и сказал, чтобы спросили Авраама Даноха. Полицейский свирепо потыкал в кнопки мобильного телефона. Повисла тишина. Через несколько секунд Асаф услышал резкий голос Даноха.

Полицейский представился и сказал, что задержал Асафа, шнырявшего по центру города с собакой. Данох рассмеялся, Асаф отчетливо расслышал его скрипучий смех, и что-то ответил. Моти, выслушав, процедил

«спасибо», отключил телефон и уставился в стену злобным взглядом.

— Ну, чего вы ждете? — спросила следовательница. — Расстегните его наконец!

Полицейский грубо дернул Асафа. Щелкнули наручники.

Асаф принялся разминать запястья — в точности как это делают в кино (теперь он понимал почему).

— Минутку, — сказал Моти грубым голосом, чтобы, не дай бог, не признать свое поражение. — Ты уже нашел кого-нибудь?

— Нет, — с легкостью соврал Асаф.

Неважно, что она натворила, эта Тамар, но этому типу он ее не выдаст.

— Послушай, мы действительно извиняемся за это недоразумение, — сказала следовательница, не глядя на Асафа. — Может, ты хочешь чего-нибудь попить в буфете? Или позвонить? Родителям?

— Нет... э-э... да. Я хочу позвонить.

— Пожалуйста. — Следовательница улыбнулась, на этот раз вполне искренне.

Асаф набрал номер. Полицейские шептались в сторонке. Динка подошла к нему. Асаф свободной рукой погладил ее.

Когда на другом конце провода сняли трубку, он услышал резкий шум.

— Алло!

— Носорог? — закричал Асаф.

Полицейский вышел из комнаты. Следовательница смотрела в стенку, притворяясь, будто не слушает.

— Кто это? Асаф? Это ты? — заорал Носорог, перекивая грохот станков. — Как дела, парень?

И вот тут Асаф едва не расплакался.

— Эй, Асаф, не слышу тебя! Асаф? Ты тут?

— Носорог, я... я слегка... тут такое случилось... мне нужно с тобой поговорить.

— Подожди минутку.

Асаф услышал, как Носорог крикнул своему помощнику Рами, чтобы тот выключил точильный станок.

— Ты где? — спросил Носорог в неожиданно наступившей тишине.

— В поли... неважно. Мне нужно тебя повидать. Зайдешь к «Симе»?<sup>[23]</sup>

— Сейчас? Я уже обедал.

— А я нет.

— Погоди. Дай разберусь.

Асаф слышал, как он что-то говорит в сторону. Стало ясно, что день сегодня у Носорога выдался напряженный — отливка. Асаф вслушивался в голос Носорога и улыбался. Одна голова Герцля,<sup>[24]</sup> женщина на лебеде, три больших Будды и шесть фигурок, которые будут вручены лауреатам израильского «Оскара».

---

<sup>23</sup> «Сима» — недорогой мясной ресторан вблизи рынка Маханэ Йегуда.

<sup>24</sup> Теодор Герцль (1860–1904) — писатель и мыслитель, основатель сионизма как политического движения.

— О'кей, — вернулся к нему Носорог. — Через четверть часа буду. Ты только глупостей не делай. Все, я двинул.

И повесил трубку. Тяжесть отпустила Асафа.

— Твой друг? — с симпатией спросила следовательница.

— Да... не совсем. Друг моей сестры. Неважно.

Асаф не собирался пересказывать ей эту запутанную историю. Она проводила его до выхода, и это было совсем другое дело: пройти мимо всех этих полицейских вольным и безгрешным.

— Скажите, — спросил Асаф, прежде чем попрощаться, — этот сыщик... он сказал, что поймал ту девушку в момент сделки. А какой сделки? Мне просто любопытно...

Следовательница прижала к себе папку. Взглянула направо и налево, помолчала. Асаф вдруг понял, что она очень красивая. Она же не виновата, подумал он, это ее работа.

— Я не уверена, что нам следует об этом говорить, — сказала следовательница с извиняющейся улыбкой.

— Но это важно для меня, — тихо и настойчиво возразил Асаф. — Я хочу знать, в чем он меня подозревал.

Несколько секунд она разглядывала носы своих черных туфель, потом едва слышно произнесла:

— Девушка купила наркотики. Видимо, целую партию. Но ты от меня ничего не слышал, хорошо?

Она развернулась и быстро ушла.

Асаф миновал будку охранника и двинулся вниз, в направлении улицы Яффо. Он шел медленно, и мысли его ворочались медленно. Все словно замерло. Вся эта беготня с утра, рассказ Теодоры, все его предчувствия и надежды. Все его дурацкие иллюзии. Асафа словно ударили под дых. Иногда такое случалось с ним, когда он печатал фотографии. Например, радовался удачному портрету — человек сидит себе на скамейке, погруженный в себя, — а при печати вдруг обнаружил, что из головы человека растет громадный столб, который Асаф прошляпил. Вот и сейчас то же самое.

Динка осторожно потерлась о его ногу. Будто стыдилась своего сообщничества с Тamar.

— Динка, — тихо прошептал Асаф. — Как это может быть... зачем ей...

Слова застревали в горле. Он в сердцах пнул пустую пивную банку. В его классе многие курили, а кое-кто даже баловался травкой. Да и слухи всякие курсировали. Некоторые из ребят тусовались в лесу Бен-Шемен и на пляже Ницаним, и говорили они между собой на каком-то особом языке. Иногда Асафу даже казалось, что он один такой, а все остальные давно через это прошли. Может, и Рои, он ведь давно уже курит. Асаф всегда отмахивался от этих слухов, он не желал знать ничего такого, его пугало, что это творится с приятелями, которых он знает с детства. А теперь и с Тamar, которую он совсем не знает, которую уже немного знает...

— Нет, ты объясни, — жарко шептал он, ускоряя шаг, — как это может быть, что такая девчонка баловалась наркотой, да еще скупала целыми партиями, а? А что ты вообще о ней знаешь, — бормотал Асаф, —

ты же только сегодня впервые услышал про нее, так какого черта возомнил, будто она похожа на тебя, и с ходу выдумал целую историю про себя и про нее — что, не так?

Динка бежала рядом, понунив голову, опустив хвост. Они с Асафом выглядели как два плакальщика. Поводок, соединявший их, скорбно волочился по тротуару. Асаф разжал руку, позволив поводку упасть на землю, и Динка тотчас остановилась, потрясенная и напуганная его поступком и таившимся в нем намеком. Асаф вздохнул и подобрал поводок.

Они двигались в сторону рынка, к ресторану «Сима». Собрав остаток сил, Асаф попытался вернуть прежний образ — образ девочки на бочке, рассказывающей о великане. Но чем больше он напрягался, тем отчетливей понимал, что образ ускользает, что нет ему никакого дела до этой девчонки. И все же что-то в нем противилось, мешало окончательно отказаться от нее. Быть может, виной тому был взгляд Динки, когда он бросил поводок. Или же странное ощущение, что если он вернется в мэрию и скажет Даноху, чтобы забирал собаку, а ему и так уже досталось, даже в тюрьге побывал из-за его задания, и с него хватит, — так вот, если он так поступит, то не только потеряет все шансы хоть одним глазком взглянуть на эту Тamar, но и... и, можно сказать, предаст ее.

И во второй день, проведенный на улице, ничего не произошло. Трижды Тamar пела на Бен-Йегуде, один раз у входа в здание «Клаль»<sup>[25]</sup> и дважды на Сионской

---

<sup>25</sup> Административно-торговый центр на улице Яффо.

площади, которая в дневное время была совершенно другой, почти уютной. Тамар уже выделяла лица из толпы: лавочники, торговец свежими соками, угостивший ее большим стаканом «манго-персикового» и сказавший, что от ее пения в его фруктах делается больше сока. Девушки-патрульные приветливо улыбались ей, а русский старик с аккордеоном рассказал о себе, о консерватории, в которой учился, и попросил не петь, пока он играет, а то он ничего не зарабатывает.

После дюжины выступлений Тамар уже знала не только как, но и что именно нужно петь. Песенка «Мне шестнадцать, скоро будет и семнадцать» из «Звуков музыки» всегда казалась ей слишком слащавой, но у публики она пользовалась успехом и неизменно вызывала бурные аплодисменты и приток денег. То же самое происходило и со старой доброй «Уношусь я в реактивном самолете». Тамар пела их снова и снова, перемежая — ради собственного удовольствия — «Маленьким принцем из второй роты» или чем-нибудь меланхоличным и милым из репертуара Шалома Ханоха. И наоборот, когда она однажды решилась спеть перед бывшим зданием Кнессета арию Барбарини из «Свадьбы Фигаро», свой коронный номер, публика разошлась не дослушав, люди в голос смеялись, а какие-то парни пристроились у нее за спиной и кривлялись, передразнивая ее. Тамар все-таки дотянула до конца, наблюдая, как люди, словно виноградины от грозди, отрываются от толпы слушателей и исчезают, точно она для них недостаточно хороша. После этого у нее случился короткий, но яростный спор с самой собой (а на самом деле с Иданом): следует ли любой ценой оставаться верной себе или лучше подстраиваться под вкусы публики («сдаться быдлу», уточнил Идан). И Тамар

решила, что ради главной цели не зазорно и поступиться принципами, проявить гибкость (Идан побарабанил по столу длинными бледными пальцами, задумчиво посмотрел куда-то вверх и ничего не сказал) и даже получать от этого удовольствие.

Ночь она опять провела в подвале отцовской конторы, едва-едва удержавшись от того, чтобы не направиться в сторону сарайчика Леи, который рисовался ей Храмом Восхитительных Яств, Кристальных Водопадов и Шелкового Белья. Но Тамар понимала, что всегда есть вероятность, пусть и небольшая, что хищник уже выследил ее и теперь движется по пятам — он сам или один из его подручных. Кто знает, может, ее уже заприметили и доложили боссу, а тот велел проверить, кто она такая, с кем тусуется и не из легавых ли.

Потому и вторую ночь Тамар провела в знакомом вонючем подвале с тараканами. Лежа без сна, она мысленно разглядывала карту Италии, переносясь из города в город, потом пересчитала дни и поняла, что завтра — день ее рождения и сольного выступления. Вслушиваясь в шелест тараканьих лапок, Тамар изо всех сил пыталась не поддаться жалости к себе, так и норовившей накрыть ее с головой. Бывают в жизни моменты, с горечью твердила она себе, когда человек остается один на один с судьбой. Заснуть ей удалось лишь под утро.

— Предашь ее? — взревел Носорог. — Что значит «предашь»? Ты ведь с ней даже не знаком!

— Уже немножко знаком...

Асаф уткнулся взглядом в тарелку с фаршированными овощами, чтобы Носорог не видел, как он покраснел.

— Держите меня! Родители оставляют его на минуточку, и ты тут как тут — уже заводишь шашни с девчонками?

— Да нет же!

Люди за соседним столиком на миг прервали политические баталии и уставились на них в легком изумлении.

— Ничего подобного! — сердито прошипел Асаф.

Носорог откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на него.

— Асаф, — сказал он. — Ты вот-вот начнешь бриться.

— Чего это... — Асаф украдкой пощупал пушок на щеке. — Время терпит.

— Так что делать будем? — спросил Носорог, снимая с шампура куски мяса.

Асаф взглянул на него и вспомнил теорию Релли о том, что при каждой трапезе нужно съесть не больше шести «полных ртов», потому что каждый следующий кусок — беззастенчивое обжорство. А Носорог с удовольствием поглощает второй обед подряд.

— Продолжу ходить по городу с собакой, — сказал он. — И может, в конце концов мы ее найдем.

— Ага, девку-наркоманку, Асафи.

Голос у Носорога внушительный, каждое слово бухало как мешок цемента.

— Знаю, но...

— И не просто девку, которая там-сям пыхает...

— Да, но...

— А девку, которая скупает дурь оптом...

— Не знаю. Откуда мне знать? Я в этом не разбираюсь.

— И что же она, по-твоему, будет делать, когда ты ее найдешь? Скажешь, чтобы завязала, и она тут же завяжет, да?

— Я так далеко не загадывал, — вывернулся Асаф. — Я только хочу отдать ей собаку. Это ведь часть моей работы, верно?

И он постарался скорчить официальную мину, но удалось почему-то не очень. Динка разлеглась поодаль, язык вывален, глаза устремлены на них.

— Слушай. — Носорог подался вперед, подкрепляя слова энергичными взмахами четвертинки питы. — У меня в мастерской работают два парня, завязавших с этим делом. Знаешь, каково это — завязать? Они уже по четвертому кругу пробуют. И каждый раз куча проблем, каждый раз — реабилитация, полиция, клиники и прочий кошмар, и я отнюдь не на все сто уверен, что они не сорвутся снова.

Асафу стало жарко. Прав Носорог. Нужно вылезать из этой истории. Но... как можно вот так взять и отказаться от девочки на бочке?

— Послушай меня, Асаф. Забудь о ней, хватит фантазировать. Ты даже не представляешь, сколько усилий надо, чтобы наркоман завязал. — Носорог положил питу и вилку и отряхнул ладони. — Я всеми

этими историями про дурь с детства напичкан. В нашем квартале половина на игле сидела. Знаешь, что такое ломка?

— Я что-то слышал...

Слова Носорога окончательно вывели Асафа из равновесия. Его красноречие выглядело по меньшей мере странно — обычно Носорог разговаривал очень мало.

— Ломка — это то, что с человеком творится, когда он пытается отвыкнуть. Ты меня слушаешь? В первые четыре-пять дней организм просто вопит от боли, не получая своей дозы. — Носорог снова придвинулся к Асафу, он говорил совсем тихо, сузив глаза. — Это как если бы тебя морили голодом и жаждой целый месяц, просто изнутри разламывает человека. Видел бы, каким человек делается — прямо серый, потом так и сочится, руки-ноги ему крючит...

Носорог говорил, а Асаф монотонно качал головой, будто стараясь отогнать эти слова.

— Ну так как? Забыли? — спросил Носорог.

Асаф медленными глотками допил колу. Поставил стакан, не глядя на Носорога. Он никак не мог заставить себя выдавить хоть что-нибудь.

Носорог изумленно смотрел на него.

— Понял. — Из его широкой груди с шумом вырвался долго сдерживаемый воздух. — У нас проблемы.

Он ткнул вилкой в тарелку, поднес ко рту и замер. Вилка в огромных пальцах казалась игрушечной. Мама Асафа, большая специалистка по части рук, всегда

повторяла, что у Носорога самые мужские пальцы, которые она видела в своей жизни.

— А сам ты, — наконец заговорил Асаф, — ты ни разу?..

— Никогда. — Носорог откинулся на спинку, и стул отозвался стоном. — Близко был к этому, но пронесло. У меня другое увлечение было, ты ведь знаешь.

И он в сотый раз рассказал Асафу (но сейчас было в этом что-то успокоительное), как в детстве, с шестилетнего возраста, тащился с отцом в синагогу и тотчас линял оттуда, несся к дереву, росшему около стадиона, и просиживал на нем с девяти утра до начала игры в половине третьего.

— Я смотрел матч, возвращался домой, получал дикие тумачи от папаши и тут же начинал ждать следующей субботы.

Асаф представил, как маленький Носорог заходится от восторга на верхушке дерева, и улыбнулся.

— Понял, да? — рассмеялся Носорог. — Сейчас мне кажется, что, наверное, и не сама игра меня так занимала, как ожидание. Я обожал торчать там по полдня и думать, что вот-вот начнется, еще чуть-чуть — и случится. Вот это был наркотик так наркотик. И в тот момент, когда матч заканчивался, — полное опустошение, до следующей недели. Постой, а как мы сюда доехали?

— Да уж доехали, — улыбнулся Асаф.

— Ну хватит! — сказал Носорог, но Асаф понял, что тот всего лишь решил поменять тактику. — Что это я на

тебя насел. Тебе ведь и того ублюдка с наручниками хватило.

Какое-то время они жевали в полном молчании, медленно остывая от спора. Потом глянули друг на друга, сытые и довольные, и разулыбались. Обычно они лучше всего решали свои разногласия молча.

— Ну а что старики? — заговорил Носорог.

Асаф сказал, что вчера они еще не звонили, но уж сегодня обязательно.

— Интересно, справилась ли твоя мама...

— С дверью самолетного туалета, — закончил Асаф, и они захохотали.

Мама целую неделю тренировалась дома с ручкой посудомоечной машины — Носорог сказал ей, что у туалетной двери в самолете такая же.

— Значит, говоришь, от них пока нет вестей, — еще раз повторил Носорог, в упор глядя на Асафа.

— Нет, пока нет. Правда.

— Ага.

Носорогу не нравилась эта поездка. Он подозревал, что от него что-то скрывают.

— А Релли что? — спросил он, будто между делом.

— Думаю, в порядке. — Асаф пожалел, что покончил с едой и нельзя притвориться, что увлечен содержимым тарелки.

— Она с ними возвращается или нет?

— Хорошо бы. Не знаю... может быть.

Носорог буквально сверлил его взглядом, но Асафу нечего было ему сказать. Он и сам побаивался, что за этой поездкой кроется какая-то тайна, что ему не говорят всего по причине его дружбы с Носорогом. Слишком уж охотно родители согласились оставить его, пообещав привезти вождеденный «Кэнон».

— А то я... — Носорог закурил и жадно затянулся. — Я... у меня все время такое ощущение...

— Нет-нет, — поспешно сказал Асаф. — Вот увидишь, все будет в порядке.

Он вспомнил, как Релли заставляла Носорога бросить курить и тот пересилил себя. А вот теперь опять закурил — еще один дурной знак.

— Не волнуйся. Они там поговорят с ней, и она к нам вернется.

«К нам» означало — к Носорогу. Прежде всего — к Носорогу.

— Она там кого-то нашла, — хрипло пробасил Носорог, пустив струйку дыма вверх. — Какого-нибудь лоха-америкашку. Я тебе говорю — не приедет она. Я такие вещи нутром чую.

— Нет, приедет, — возразил Асаф.

— И чего я себя дурачу!

Носорог, выкурив четверть сигареты, с остервенением загасил ее. По его многословию Асаф понимал, что Носорог пребывает в крайне необычном состоянии. Он немного смущался, слушая, как Носорог, такой большой и мощный, откровенничает с такой безнадегой.

— Глянь-ка, сколько лет я морочу себе голову, — очень медленно, как будто получая удовольствие от самоистязания, проговорил Носорог. — Видишь, что значит любовь.

Оба испуганно помолчали. Асаф чувствовал, как это слово жжет его, — никогда еще, ни единого разу Носорог не произносил его. И вдруг — вот оно, дрожит и бьется, как живое, как птенец, выпавший из рук Носорога.

— Эта девушка, — забормотал Асаф, — ну, с собакой, у нее есть такая подруга — монашка, которая уже пятьдесят лет... — И замолчал, сообразив, что с его стороны не очень-то тактично болтать о своем, когда Носорог так мучается. — Вот увидишь, она вернется, — сказал он слабо, да и что еще ему оставалось? Лишь снова и снова повторять эти слова, будто молитву или присягу. — Где еще она найдет такого, как ты? Родители тоже так говорят, ты ведь знаешь.

— Да, если бы все зависело только от твоих родителей... — Носорог устало кивнул, потом потянулся всем телом, посмотрел вверх, по сторонам, вздохнул. — Глянь-ка, собачка твоя закемарила.

И действительно, Динка дремала. Во время обеда Асаф украдкой подкидывал ей куски шашлыка и жареной картошки.

— С собаками у нас нельзя, — сказал официант Носорогу, когда они вошли в зал, — но для господина Цахи...

Асаф и Носорог посидели еще, болтая о том о сем. Носорог рассказал о новой скульптуре, которую он отлил сегодня, — того самого знаменитого, но совершенно шизанутого скульптора, который разругался со всеми

литейными мастерскими в стране. С Носорогом этот шизик тоже вечно грызется, иногда чуть до драки дело не доходит, но когда он является в мастерскую и с эдакой кривой улыбочкой говорит, что у него есть новая работа, — Носорог не может ему отказать.

— Такие уж они, эти художники, — рассмеялся Носорог. — Ты с их заморочками лучше не спорь. Нет для них ни бога, ни черта, одно искусство на уме...

Его смех угас. Наверное, вспомнил, что и ювелирка — тоже искусство, подумал Асаф.

— Кофейку по-турецки, господин Цахи? — спросил официант.

— Нет, — сказал Носорог, когда перед ними стояли маленькие чашечки. — Ты еще не умеешь. Вот так надо...

Он потянул кофе с легким присвистом, сложив толстые, почти фиолетовые губы словно для поцелуя. Асаф попытался проделать то же самое, но втянул только воздух. Носорог улыбнулся. Асаф взглянул на него. По словам мамы, от этой улыбки растает всякая женщина, вот только дурища Релли равнодушна к ней. Камень, камень, каменное сердце...

— Ну так что делать-то будем? — спросил Носорог, глядя на собаку. — Похоже, ты от этой свистушки отказываться не собираешься, а?

— Я еще сегодня немного поброжу, до вечера... а там посмотрим.

— И завтра побродишь? И так до тех пор, пока ее не отыщешь, да?

Асаф пожал плечами. Носорог пристально смотрел на него. Во время войны в Персидском заливе Носорог

купил мозаику-головоломку «Швейцарские Альпы», из десяти тысяч частей и приволок Релли и родителям, чтобы они хоть немного отвлеклись, коротая часы между воздушными тревогами. Первой не выдержала Релли — в первый же вечер. Через двое суток вышла из игры мама, сказав, что даже садамовские ракеты лучше этой швейцарской пытки. Папа упорствовал неделю. Носорог бился месяц — из принципа, и бросил, только когда ему померещилось, что у него начинается легкий дальтонизм — на оттенки синего. Асаф, которому тогда еще не было восьми лет, закончил собирать Альпы через неделю после окончания войны.

— Послушай... — Носорог на мгновение задумался, теребя армейскую цепочку на шее. Края его рубахи позеленели от медных окислов. — Я... Не нравится мне, что ты вот так таскаешься. Твои родители из меня душу вынут, если с твоей головы хоть волос упадет, справедливо?

— Справедливо.

Асаф знал, что Носорог и сам себе не простит, если случится что-нибудь подобное.

— До сих пор тебе везло, и сцапал тебя только садист-полицейский. В следующий раз это может оказаться кто-нибудь другой.

— Но я должен искать ее, — упрямо повторил Асаф, а про себя подумал: «Найти ее».

— Так вот как мы сделаем. — Носорог достал из кармана перепачканного комбинезона красный фломастер, которым размечал скульптуры. — Я тебе напишу номер моего мобильного, мой домашний и мой рабочий.

— Но я их знаю.

— На всякий случай. Теперь слушай хорошенько и не говори потом «Я не слышал». Если возникнет хоть малюсенькая проблема, понимаешь — самая малюсенькая. Ну, увяжется за тобой кто-нибудь или тебе просто не понравится чья-то харя. Ты немедленно рвешь когти к ближайшему автомату. Понял?

Асаф скорчил гримасу из серии «Что я, по-твоему, младенец?», но, по правде говоря, он не очень возражал.

— Телефонная карточка у тебя есть?

— Родители оставили целых пять.

— При себе?

— Дома.

— Держи. И не экономь. Так, кто платит за обед?

— Как обычно, да?

Они расчистили место и водрузили на стол локти. Асаф был крепким парнем и ежедневно, в два захода, отжимался сто двадцать раз с упора и сто сорок раз от живота. Он несколько секунд скрипел и пыхтел, но против Носорога у него по-прежнему не было никаких шансов.

— Но становится все тяжелее, — благородно заявил Носорог и расплатился.

Они вышли из ресторана. Динка бежала между ними, и Асаф втайне наслаждался, представляя их троицу со стороны. На улице Носорог опустился на одно колено, прямо на грязный тротуар, чтобы заглянуть собаке в глаза. Динка лишь скользнула по нему взглядом

и тут же отвернулась, давая понять, что для нее это перехлест. С эмоциями перехлест.

— Если не найдешь девчонку, приводи собаку ко мне. Она умница. У меня во дворе есть для нее приятели.

— А бланк... ну, этот... штраф...

— Не волнуйся. Ты что, хочешь, чтобы ветеринар из мэрии вколол ей что-нибудь?

Динка высунула язык и лизнула Носорога в лицо.

— Эй! — засмеялся он. — Мы ведь только-только познакомились. — Потом оседлал мотоцикл, сплющил шлемом лицо. — Куда ты сейчас?

— Куда она меня поведет...

Носорог снова рассмеялся.

— Ну что тебе сказать, Асафи. От тебя такое услышать... Эта собачка, уж точно, победила там, где твои родители и Релли не смогли. «Куда она меня поведет»... Конец света!

Мотоцикл взревел, сотрясая улицу, и рванул с места. Носорог махнул рукой и исчез.

Они остались одни. Вдвоем.

— Ну, что теперь, Динка?

Собака смотрела вслед Носорогу. Понюхала воздух, словно дожидаясь, когда рассеются выхлопные газы. Развернулась, замерла на напряженных лапах, подняла голову, вытянула шею. Даже уши у нее слегка повернулись в направлении чего-то, что находилось за домами, замыкавшими рыночную улицу. Асаф уже научился распознавать ее язык.

«Ваф», — сказала Динка и ринулась вперед.

На третий день, обессиленная с утра пораньше, едва переставляющая ноги после бессонной ночи, Тамар выбралась на улицу прежде, чем стали открываться конторы. Она купила себе и Динке завтрак в кафе «Дель Арте», и они съели его в пустынном дворе. Тамар беспокоилась за Динку: собака выглядела какой-то потасканной, шерсть ее потеряла блеск, прекрасные золотые волны на спине поблекли. «Бедная, втянула я тебя во все это, даже не спросив, а ты доверилась мне. Если бы я сама знала толком, что я делаю и куда иду...»

Но, оказавшись перед публикой, Тамар, как всегда, собралась.

Сегодня она пела на улице Лунц, и толпа не давала ей уйти, требуя еще и еще. Глаза ее сверкали. От выступления к выступлению в ней креп знакомый задор — захватить их, пленить с первой же ноты. Тамар даже не верилось, что ее дар остался при ней. Конечно, она тут же услышала возмущенные голоса Идана и Ади: музыка должна раскрываться постепенно, созревать, нет моментального, «растворимого» искусства! Тамар подумала, что они понятия не имеют, о чем говорят, потому что улица — это не золотые финтифлюшки и обитые бархатом стены, и никто здесь не станет ждать, пока она «созреет», улица полна соблазнов, манящих прохожих не меньше, чем певица-бродяжка, — через каждые двадцать метров кто-нибудь стоит со скрипкой, с флейтой или с летающими факелами, и все жаждут признания, внимания, любви, а еще — сотни лавочников, лоточников, продавцов фалафели и шаурмы, официантов, торговцев лотерейными билетами, нищих, и

каждый беззвучно и отчаянно взывает: «Ко мне, иди ко мне, только ко мне!»

В хоре тоже, конечно, были интриги и зависть, соперничество за выигрышные партии, и каждый раз, когда руководительница давала кому-то соло, тут же кто-нибудь заявлял о своем уходе. Но сейчас все эти склоки казались Тамар детскими играми. Вчера, например, увидев, что вокруг двух ирландок с серебряными флейтами собралось больше народа, чем вокруг нее, она ощутила укол зависти куда более болезненный, чем в тот раз, когда Аталию из хора приняли в нью-йоркскую «Школу музыки на Манхэттене».

И сегодня, раскланиваясь под восторженными взглядами публики, слушая восхищенные аплодисменты, Тамар поняла, что хочет играть в эту игру именно по уличным правилам — бороться за своих слушателей, соблазнять их, быть резкой, агрессивной, напористой. Она осознала, что ее даже возбуждает ощущение улицы как арены нескончаемой войны на выживание. Эта битва разворачивается ежеминутно, маскируясь под радостное, многокрасочное и вполне цивилизованное действие. И еще Тамар поняла, что, если она хочет выжить, надо поскорее избавиться от своей деликатности и начать орудовать, как десантник, заброшенный в городские дебри. Поэтому она отошла на пять больших шагов в сторону от улицы Лунц и встала в самом центре мидрахов,<sup>[26]</sup> подмигнув мысленно Алине, вечно жаловавшейся, что нет в ней и капли амбициозности, так необходимой всякому артисту, что она изнежена и не желает бороться за свое место, избегает любых

---

<sup>26</sup> Повсеместное название пешеходных зон в израильских городах.

соревнований и конкурсов. Ну-ка, извольте взглянуть на меня сейчас, в самом центре вселенной. Вы можете поверить, что это я?

Тамар спела самым чистым и глубоким голосом, которого ей удалось достичь с тех пор, как она вышла на улицу, «God bless the child» Билли Холидей.<sup>[27]</sup> Но в тот момент, когда она собиралась запеть следующую песню, русский аккордеонист вдруг изо всех сил грянул «Happy birthday to you», и к нему тут же присоединились ирландские флейтистки и слепой скрипач с угла улицы Лунц, наяривавший псевдоцыганщину, и, к изумлению Тамар, даже трое парагвайцев с непроницаемыми лицами пустили в ход свои экзотические инструменты. Все они окружили ее и играли специально для нее, а Тамар стояла, растерянная, ошеломленная, счастливо улыбаясь незнакомым людям, чьи лица внезапно осветились настоящей симпатией. Тамар даже не вспомнила свой предыдущий день рождения, который они с Иданом и Ади отметили на вершине башни на горе Скопус, куда прокрались в полночь и не смыкали глаз, пока не увидели восход...

И когда этот маленький концерт закончился, Тамар извинилась перед публикой, подошла к русскому старику и услышала от него то, что ожидала услышать. Что вчера приходила женщина, такая высокая, жутковатая, с кучей шрамов по всему лицу, и дала им по пятьдесят шекелей, чтобы они сегодня сыграли для нее эту песню. Каждому — по пятьдесят шекелей в руки, тут уж ни о чем не спрашивают.

---

<sup>27</sup> Билли Холидей (настоящее имя Харрис Элеонора, р. 1915) — выдающаяся джазовая певица; песня «God bless the child» («Господи, благослови дитя») относится к раннему периоду ее творчества.

Русский посмотрел на нее с тревогой:

— Что случилось, Тamarочка, я не очень хорошо сыграл?

— Да что вы, Леонид! Вы играли замечательно!

Тамар отошла в сторонку. Все-таки этот мир не так уж плох. По крайней мере, у него есть надежда, пока в нем не перевелись такие люди, как Лея. Она припомнила, как описал Лею этот русский. Странно, а ведь сама она давно уже не замечает шрамов, которые Лея называет «пенсами». Тамар улыбнулась: уж одной пытки она сегодня точно избежала — не пришлось сидеть у телефона и ждать, что кто-нибудь позвонит с поздравлениями.

Внезапно Тамар сообразила, что, погруженная в размышления, она вышла на площадь перед «Машбиром». Ей не нравилось выступать здесь, да и само место не нравилось — слишком много машин, торговцев и агитаторов, собирающих подписи. Она сделала круг, собиралась вернуться в пешеходную зону, но что-то ее удержало, какой-то внутренний зуд. Тамар встряхнулась — отчего-то нервы разыгрались. Наверное, из-за дня рождения. И какого черта Лея устроила это представление для нее — посреди улицы, у всех на глазах. А что, если потом примутся разнюхивать, что это была за баба со шрамами? Тамар разозлилась. Сдался ей этот день рождения! Слово нет сейчас вещей поважнее.

Нехотя, против желания, Тамар решила все-таки спеть одну песню, не больше, и убраться отсюда подобру-поздорову. Вот тут-то это и случилось, в ту самую минуту, когда она меньше всего ждала. Так старательно готовилась к этому моменту, столько

времени гадала, как все произойдет, — и вот на тебе, даже не поняла, что к чему, когда это случилось.

Тамар закончила петь и собрала монетки. Люди разошлись, и она осталась с уже знакомым чувством странной гордости за свое выступление, за то, что ей снова удалось их покорить, но радость сопровождалась и опустошением, которое прокрадывалось в душу всякий раз, когда люди расходились, а Тамар оставалась одна — посреди улицы, сознавая, что поделилась чем-то очень личным с совершенно чужими людьми.

Двое стариков, мужчина и женщина, слушавшие ее пение на скамейке поодаль, встали и медленно подошли к ней. Они крепко держали друг друга под руку, и мужчина опирался на женщину. Оба были какие-то маленькие и укутанные в слишком теплую для такого дня одежду. Женщина застенчиво улыбнулась Тамар беззубой улыбкой и спросила:

— Можно?

Тамар не поняла, чего она хочет, но согласно кивнула. Ее тронуло то, как они ласково держатся друг за дружку.

— Ах, как ты поешь! Ой-ой-ой! — Старуха прижала руки к щекам. — Ну точно... в опере! Ну точно кантор в синагоге!

Едва не задыхаясь от восторга, она дотронулась до руки Тамар, погладила. Тамар, обычно не любившая, когда к ней прикасаются посторонние, вдруг потянулась навстречу старушке.

— А он, — женщина кивнула на старика, — муж мой, Иосиф, уж почти безглазый, не видит ничего, да и уши уж не слышат, так я его глаза и уши, но тебя-то он

услыхал, правда же, ты ее услышал, Иосиф? — Она подтолкнула старика плечом. — Правда, что ты ее услышал-то?

Старик посмотрел в направлении Тамар и бессмысленно улыбнулся. Его желтоватые усы встопорщились.

— Прости уж, что спрашиваю, — сладко продолжала старуха, и ее припухлое лицо вдруг вплотную приблизилось к лицу Тамар, — но родители, они у тебя знают, что ты вот одна на улочке-то?

Тамар по-прежнему ничего не понимала. Ответив, что ушла из дома, «потому что там было тяжело», она смущенно улыбнулась, мол, «со мной все в порядке, не волнуйтесь». Но старуха все смотрела на нее и смотрела, и рука, вся в старческих веснушках, вдруг с неожиданной цепкостью ухватила ее за локоть. У Тамар перед глазами стремительно пронеслась картинка: ведьма проверяет, достаточно ли уже жирна Гретель, но страшноватая карикатура тут же исчезла, уступив место лицу в симпатичных ямочках.

— Нехорошо, — проворковала старушка и проворно оглянулась. — Нехорошо так, девочка совсем одна. Тут ведь всякие люди... и никто тебя не охраняет? А если кто захочет отобрать у тебя денежки? Или, не приведи господи, что похуже?

— Я справляюсь, бабушка, — засмеялась Тамар и собралась уйти, ощущая смутную тревогу.

— И нет каких кавалеров или братиков, чтоб тебя защитить? — заторопилась старушка. — И где же ты ночуешь, внученька? Так нельзя!

Вот тут Тамар и начала догадываться — судорожная дрожь где-то в глубине живота шепнула ей, что стоит придержать язык. Тамар постаралась отогнать непонятное ощущение: старики казались такими бесхитростными и дружелюбными. Тем не менее смех ее прозвучал уже несколько иначе — слегка деланно, Тамар повторила, что о ней не стоит беспокоиться, она справляется. Но старушка не отпустила ее руку (Тамар подивилась силе, с какой скрюченные пальцы сжимали ее локоть), нежным голосом она поинтересовалась, сытно ли девочка кушает, а то она выглядит такой худенькой — кожа да кости, дорогулечка моя. И Тамар, которую эта «дорогулечка» насторожила уже всерьез, ответила, что она в полном порядке, спасибо. Старуха молчала, по-прежнему цепляясь за ее руку. Тамар видела, как ее губы пробуют на вкус последний вопрос. И тут это нагрянуло, резко и четко:

— Скажи-ка, дорогулечка, может, ты хочешь кого-нибудь, кто тебя будет охранять, а?

Тамар почти вырвала локоть из старухиных пальцев и собралась уйти, не попрощавшись, но последний вопрос заставил ее остановиться. Она оглянулась на старуху, в мозгу ее медленно созревало понимание, что это — то самое и есть, что они пришли за ней, что перед ней те, кого она так ждала, — его посланники.

Но это невозможно! Глупость какая! Да ты посмотри на них — два божьих одуванчика. Но ведь вопрос-то в самую точку. Нет, этого быть не может, это же дедуля с бабулей, безобидные и добрые старики.

— Погодите, а что это значит? — спросила Тамар, пошире распахивая глаза. — Я не понимаю.

Все она понимала, в том числе и то, что главное — не терять головы, выглядеть не слишком заинтересованной, но и не слишком напуганной. Вот только проклятое сердце — наверняка всем видно, как оно пульсирует под комбинезоном.

— А то мы с Иосифом моим знаем такое очень хорошее местечко, что-то вроде родного дома для сироток, там ты и пожить можешь, и покушать хорошо, и весело там, правда, Иосиф?

— Что? — скрипнул Иосиф, словно раз за разом засыпавший за своими темными очками и только с очередным толчком возвращающийся к реальности.

— Что, что — покушать у нас хорошо можно, вот что!

— Ну да, еда у нас вкусная. Это Генечка готовит, — старик кивнул на жену. — Так что завсегда вкусно, и попить есть что, и поспать можно, все хорошо!

Тамар медлила. Какая-то часть ее все еще отказывалась поверить в происходящее. Или боялась поверить. И взгляд Тамар молил стариков убедить ее, что она ошибается. Потому что если это — то самое, если они действительно его посланники, то все уже началось — прямо сейчас, а она вдруг поняла, что боится, до смерти боится.

— Ну, что скажешь, дорогулечка? — спросила старуха.

Тамар видела, как от нетерпения у нее подрагивают губы.

— Не знаю... А где это? Далеко?

— Да не за границей, не! — хихикнула старуха, и ее руки суетливо замелькали перед лицом Тамар. — Да туточки. Здесь мигом, полминуточки. Да такси возьмем — и уже там. Ты только скажи. А уж остальное мы уладим.

— Но я... я вас не знаю! — Тамар почти кричала от страха.

— А чего тут знать? Я — бабушка, а он — дедушка. Старички! И есть такой мальчишечка, Пейсах, который там заведывает всем, и он очень хороший, добренький, уж поверь мне, дорогулечка. Золотко, а не мальчишечка!

Тамар в отчаянии смотрела на них. Все так и есть. Это самое имя назвал Шай, позвонив ей оттуда. Пейсах. Тот самый человек, который избил его до полусмерти.

А старуха продолжала:

— Так у него есть как раз такое местечко для деточек, как ты.

— Местечко? — притворилась непонимающей Тамар. — Так там еще...

— Да ведь конечно! Ты что думала, одна там будешь? Там много деточек, и все артисты — первый сорт! И есть такие, которые изгибаются по-всякому, ну как на цирке, и музыкантики всякие-разные, кто со скрипочкой, кто с гитарой, а один так вообще театр показывает без единого словечка, и один, который кушает огонь, а деточка одна на руках все ходит. Ой-ой-ой! — Старуха в восторге затрясла головой. — Будут тебе там дружочки, куда там! Весело будет тебе весь день!

Тамар пожала плечами:

— Ну, звучит забавно. — Губы у нее дернулись, голос сфальшивил.

— Ну так пойдём, что ли, деточка?

Рот старухи дрожал, лицо покраснелось, и Тamar вдруг стало ужасно противно: старуха показалась ей жирным пауком.

Старуха подхватила ее под руку, и они спустились к мидрахам. Шли они едва-едва, подслеповатый Иосиф тащился позади, цепляясь за жену. А старуха разливалась соловьем, будто желая болтовней заглушить сомнения Тamar, заморочить ей голову. Асфальт жег Тamar подошвы. Ведь так легко вырвать руку, оттолкнуть мерзких стариков и броситься наутек. И больше не чувствовать прикосновения прохладной, дряблой плоти, не вязнуть в паутине, которую эта женщина плетет вокруг нее. И никогда не появляться в том доме, путь к которому она искала столько месяцев.

Тamar затравленно огляделась, словно прощаясь и с улицей, и с магазинчиками, и со всеми обычными людьми. Подумала про себя плаксивым голосом, голосом ослика Иа-Иа: «Желаю вам много-много счастья в мой день рождения, и большое-большое спасибо за чудесный подарок».

— А песика обязательно? — проквакала старуха, внезапно осознав, что большая собака, плетущаяся за ними, принадлежит Тamar.

— Да, она со мной! — вскрикнула Тamar, втайне надеясь, что они скажут, что с собаками нельзя, и у нее тогда будет замечательный предлог, чтобы вырваться.

— Это девочка? Сучка, да? — Старуха скривилась. — И что теперь будет? Она понесет, оценится, то-то всем радость будет.

— Она уже... она старая, она не может родить, — прошептала Тамар, и ее сердце сжалось от стыда перед Динкой, которая, в ее цветущем возрасте, должна переносить такие унижения.

— Так на что тебе эта животиная, — не отставала старуха. — Оставь ее здесь. И кормить ее еще, и блохи, и грязь...

— Собака со мной! — отрезала Тамар.

Они со старухой уставились друг на друга, и Тамар разглядела то, что до сих пор пряталось за широкими улыбками и уютными складками жира: острый, серый, как сталь, закаленный в боях взгляд. Старуха первая потупила глаза:

— А не надо так кричать, дорогулечка. И чего я такого сказала? И что за привычка такая — кричать на стариков, а мы еще делаем доброе дело...

И Тамар поняла-поняла-поняла, что это — *то самое*.

Несколько минут они шли молча. У «Кошачьей площади» за ними пристроилась обшарпанная машина синего цвета, едва угадываемого под слоем грязи. Тамар заметила ее не сразу, а когда заметила, удивилась, почему эта «субару» к ним привязалась... И тут же задохнулась от ужаса. Машина остановилась почти вплотную, и старуха проворно оглянулась.

Из машины выбрался водитель — молодой чернявый парень, лоб которого ровно посерединке пересекала единственная глубокая рытвина-складка. Бросив на

Тамар быстрый, жадный и полный презрения взгляд, он открыл старухе переднюю дверь с таким видом, словно открывал дверь «роллс-ройса» перед королевой-матерью. Старуха подождала, пока ее муж втиснется на заднее сиденье, а потом пихнула внутрь Тамар.

— К Пейсаху! — властно скомандовала она.

Водитель дернул ручник, и машина резко сорвалась с места. Тамар повернула голову, успев разглядеть только, как улица стремительно скрылась из виду, точно кто-то вжикнул «молнией».

# Ошалелой птицей...

*Ошалелой птицей...*

Грузный человек в черной сетчатой футболке, гоня зажатую в зубах зубочистку, разговаривал одновременно по двум телефонам. В одну трубку он остервенело кричал:

— Я тебе сто раз объяснял: каждое утро проверяй мешок на заднем сиденье — взял он ножи или нет!

А в другую, мобильную, стонал:

— Откуда, ну откуда я тебе сейчас возьму стеклянный ящик, откуда?

Подняв голову, он увидел Тamar и, пристально глядя на девушку, медленно перегнал зубочистку слева направо.

Тamar стояла неподвижно, впившись пальцами в лямки комбинезона. За последние недели она встречала очень много подозрительных личностей и каждый раз успокаивала себя мыслью о том, что все они — только прелюдия к нему, и стоит приберечь страх для решающего момента. И сейчас, очутившись наконец перед ним, она с изумлением разглядывала безобидного, потного толстяка, этакое плюшевого мишутку-переростка. Но колени все же подрагивали.

На одном из толстых пальцев «мишутки» красовалось массивное черное кольцо, и Тamar, как загипнотизированная, смотрела на мизинец с длинным загнутым когтем стервятника, касавшимся телефонной трубки, и думала: не с этого ли телефона велся тот разговор, из-за которого она здесь оказалась, и не в этой

ли самой комнате раздался глухой удар, а затем — страшный вопль.

Старики, оказавшиеся родителями «мишутки», поочередно обняли сына, и старуха представила Тamar, лучась многозначительной и многообещающей улыбочкой, словно девушка была драгоценным подарком, припасенным для любимого дитятки. Даже сидя, он возвышался над стариками, заполняя своим огромным телом тесную комнатку, вызывая у Тamar странное ощущение смехотворности собственных габаритов.

На широкой груди толстяка болталась золотая цепь с двумя медальонами. «Меир» и «Яков» — прочла Тamar и решила, что, наверное, это имена его детей. Помимо медальонов на цепочке висело еще что-то, напоминавшее звериный клык.

— Только гляди у меня, не зевай там. Следи, как он кидает! — проорал толстяк в одну из трубок. — Он мне кой-кого уже порезал позавчера в Акко.

И тут же проревел в другую:

— А просто в деревянный ящик или в какую-нибудь коробку эта шизанутая не может залезть?

Динка улеглась у ног Тamar, но, не в силах успокоиться, то и дело меняла позу и наконец опять поднялась. Тamar осторожно огляделась. Справа от нее находился большой металлический шкаф. Единственное окно было зарешечено. На стене висел рваный плакат «Хотел оттянуться — протянул ноги».

Толстяк завершил один разговор:

— Так я тебя опять предупреждаю: проверь, что за ним не торчит никто, кто случайно схлопочет ножом по башке.

Хотя толстяк был почти лысый, сзади свисала длинная косичка. Под глазами залегли темные мешки. Он шваркнул трубку, и под кожей забугрились мышцы, похожие на караваи хлеба. В другую трубку он заорал:

— Ну так херачьте в зоомагазин, купите ей аквариум, посмотрим, как она полезет в аквариум, только не забудь расписку с этой дуры взять!

Он тяжело выпустил воздух, словно жалея себя, глянул на Тамар и спросил, что она умеет делать.

Тамар сглотнула. Она умеет петь.

— Громче, не слышу!

Она умеет петь. Она три года пела в хоре. Соло. По крайней мере, было соло, подумала она про себя, до этой поездки в Италию.

— Мне говорили, что ты поешь на Бен-Йегуде. Это так?

Тамар кивнула. На стене за его спиной висели две старые фотографии. На них толстяк выглядел моложе лет на двадцать и боролся с кем-то — почти голый, красный, блестящий от пота.

— А чего? Из дома схиляла?

— Ага.

— Ладно-ладно, можешь не рассказывать. Мне плевать. Сколько тебе?

— Шестнадцать.

(Сегодня — шестнадцать.)

— Ты сюда по своей воле пришла? Да?

— Да.

— Никто тебя не заставлял приходить, да?

— Да.

Из набитого всякой всячиной ящика стола толстяк вытащил какие-то бумаги, тетради, порылся в них, извлек листок с бледно пропечатанными строчками, сунул Тamar. Она прочитала: «Я, нижеподписавшийся, имею честь заявить сим, что прибыл в артистическое общежитие господина Пейсаха Бейт Галеви по собственному желанию и без какого-либо постороннего давления. Сим торжественно обязуюсь уважать местные правила и подчиняться распоряжениям руководства».

— Подпиши вот здесь, — он ткнул толстым красным пальцем. — Имя и фамилия.

Минутное колебание. Тamar Коэн.

Пейсах Бейт Галеви прочитал, скосив глаза.

— Все тут вдруг становятся Коэнами. А ну, давай паспорт!

— У меня нет.

— Ну так какой-нибудь документ.

— У меня ничего нет. Я сбежала и не успела захватить...

Его огромная голова в сомнении склонилась набок. Помешкав несколько мгновений, он махнул рукой:

— О'кей. Пока что замнем. Теперича, так. Я могу предоставить тебе спальное место — комнату с кроватью,

двухразовое питание, утром — чай с чем-нибудь, вечером — горячее. Деньги, которые ты заработаешь своими песенками, ты отдаешь в общежитие за жилье и жратву, а от меня получаешь тридцать шекелей в день на сигареты, водичку и мелкие расходы. Только я тебя по-хорошему упреждаю: даже думать забудь о том, чтобы меня кинуть. Спроси-ка, почему?

Тамар спросила — почему.

Толстяк слегка запрокинул голову и улыбнулся, дернув зубочисткой:

— Ты, сдается мне, девушка нежная и деликатная, так что лучше нам в детали не вдаваться, а вывод такой: Пейсаха не кидают. Мы друг друга поняли?

На какой-то миг перед Тамар мелькнуло то, о чем говорил Шай: молниеносная, почти неуловимая, но такая кардинальная перемена в Пейсахе.

— Не то чтобы не пытались. — Он растянул улыбку еще ровно на миллиметр, вонзив в Тамар холодный взгляд, проникший в самую ее душу, в самую темноту, туда, где пряталась ее тайна. — Всегда найдется умник, считающий, что именно у него первого выгорит это дело.

Тамар увидела кучерявого паренька со сломанными пальцами.

— Но тот, кто попробовал, скажем так, больше не пробует. Ничего он больше уже не пробует.

Какие у него глаза, в ужасе подумала Тамар, что-то с этими глазами не так, они у него не связаны с остальным лицом. Она не знала, что бы такое сделать, чтобы прекратилась эта постыдная дрожь в ногах.

— Одеяло и матрас возьми в последней комнате, в конце коридора, там, где счетчики на стене, и подыщи себе комнату. Свободных до хрена. Вечером в девять жарка в столовке на втором этаже. В двенадцать ноль-ноль — отбой и вырубается свет. Между прочим, что это за псина?

— Это — моя.

— Ну тогда — все время только при тебе. Мне ни к чему, чтобы она тут кого-нибудь погрызла. Прививки имеет?

— Да.

— Ну а как насчет жратвы для нее?

— Я сама о ней позабочусь.

— Лады. А тебе объяснили, чё делать-то?

— Нет.

— Значит, потом.

Пейсах снова взялся за телефонную трубку, начал набирать номер, но остановился.

— Эй, момент, еще кое-что: ты употребляешь?

— Нет.

Только бы он не проверил рюкзак, подумала Тамар. Там у нее припрятаны пять доз, завернутые в колготки.

— Только попробуй здесь ширнуться! Один раз засеку — легавым сдам.

Старуха энергично закивала.

— Я не принимаю.

Однако он сбил ее с толку, это уж точно. Тамар думала, что здесь все сидят на игле. Так Шай сказал ей по телефону, умоляя вытащить его отсюда.

— Потому что у нас, — Пейсах неожиданно повысил голос, — только чистое искусство, а всякая прочая пакость — это не у нас, ясно?

Тамар вдруг показалось, что он обращается не к ней, а к кому-то, кто прячется в комнате или за окном.

— Стой-стой! — Он снова повесил трубку. — Ты что, так вот все время?

— Как «так»?

— Да так, что тебя не слышно.

Тамар смущенно застыла, вытянув руки.

— Да как же ты вообще поешь, если разговаривать не умеешь?

— Пою я, пою. — Она заговорила громче, стараясь подбавить в голос жизни.

— Ну-ка, валяй, послушаем! — Пейсах вытянул огромные ноги.

— Здесь? Сейчас?

— Факт, здесь. Ты что думаешь, у меня есть время ходить на концерты?

Тамар напряглась, ее вдруг захлестнули обида и изумление. Прослушивание? Здесь? Но тут же, вспомнив, зачем она тут, взяла себя в руки. Закрыла глаза, сосредоточилась.

— Давай, милая! Тебе что, группа на разогреве требуется? Я не могу тут с тобой весь день лясы точить.

И Тamar спела. «Не называй меня милой» Корин Элаль. Это был неправильный выбор, но песня буквально вырвалась из нее, точно крик, Тamar не успела ее остановить. Она и мечтать не могла, что споет такую песню без сопровождения, в полном одиночестве. Но ярость, бушевавшая в ней, вылетела песней, и Тamar пела великолепно, и пронзительные паузы между фразами сопровождали ее не хуже целого оркестра. Она пела яростно, хорошо дыша и правильно двигаясь, и с отчаянием понимала, что совершает свою первую ужасную ошибку в отношениях с этим человеком. Она уже не могла остановиться, зная, что если прервется, то лишится шанса остаться здесь. Но нельзя, нельзя было выбирать песню с таким прозрачным подтекстом. Она пропела: «Не зови меня милой, я от этого таю, я от этого становлюсь шоколадной рыбкой», и взгляды их скрестились — война была объявлена. А когда песня поведала о том, что «у маленьких цветочков есть мудрость своя», Тamar словно сообщила Пейсаху: перед ним не обычная уличная доходяга, остерегайся ее тайны. Какого черта она не выбрала для этого прослушивания что-нибудь безобидное, что-нибудь нежное и душевное, вроде «В кипарисы солнце село»? Или песенку «Пальто мое простое», полную смиренной умильности? Какого черта ей понадобилось с первой же минуты привлекать к себе особое внимание? Опять то самое проклятие, с тоской думала Тamar, тот самый выпендрож тихонь и отвага трусов. Ведь когда он припечатал ее этой своей «милой», у нее буквально крышу сорвало: вот она сейчас ему покажет, что не такая уж она «милая», особенно когда поет...

Но вскоре Тamar настолько отдалась течению песни, ее полной горечи силе, что перестала злиться на себя;

она плясала, извивалась и пылала вместе с песней — закрыв глаза, раскинув руки и яростно притоптывая. Она пела для себя, для того сокровенного, что билось внутри нее, а вовсе не для этого краснорожего толстяка, развалившегося на стуле, перекатывающего зубочистку во рту с легким изумлением во взгляде.

Закончив петь, Тамар мгновенно погасла, вернее, погасила себя. Она стояла перед Пейсахом, лишенная брони из музыки и слов, в полной уверенности, что тайна ее раскрыта. Еще несколько секунд комната продолжала вибрировать от песенной энергии.

— Неплохо... — сказал Пейсах, разглядывая Тамар со смесью подозрительности и восхищения. Потом перевел взгляд на мать, которая во время выступления Тамар беспрестанно кивала, улыбаясь во весь свой беззубый рот. — Что скажешь, мамале? Эта малышка — нечто особенное, а?

Старый Иосиф дремал на скамейке, за спиной старухи.

Тамар старалась не вслушиваться в их разговор. Ей хотелось поскорее найти какое-нибудь сносное место и принять душ. «Он — всего-навсего мелкий негодяй, — повторяла она про себя слова Шая. — Только этот мелкий негодяй разрушил мою жизнь по-крупному».

— Короче, — подвел итог Пейсах, — завтра утром мы глянем, куда тебя сунуть.

— Простите, я не понимаю...

— Не бойсь. Иди пока что, устраивайся, отдыхай. До сих пор все это были, между нами, цветочки,

развлечения, но с завтрашнего дня начинается серьезная работа. И тебе скажут, в каком городе.

— Так я уеду из Иерусалима?!

Тамар перепугалась. О такой возможности она не подумала.

— Будешь там, где тебе скажут, ясно?

Опять эти пустые глаза. Глаза мертвеца. Она промолчала.

— Вперед, милая! Время истекло.

И Пейсах опять занялся телефонами.

Тамар вышла в коридор, Динка следом. Тамар все еще не понимала, где находится и что это за место.

Под ногами хрустел битый кафель, кое-где проглядывала земля, проросшая травой и колючками. После того как люди оставили это место, природа тут же решила взять свое. Нечто сходное произошло и с нашей семьей, подумала Тамар. Коридор тянулся бесконечно. Она шла мимо дверей с табличками «Диспансер», «Приемный покой», «Хирургическое отделение», «Детский изолятор». Тамар заглянула в одну из комнат и увидела железную кровать с матрасом и одеялами. Может, кровать кому-то и принадлежала, а может, и нет. Пол был в ржавых отметинах от металлических ножек. С потолка свисали какие-то трубы и электрические провода. На двери значилось: «Кислород», на стене висел рваный постер Мадонны.

Матрасы и одеяла Тамар отыскала в конце коридора. Ей пришлось приналечь на дверь, чтобы преодолеть сопротивление сваленных за ней матрасов.

Воздух в комнате был спертый, пыльный. Тамар вытащила из кучи полосатый и очень тяжелый матрас, он оказался весь в пятнах. Она попыталась выдернуть другой, но не сумела. Тогда Тамар залезла на гору матрасов, стянула вниз два одеяла, стараясь не принюхиваться к ним. Каждое ее движение поднимало тучи пыли и волны тяжелого запаха мочи. Никаких простыней она не обнаружила. Это означало, что ей придется прикасаться к этим одеялам, спать прямо между ними, их запах пристанет к ее коже. Все это неважно, в отчаянии напомнила она себе, главное — вытащить его отсюда, а для этого ей нужно сюда проникнуть. Проникнуть по-настоящему, влезть с головой.

Она потащила матрас по коридору, согнувшись под его тяжестью. Матрас, весивший почти столько же, сколько сама Тамар, волочился за нею шлейфом нищенства. Она подумала, что и в этом есть свое преимущество: так она уж точно не столкнется с Шаем лицом к лицу. Динка носилась вокруг, пытаясь подлезть под матрас, и всякий раз, выпихнутая наружу, жалобно скулила.

Тамар то и дело останавливалась, открывала очередную дверь и заглядывала внутрь, скрючившись под своим горбом. Во всех помещениях стояли кровати, и не вызывало сомнения, что там уже кто-то поселился. В одной из комнат она увидела прислоненную к стене гитару, и сердце ее забило сильнее. Может быть, это его комната. Внутри никого не было, а по одной из стен тянулась надпись, выведенная углем: «Если мир меня не понимает, то этот мир — не мир». Вполне в его духе. Но валяющиеся поперек кровати джинсы показались ей коротковатыми для его длинных ног. Она закрыла дверь и открыла соседнюю. Пустые пивные банки и десятки

окурков. На стенах распяты две зеленые футболки хайфского «Маккаби». В комнате сидел парень — повернувшись к двери голой спиной, белой и тощей. Он был настолько погружен в «Гейм-бой», что и не заметил, как открылась и закрылась дверь.

«Все это так затягивает, — сказал Шай, — просто невероятно, тебе прямо хочется, чтобы затянуло, чтобы разложиться на самые мелкие части, развалиться. Ты почему-то до смерти хочешь посмотреть, как низко можно опуститься, ничего не остается, ни воли, ни сил. Все распадается так быстро, Ватсон...»

Когда он назвал ее их тайным прозвищем, Тamar крепко зажмурилась от счастья, и все, что он произнес за миг до этого, стерлось. Он много месяцев не называл ее так, и Тamar не подозревала, что до боли стосковалась по глупому имени из давнего детства. А еще через секунду послышался первый глухой удар, а следом — еще удары, и вопль.

Тamar закрыла дверь и собиралась продолжать путь, но тут увидела на полу, прямо перед собой, пару больших босых и смуглых девичьих ног с длинными и широкими пальцами и ногтями, выкрашенными ядрено-сиреневым лаком. Громкий насмешливый голос произнес:

— Э, да ты там совсем утонула! Давай-ка вместе.

Кто-то подошел сзади и подхватил матрас.

— Куда? — спросила Тamar.

— На второй этаж.

Тамар молчала, нащупывая ногами ступеньки. Одна, две... Матрас ерзал на спине, они едва не свалились вместе с ношей.

Тамар услышала смеющийся голос:

— Знаешь, что мне это напоминает? Как мы года два назад в школе ставили «Дон Кихота». Я с двумя девчонками изображала коня и точно так ходила, скрючившись, уперев башку в задницу. А кто-то вдруг сдернул с нас простыню, и нас застучали вот в таком виде.

Девушка заливисто захохотала, матрас пополз вниз, и через несколько секунд они оказались под ним, придавленные его тяжестью. Неуклюже выбравшись, обе упали на матрас плечом к плечу, не глядя одна на другую, и хохотали до потери сознания. Да, и Тамар тоже хохотала. Она с наслаждением плескалась в струях смеха этой незнакомой девчонки.

— Шели, — представилась та, вытирая слезы тыльной стороной ладони, и потерлась рукой о руку Тамар.

— Тамар.

— Привет, Тамар.

— А это Динка.

— Привет, Динка.

Тамар увидела широкое, скуластое, смеющееся лицо с небольшими оспинами, ярко-зеленую шевелюру, редкие зубы и полную прелести щербатую улыбку.

— Ну-ка, давай еще раз попробуем!

В каждом ухе Шели болталось по четыре серебряных сережки, серебряная мушка сверкала в ноздре. Большая серьга была воткнута в бровь, а когда девушка встала, Тamar заметила татуировку на бедре — стрелец. Шели протянула Тamar сильную руку и рывком поставила ее на ноги. Тут выяснилось, что Шели выше ее на полторы головы.

— Ну вот я такая, — пожала Шели плечами, словно извиняясь за свой рост, — полный комплект. А ну, за работу!

И они снова заползли под матрас.

Чтобы втащить матрас на второй этаж, потребовалось минут десять. Они так хохотали, столько раз падали и вставали, что, преодолев наконец лестницу, совершенно выбились из сил.

Шели открыла дверь. Эта комната оказалась поменьше других. Пол здесь тоже был весь в щербинах, и с потолка так же свисали непонятные резиновые трубки и электропровода, но у стены, затянутой пестрой тканью с мексиканским узором, стояла аккуратно заправленная кровать, на кровати лежала книга «Птица души».<sup>[28]</sup> Под окном примостилось что-то вроде тумбочки: полка на красных кирпичах, а на ней — несколько цветных камешков, толстая красная свеча и жмущиеся одна к другой книжки. Глаза Тamar жадно обежали всю эту роскошь.

— «Приятны ли вам эти комнаты»? — с улыбкой спросила Шели.

---

<sup>28</sup> Небольшая поэма израильского писателя и поэта Михаэля Снунита, обращенная к детям, но ставшая популярной и среди взрослых.

— «По правде? Комнаты мне вовсе не кажутся приятными», — цитатой ответила Тамар и увидела, как ликующе вспыхнули устремленные на нее глаза.

— «Что ж, не посидите ли вы с нами?»

— «Непременно посижу, весьма охотно! — улыбнулась Тамар. — Ибо соседи хороши».

Шели ответила широкой, как объятие, улыбкой.

— Добро пожаловать в ад. Чувствуй себя как дома. Сколько времени ты уже не там?

— Не где?

— Не дома.

Тамар на миг заколебалась. Шели была такой радушной, что она чуть не поддавалась соблазну рассказать ей всю правду.

— Эй, эй, здесь тебе не полиция! Ты вовсе не обязана ничего рассказывать, — рассмеялась Шели.

Но Тамар заметила, что блеск в ее веселых глазах слегка померк. А ведь она как раз хотела рассказать. Тамар вдруг почувствовала, что эта ужасная тайна просто душит ее. Но у нее не было выбора.

— Шели, не обижайся, мне нужно немножко времени, чтобы очухаться.

— Take your time, baby,<sup>[29]</sup> мы тут надолго. По моему скромному мнению, на всю жизнь.

Тамар, начавшая расстилать одеяло на своем матрасе, замерла:

---

<sup>29</sup> Не спеши, крошка (*англ.*).

— Почему на всю жизнь?

Шели улеглась на свою кровать, закурила и положила ноги на железную спинку.

— Почему? Почему? — Шели выпятила губы, пуская дым к потолку, вдоль и поперек исполосованному трещинами. — Радиослушательница Тamar из Иерусалима спрашивает «почему?». И действительно — почему? А почему моя мамочка решила в сорок пять лет выскочить за этого мерзавца? И почему мой настоящий папочка умер, когда мне было семь лет? Разве так хорошо поступать? И почему клопам нравится жить в матрасах?

Она хлопнула себя по загорелому бедру.

— Нет, правда. — Тamar подошла к ее кровати. — Почему... почему ты сказала, что это на всю жизнь?

— Ты что, боишься, а? — сочувственно спросила Шели. — Ничего, сперва все так... Я тоже. Все думают, что пришли сюда на недельку-другую, как в лагерь для художественно одаренных детей. Все эти милые детки, которые ненадолго удрали из-под мамочкиной юбки. Потом остаются. Все время остаются — даже когда сбегают, то в конце концов возвращаются. Это засасывает. Трудно объяснить тому, кто только что пришел. Это вроде такого кошмара, из которого невозможно вырваться.

Тamar опустилась на свою кровать.

— Я тебе не завидую, — сказала Шели и уселась, широко расставив ноги. — Ты еще на том этапе, когда это болезненно, когда тоскуют по дому. Вдруг чем-то запахло, и вспоминается глазунья, которую готовила мама, с тоненько нарезанным салатом, верно?

Тамар опустила голову. Какой уж там салат. Когда мама в последний раз заходила на кухню? Когда в последний раз произнесла хоть одну фразу, которую Тамар не смогла бы угадать заранее и которая не походила бы на реплику из очередного сериала? Когда она вообще *присутствовала*, присутствовала по-настоящему, не прячась под слоем жалости к себе, не оплакивая всем своим видом и каждым движением свой горький жребий, обрекший ее на эту семью? Когда она отстаивала свое мнение перед Тамар или перед отцом? Когда, черт возьми, она на самом деле была *мамой* «*всем этим Тамар*», как она ее называла с деланным вздохом? Да-да, «*всем этим Тамар*», непоседливым и переругавшимся между собой? А отец... Тамар ощутила острый укол тоски и на какой-то миг очутилась с ним наедине — на одной из их ночных прогулок. Только они двое, в молчании, быстрым шагом, час или полтора. Отцу требовалась куча времени, прежде чем он соглашался ради нее расстаться со своей ребяческой заносчивостью и фальшью, прежде чем прекращал дразнить ее и перебивать каждую ее фразу очередным едким замечанием. И лишь тогда Тамар оказывалась лицом к лицу с человеком, которого отец методично и жестоко заталкивал как можно глубже внутрь себя. Тамар вспомнилось, как однажды, около года назад, отец коснулся ее руки, прежде чем они вошли в дом, и торопливо сказал: «С тобой говорить — все равно что с мужиком». Она поняла, что из его уст эти слова — самая большая похвала, и удержалась, чтобы не спросить, почему у него нет ни одного друга, ни одного мужчины, которому он мог бы высказать все.

— У меня, слава богу, все уже позади, — откуда-то издалека донесся голос Шели. — Я их стерла начисто.

Обоих. По мне, так пусть сдохнут. Сейчас я сама себе мамочка с папочкой. Да я, между прочим, — целое родительское собрание!

И, запрокинув голову, она огласила комнату звонким смехом, который на этот раз прозвучал как-то уж слишком громко. Отсмеявшись, Шели нервно порылась в одном из своих рюкзаков и вытащила новую пачку «Мальборо».

— Тебе сигареты не мешают?

— Нет. А тебе не мешает собака?

— А с чего бы ей мешать? Ее Динка зовут? Ну пусть будет Динка. Это не в честь Алисиной кошки из «Страны чудес»?

Тамар улыбнулась:

— Ты второй человек на свете, кто догадался.

Первым, понятное дело, был Идан.

— Нечего так пялиться, — сказала Шели. — Если бы я в этом году сдавала на аттестат зрелости, то уж точно сделала бы упор на литературу. Иди сюда, Динка! — Она вытянула губы трубочкой, почмокала, и Динка подошла к ней, словно они были старыми друзьями. — Иди к мамочке, к мамочкиной мамочке и к мамочкиному папочке...

Шели закурила, выпустила дым в сторону из уголка рта.

— Что за глаза у нее, — прошептала она. — Все-то она понимает.

И вдруг зарылась лицом в собачью шерсть. На несколько минут в комнате все замерло, только у Шели

слегка подрагивали плечи. Динка встала. Тамар отвела взгляд к окну. Сквозь рваную занавеску в комнату проникали косые полосы света. Тысячи пылинок безостановочно кружились в них. Шели перевернулась на кровати и уселась спиной к комнате.

— Это заразно, — наконец сказала она чуть надтреснутым голосом. — Когда появляется новенький, от которого еще домом припахивает, вдруг и на тебя накатит, прям всю изнутри проест!

Какое-то время Тамар сидела на кровати, шевеля большими пальцами ног, потом боязливо, украдкой вытянулась во всю длину, ощутив все ямы и бугры матраса, колкость грубого одеяла.

— Поздравляю! — сказала Шели. — Это здесь самый тяжелый момент, как в море войти, когда вода тебе сама знаешь куда попадает.

— А скажи, — спросила Тамар, — почему почти никого нет в комнатах?

— Так ведь все выступают.

— Где выступают?

— По всей стране. Поздно вечером потихоньку начнут возвращаться. Некоторые пару дней проводят на выезде, но потом все равно возвращаются. А уж в пятницу вечером тут все на месте. — Шели выпустила колечко дыма и, ухмыльнувшись ему вслед, добавила: — Как большая семья.

— Ага. — Тамар приняла информацию к сведению. — А как здешняя публика?

— Всякие есть. Некоторые — стоящие ребята, просто супер, ну это больше те, которые играют. Но есть

и совсем гнусь. А в основном — психи. Не то что поговорить не о чем, они тебя в упор не видят, почти все время удолбанные. А когда нет, — она махнула рукой с сигаретой, — лучше держаться от них подальше. Им только покажи слабину — живьем сожрут.

— Удолбанные? А этот... Пейсах сказал, что...

— Что тут наркота запрещается. Еще-о-о бы! — басовито протянула Шели. — Его-то за жопу не ухватишь!

— Правда?

— «Правда?» Ну и тютя же ты, я тащусь от тебя. — Шели вперила в нее испытующий взгляд. — Знаешь что, не место тебе здесь. Здесь тебе не...

Она замолчала, подыскивая слово, и задетая за живое Тамар закончила про себя: «...не то что в твоих книжках».

Но Шели не пожелала ее обижать. Она улыбнулась, стараясь поскорее перескочить через опасный ухаб:

— А кто тут сбывает этим уродам дурь по вздутым ценам, а? А кто так заботится, чтобы всегда, всегда, понимаешь, здесь не переводились трава и кислота? Может, не он? Не его бульдоги?

— Что за бульдоги?

— Мордовороты, которые развозят нас и охраняют но время выступлений. Ты еще их узнаешь, и очень хорошо узнаешь. А он как бы ни фига не в курсе, сечешь? Чистенький. Типа об искусстве думает да о том, как нас убережет от улицы да накормит бедных сироток горячим обедом, — натуральный Януш Корчак.<sup>[30]</sup> А ведь

---

<sup>30</sup> Януш Корчак (наст. имя Генрик Гольдшмит, 1878–1942) — польский педагог и

дня не проходит, чтобы они не пытались мне толкнуть товар. Тебе тоже будут предлагать. — Шели слегка повернула голову и посмотрела на Тamar: — Ну, может, и не с самого начала. Сперва проверят, кто ты такая. Слышь, а ты вообще употребляешь?

— Нет.

Тамар только однажды пыхнула во время той поездки в Арад, и все. И когда ей потом предлагали, она каждый раз отказывалась, даже не очень понимая почему. Наверное, ее внутренний мир просто отторгал чуждые ему вещества.

— Счастье твое. Я тоже — нет. У меня-то характера хватает. Даже не притрагиваюсь. Ну раз в недельку — косячок, только чтоб душу проветрить. Иногда, ну когда уж совсем, ну прям совсем дерьмово, чуток снежка, и хорош. Героин? Да пусть мне хоть миллион долларов сюда положат — не прикоснусь. С двух метров палкой не дотронусь. Спасибочки! Жизнь моя и так под откос понеслась, так я хоть в полном сознании смогу наблюдать ка-аждый свой шажок вниз.

Тамар хотелось спросить про Шая. Видела его Шели и в каком он сейчас состоянии? Жив ли вообще? С огромным трудом она удержалась от вопроса. Ведь какой бы милой ни казалась Шели, она запросто может выполнять приказ Пейсаха — раскрутить новенькую на откровенность. Подозрения эти не были ничем подкреплены, да к тому же пахивали подлостью по отношению к Шели, но за последние месяцы Тамар приучила себя подозревать всех и каждого. Хуже всего

было то, что Шели прекрасно почувствовала, как Тamar закрылась, спряталась в своей раковине.

— Но я все-таки одного не понимаю, — сказала Тamar после долгого молчания. — Что ему надо, Пейсаху этому? Что он с этого имеет?

— Искусство! — рассмеялась Шели и презрительно пустила в потолок струйку дыма. — Пейсах себе собственную частную антрепризу с персональными артистами сварганил. Он организует, он распределяет выступления, отвозит-привозит, да у него вся страна в руках. Большой босс! Импресарио-писсуарио! Он все это обожает. И не забудь, что денежки текут рекой.

— Это как?

— Денежки. — Шели пошелестела воображаемыми купюрами, нарочито облизнулась. — Бабки, тугрики, фунтики, динарики...

Тamar, на мгновение забыв о своей тоске, рас-Имеялась.

— Но это ведь не... здесь наверняка что-то еще есть, а? Иначе зачем все это? — Тamar обвела рукой бывшую больничную палату. — Быть не может, чтобы все это он затеял ради нескольких шекелей, которые мы зарабатываем. Разве такое бывает?

Ведь даже если Пейсаху нравилась роль «маленького преуспевающего ублюдка», то и тогда в головоломке не хватало какого-то важного звена. Как-то не связывались затраты и доходы. Было какое-то несоответствие между размахом дела, между этим огромным домом, между паутиной, опутавшей всю

страну, и размерами прибыли, которую Пейсах мог выгрести из шапок, лежащих на уличных тротуарах.

Шели помолчала, сжав сигарету губами.

— Сейчас, когда ты говоришь...

Она хмыкнула, и Тамар внезапно ощутила недоверие.

— Ты что, никогда об этом не думала?

— А я знаю? Думала, не думала... какая разница? Может, сперва думала. Факт. Сперва до фига думают. Винтики-шпунтики крутятся в башке как заведенные. А потом забываешь, втягиваешься. — Шели свернулась в комок, вся сжалась. — Встаешь утречком, и тебя волокут на шоу. Два выступления, десять выступлений. За один день успеваешь поработать в Тель-Авиве, Холоне, Ашкелоне, в Нес-Ционе, в Ришоне. Стараешься не слушать этих уродов, этих его цепных псов. Когда они пасть распахивают, хочется немедленно позвонить Дарвину и сказать ему: «Сэр, вы крупно ошиблись, человек не произошел от обезьяны, а деградировал в нее!»

Шели почесала под мышкой, поймала воображаемую блоху, повертела ее перед глазами и щелкнула зубами.

— Пару раз в день тебе покупают какую-нибудь жратву. Хаваешь на улице, в вонючей подворотне или в машине. Спишь там же. Потом тебя будят. Выступаешь, понятия не имея, где ты — в Бат-Яме или Натании. От говна говна не ищут. Все улицы и площади похожи одна на другую. Пипл везде одинаковый, всех пацанов зовут Дан, всех девок — Ифат, кроме русских, конечно, — эти все Жеки да Машули. А все прочие — просто безымянные

скуперфильды. Позавчера мне один козел, представляешь, бросил в кепку двадцатишекелевую бумажку и полез выгребать пятнадцать шекелей сдачи. Только чудом я не врезала ему хорошего пинка. Ну вот, после нескольких таких деньков ты уже не разбираешь, утро у тебя или вечер, приезжаешь ты или уезжаешь. Заканчиваешь свое шоу, аплодисменты, премного благодарна, собираешь денежки и гребешь на стрелку, где тебя уже ждет тачка, или наоборот — ждет кого-нибудь другого в другом городе, вот и жаришься пару часов на солнышке.

Лицо Шели стало жестким, ненавидящим и каким-то чересчур взрослым.

— Наконец тачка приезжает, этот твой лимузин, «ламборджини», «мазда», «субару» траханая. Влезаешь в нее тише воды ниже травы и дрыхнешь еще часок, чтобы отмазаться от базара про теорию относительности с этой сарделькой за баранкой. К концу дня уже ни фига не помнишь: где была, что делала и как тебя звать. А когда тебя привозят к ночи, едва хватает силенок, чтобы проглотить это сгоревшее на хрен пюре мамочки Пейсаха, заползти в свою нору и впасть в спячку. Вот видишь, — Шели широко улыбнулась и отвесила поклон, — самая настоящая шикарная житуха мегазвезды.

Тамар долго молчала, чувствуя, как одеревенели суставы, будто под ударами, которые еще только ожидают ее.

— А как же ты тут сегодня?

— Сегодня, — рассмеялась Шели, — ко мне приходила инспекторша из полиции, такая, знаешь, старперша со значком, считающая, что после тостера она

— величайшее изобретение Господа Бога. Зато у меня разок в месяц есть выходной — чтобы выслушать все эти «Ну скажи мне, Шели, почему ты не хочешь помочь нам помочь тебе?».

— А что ты такое сделала, раз тобой интересуется полиция?

— Что я сделала? Ты лучше спроси, чего я не сделала! — Шели смущенно хихикнула. — Ну ва-аще... сразу видно, что ты новенькая. Здесь у нас таких вопросов не задают. Здесь ждут, чтобы тебе сами рассказали. Не рассказывают — не спрашивай. Ну, раз ты уж спросила... так я тебе отвечаю: я никого не замочила, кроме нескольких пачек «Мальборо», которые законно экспроприировала. Ну как, ты еще не свалилась с кровати?

— Нет. Так ты что, украла сигареты?

— В первый же день, как сбежала из дома, у меня свистнули кошелек. Еще на центральной автобусной станции в Холоне. А я без сигарет тут же, на месте, могу копыта откинуть, это тебе не жрачка и не водичка. Откуда мне знать, что у них там телекамеры, сыщики и прочая бодяга?

Динка залаяла. На них упала широкая тень. В дверях, целиком заполнив проем своим телом, стоял Пейсах. Тamar содрогнулась при мысли о том, что он слушает их уже несколько секунд. Чтобы пройти в комнату, Пейсаху пришлось пригнуть голову. Глаза с неприязнью изучали девушек.

— Уже клуб тут мне организовали? — рявкнул он.

— А чего, нельзя? — возмутилась Шели.

Он принялся.

— Придержи язык! Да смотри не сожги матрас!

— А чего? Тебе что, и клопы понадобились? Стоп-стоп! Ну да, блошиный цирк, как у Чарли Чаплина!

И Шели изобразила, как блоха скачет с одной руки на другую.

— Ты... — Пейсах прислонился к стене и потерся о нее каким-то скользящим движением, от которого у Тamar почему-то вдруг свело живот. — Ты никогда ничему не научишься, да? — Пейсах говорил очень медленно, почти по слогам. — В один чудесный день, прекрасная моя леди, в один чудесный день ты вот на столечко пережмешь, — он показал на пальцах, — и сразу окажешься в оч-чень неприятном положении. Оч-чень, оч-чень неприятном.

Вот теперь Тamar отчетливо увидела, как добродушный мишутка обернулся матерым диким медведем с мощными когтями. Она с изумлением подумала, что даже кожа на его лице задубела.

— Ну так чего ты тянешь? — вздохнула Шели и, к восхищению Тamar, повернулась к Пейсаху спиной.

— Поверь мне, что до этого оч-чень недалеко, уже оч-чень, оч-чень недалеко. В один прекрасный день мое терпение лопнет, и мы тогда полюбуемся на твое геройство. Как тогда, помнишь? Помнишь, как приползла ночью вся в кровящи и в синяках, умоляя, чтобы тебя взяли назад? Помнишь иль подзабыла?

Шели сосредоточенно следила за колечками дыма, плывущими к потолку.

— Так что сиди и не вякай, не порти мне новую девку. Вы бы лучше спустились на кухню помочь с ужином.

— С пюре, — поправила Шели.

Пейсах злобно зыркнул на нее и вышел.

— Ты его совсем не боишься, — изумилась Тamar.

— А что он со мной сделает? Я ему позарез нужна.

— Почему?

— Да ты знаешь, сколько я ему каждый день приношу? Уж не меньше пятисот шекелей.

— Пятьсот? — Тamar потрясенно помолчала. — Одним пением?

— Я не пою, — рассмеялась Шели. — Я пародирую. Такое комик-шоу, в основном певичек изображаю.

— Так почему ты не работаешь сама? — спросила Тamar. — Почему ты должна отдавать ему деньги?

— Потому что в одиночку на улице — не канает. Денька два-три еще ладно. Тебя только проверяют издали. Проверяют, не подсадная ли ты случайно. А уж потом начинается настоящий мрак. Ты уж мне поверь, я пробовала. Слыхала, что он рассказывал? Я на четвереньках приползла.

Тamar на минуту задумалась, а потом попросила:

— Покажи Риту.

— Тебе, что ли? Как бы персонально? А чего, ноу проблем!

Шели соскочила с кровати, набрала полные легкие воздуха. Тamar невольно улыбнулась.

Шели показала Риту, Мадонну, а под конец и Ципи Шавит с ее «Все ушли на праздник». Петь она не умела, Идана бы просто стошнило, но у нее был радостный, искристый талант, здоровая, не оправдывающаяся грубость, и Тамар хохотала до слез, успев подумать, что с Иданом и Ади она всегда смеялась совсем другим, рассудочным смехом. А потом Шели утомилась и мгновенно вырубилась — попросту растянулась на своем матрасе, сказала: «Ночь», накрылась с головой и тут же заснула.

Тамар посидела на краешке кровати, немного ошеломленная столь стремительным расставанием. Потом кивнула Динке и шепнула: «Пошли». Надо спуститься на кухню — и чтобы Пейсаха лишний раз не раздражать, и чтобы начать осваиваться в этом доме.

На следующее утро Тамар разбудили в шесть часов. Худой парень с густыми бачками грубо растолкал ее:

— А ну, вставай! Через полчаса двигаем.

Ей казалось, что она не спала всю ночь. До трех то и дело поглядывала на часы, все прислушиваясь, не открываются ли наружные ворота: а вдруг он приедет поздно ночью, может быть, он выступал сегодня в каком-нибудь отдаленном городе? И вот уже утро, и нужно влезать в одежду. Тамар замерла, глядя на свой рюкзак — он ведь лежал не так. Она осторожно открыла клапан. Шекелевая монетка, которую она накануне положила между двумя носками, исчезла. Монетка обнаружилась на дне рюкзака, и Тамар поняла, что ночью, после того как она все-таки заснула, кто-то рылся в ее вещах. Хорошо, что те пять доз она спрятала в

колготках, а браслет со своим именем оставила в камере хранения.

Шели все еще спала, свернувшись в тугой клубок, — наверное, представляла себя во сне хрупкой малышкой. Глядя на нее, Тамар вспомнила, как Шели отнеслась к ней, как легко и естественно позвала к себе в комнату и как смешила, не обращая внимания ни на ее подозрительность, ни на зажатость. А ведь есть люди, которым со мной легко, думала Тамар, завязывая шнурки.

Вместе с Динкой она спустилась на первый этаж. Там уже вертелся кое-кто из тех, кого она видела за ужином. Коридор был полон суеты. Пейсах прохаживался между парнями и девчонками — прямо как полководец перед битвой. В руках он держал большой красный блокнот.

— Ты, — он ткнул пальцем в разбудившего Тамар тощего как скелет парня с бачками и стрижкой под Элвиса, — этого самого с палками берешь в Натанию. Полчаса на мидрахов, возле старого почтамта, знаешь? Там, где раньше был кинотеатр «Шарон»? Ладно, потом рвете когти в Кфар-Сабу, на площадь перед торговым центром, там он свои дела заканчивает, и вы руки в ноги — в Герцлию, к этому, как там его, «Дом гражданина», что ли? С клумбой еще? Ну так слушай меня: вы туда прибываете в двенадцать тридцать и ни минутой позже, усек? Далее, ты там с ним остаешься двадцать пять минут, не больше. Кому нужно больше? Сколько времени можно хромать на ходулях? А оттуда ракетой мчишь его на площадь Ордеа в Рамат-Ган. Сколько набралось у тебя? Четыре? Мало. Погоди минутку.

Пейсах потыкал в кнопки мобильного.

— Хеми, слышь, Хеми, до которого часа ты со своей девкой в Герцлии, у «Дома гражданина»? Сколько? Да зачем, сколько времени ей нужно, чтобы вытягивать свои платки из носа? Понял. Слышь, мне энто не подходит. Иллюзионизъм не иллюзионизъм, а вы оттуда сматываетесь ровно в двенадцать, ни секундой позже! Почему? По кочану, потому что в полпервого я туда забрасываю другого, а мне нужно хоть полчаса передыха. Почему? Ты еще не знаешь почему? Ну, просек? Bravo. Ну так и не возникай. Ехай, давай!

Примерно так же он разобрался и с остальными выступлениями — распределил ребят и приставленных к ним шоферов, и каждому напомнил, что ему нужно взять, и догнал шпагоглотателя, как всегда забывшего свой баул со шпагами, и велел девушке, специалистке по воздушным шарикам, завести какую-нибудь музычку, а то клиент любит, чтоб его между делом развлекали, и потрепал по плечу бледного юношу со скрипкой, сказав ему, чтобы тот постарался хоть разочек в час улыбнуться, ведь клиента воротит от похоронных харь. Коридор постепенно пустел, пока Тамар не осталась почти одна, она даже испугалась, что придется ей провести целый день в этом мрачном месте.

— Теперича ты, тебя мы пошлем в Хайфу. Мико, греби сюда. У тебя сегодня вип-пассажирка. Прежде всего забрось ее на Мерказ А-Кармель и найди ей там хорошенькое местечко, потому что она сегодня впервые выступает не в Иерусалиме. К тому же она у нас примадонна, — Пейсах подмигнул водиле, — так что ты с ней поделикатней, понял? А потом кати ее в Неве-Шаанан, в энто, как его, «Центр Зив»...

Пейсах все говорил, но Тамар уже не слышала его. Она умела отключаться от внешнего мира, когда тот начинал ее раздражать. Ее маму это страшно бесило.

— Куда ты деваешься, когда ты вот так? — кричала она.

— Что «вот так»?

— Когда ты делаешь каменную физиономию, когда твои глаза делаются как я не знаю что, как под пленкой, как у попугая!..

— А если останется время, завернете в Зихрон, на обратном пути, тоже высадишь ее у мидрахов, — услышала Тамар далекий голос Пейсаха. — Сколько примерно занимает твое шоу, милая? Эй, ну-ка проснись! Куда ты провалилась?

Тамар ответила, что примерно полчаса.

— А как насчет четверти? Ну ладно. Сегодня наслаждайся полчаса, я хочу, чтобы ты чувствовала себя хорошо. А завтра будем поглядеть. Все. Четыре выступления. Для затравки хватит.

Мико был тем самым парнем, который доставил ее сюда вчера. Не говоря ни слова, он направился к «субару», и Тамар последовала за ним. Она не знала, где ей положено сидеть — рядом с водителем или сзади, но уселась на заднее сиденье, решив, что так он почувствует себя таксистом. Ей ведь не жалко. Динка высунула голову в окно и с наслаждением вдохнула прохладный воздух.

Тамар рада была вырваться из Иерусалима, оказаться в движении, в дороге. У нее даже появилось легкое ощущение собственной важности — так известную

певицу личный шофер везет на концерт. Она мысленно махала рукой толпам почитателей, выстроившимся вдоль дороги, бросала им орхидеи из своего огромного букета.

Ехали они в полном молчании. Тамар недоумевала, когда же Мико наконец объяснит ей, что и как она должна делать. Но Мико не открывал рта, только без передыху терзал свой мобильник, и обрывки пронзительных мотивов сменяли друг друга. Без малого час перебирал он звуковые сигналы, у Тамар уже лопалась голова от этой какофонии. Пару раз она пыталась спросить о чем-то, но Мико не обращал на нее внимания. Когда Тамар было шесть лет, они жили рядом с железной дорогой, и мир для нее делился на две части: на тех, кто отвечает маленькой девочке, машущей вслед уносящимся вагонам, и на тех, кто не отвечает. Мико явно относился к последним. Иногда он поглядывал на Тамар в зеркальце. У него были темные, злые глаза, и он явно ненавидел Тамар, а почему — она не знала, а в какой-то момент это и волновать ее перестало.

— Слушай, — вдруг грубо сказал Мико. — Таким, значит, образом. Я паркуюсь возле центра. Ты вертишься минут десять и начинаешь. Если заметишь меня среди публики, то виду не подаешь, а если кто спросит, ты про меня ни сном ни духом. Приехала в Хайфу вчера вечером на автобусе. Ночевала на автобусной станции. Ни с кем не говорила. Ясно?

Тамар кивнула, не глядя на него.

— Кончила петь... ты ведь поешь?

— Кончила петь, берешь деньги и вертишься минут пять-десять, не больше, и только на маленьких улочках, на главные не суешься, врубилась?

— Да.

— Прошло десять минут, топаешь к машине. Врубаешься?

— Врубаюсь.

— Еще: если засечешь легавого или чего подозрительное, то к машине ни-ни. А если меня увидишь — топаешь мимо, как не родная. Только если все чисто на все сто, тогда залезаешь. Вот так.

Они свернули на тихую узкую улицу, спускавшуюся к морю. Невысокие домики прятались в тени кипарисов и сосен. Мико припарковал машину и даже не забыл пробить парковочный талон — дабы с полицией не связываться по таким пустякам.

— Значит, так, запоминай: это Кипарисовая улица. На углу — супермаркет и спортзал. Не перепутай. А теперь вали!

И под это доброе напутствие Тamar вылезла из машины.

Взяв первые несколько нот, Тamar поняла, что охрипла. Пришлось прерваться. Тamar перепугалась: похоже, она собирается все испортить. Когда голос вернулся, она подумала, что очень нехорошо так насиловать голос — начинать петь, не разогрев его. Со временем это скажется. Но какое отношение это «со временем» имеет к ней, к Тamar? Ведь она существует только здесь и сейчас. Тamar спела «Увенчай свое чело» и «Храни свою душу», и пение ей совсем не понравилось. Песня существовала отдельно, а ее голос отдельно. Тamar снова забеспокоилась. Вдруг Мико наступит

Пейсаху и тот вышвырнет ее вон? Ее бесила мысль о том, она может зависеть от оценки какого-то Мико! К тому же Тамар прекрасно знала, в чем причина неудачи: в Иерусалиме она погружалась в уличную жизнь и потому пела свободно, радостно, хотя и на мгновение не забывала о своей цели, а здесь, когда за спиной ворочалась империя Пейсаха, она чувствовала себя канарейкой в клетке.

Под конец Тамар спела «Лос бильбиликос», безыскусная теплая мелодия чуть подняла ей настроение, и тут же люди вокруг заулыбались. Знакомый восторг заструился в ней, и Тамар спела сверх программы еще и «Марионеток» Леи Гольдберг. Голос ее взмывал и кружил над улицей:

В одеянье чуть банальном,  
На балконе карнавальном,  
Где фонарь забыл случайно  
Яркий свет пролить на это,  
Повстречались (кто узнает?),  
Он поет, она внимает,  
Он Пьеро, она Пьеретта.

Тамар улыбнулась глазами босому пареньку, который стоял напротив, всем существом впитывая ее голос. А тот прямо вздрогнул от ее улыбки и потянулся к ней всем телом. Тамар чуть округлила глаза:

Может, это не Пьеретта,  
Просто в розах-маргаритках

## Куколка-марионетка, И ведут ее на нитках?

Публика восторженно аплодировала, потребовала еще, но петь на бис не хотелось. Тамар рвалась двинуться в путь — дабы понять, во что угодила, в каком спектакле она участвует и какая именно роль отведена ей.

Когда она закончила петь, босой парнишка, почти мальчик, с горящими глазами, тонкий и томный, в галабие,<sup>[31]</sup> с бусинами в волосах, сказал, что она просто обязана немедленно поехать с ним в Галилею. Там есть одна пещера с божественной акустикой, будто специально созданная для ее голоса, и он просто обязан услышать ее там. Когда мальчишка произнес «пещера», Тамар на миг увидела свою пещеру — с матрасом, складным стулом и гитарой у стены. Кто знает, удастся ли ей когда-нибудь туда добраться. Кто знает, удастся ли привести туда Шая. Тамар вежливо улыбнулась пареньку и отрицательно покачала головой, но тот не унимался:

— Да ты только взгляни!

Внезапно он ухватил ее за руку выше локтя и начал гладить:

— Бог создал ее нарочно для твоего голоса. Ну же, зайка, спой мне там только одну песенку...

Тамар с силой отпихнула его руку:

— Отвали, кому говорю!

---

<sup>31</sup> Галабие — арабская длинная рубашка.

Ее серо-голубые глаза сделались стальными. Мальчишка взглянул на нее и, что-то разглядев, отпрянул и исчез.

Тамар какое-то время побродила по боковым улочкам, чувствуя себя арестантом, бредущим по этапу из одного острога в другой. Люди торопились по своим делам, разговаривали, проезжали машины — обычная, повседневная жизнь. Казалось, достаточно протянуть руку, чтобы дотронуться до нее. Но Тамар видела все как будто сквозь стекло.

Мико даже не взглянул на нее. Она протянула ему пакет с деньгами, он взвесил его в ладони.

— Все?

— Все, что дали, — ответила Тамар и тут же разозлилась на себя: с чего это она перед ним извиняется?

— Смотри, если кусочничаешь, тебе копец. Уж мы-то проверим.

— Я ничего не взяла, — тихо сказала она и продолжала смотреть ему в глаза до тех пор, пока он не отвел взгляд.

Машина тронулась, и молчание больше не прерывалось. Тамар пыталась понять, что здесь происходит. Пейсах утром объяснял кому-то, что ему нужен получасовой промежуток между выступлениями. Зачем? Во время пения она видела, как Мико прохаживается среди слушателей. От кого он должен ее защищать и почему так боится полиции? Когда этот парень из галилейской пещеры приставал к ней, Мико не пришел ей на помощь. Так в чем же его роль? Никакой логики в этом не было. Ну привезли ее в Хайфу,

предупредили, запугали, она попела, ничего особенного не произошло, и теперь ее везут на другое выступление. К чему все это?

Тогда она призвала на помощь отца. Пусть хоть немного поможет. Доходы против капиталовложений, рентабельность, прибыльность, все эти его мантры, все эти слова-панцири, за которыми он прячется. Она вспомнила пятьсот шекелей, которые Шели зарабатывает ежедневно. Ну, предположим, не все зарабатывают так, как Шели. Допустим, в среднем каждый из артистов приносит... Она принялась высчитывать. Запуталась. Числа всегда сбивали ее с толку. Все ее нутро возмущалось против цифр. Тamar закрыла глаза и взялась за подсчеты заново. Потом помножила на число ребят, которых видела утром. Получилось примерно десять тысяч шекелей в день. Ничего себе, целая куча денег. Но чего-то по-прежнему не хватало.

Выступление у «Центра Зив» тоже прошло благополучно. Там она пела еще хуже, целиком погруженная в гложущую ее загадку, и тем не менее публика пришла в восторг. Необъяснимо. Все эти овации лишь доказывают, сколь велик разрыв между ее собственным ощущением и чужим восприятием ее пения. Правда, эту, очень характерную, оскомину, остававшуюся после неудачного выступления, Тamar знала прекрасно. В такие минуты выплескиваемая на нее любовь лишь подчеркивала ее внутреннее одиночество и чувство, что никто ее не понимает.

Как Шай сказал года два назад, после какой-то халтуры, «иногда гораздо оскорбительнее, когда тебя любят по ошибке, чем когда ненавидят по делу».

Люди подходили и взволнованно жали ей руку, расспрашивали и выражали тревогу, и ей было приятно, что за нее вот так беспокоятся.

И еще там был полицейский. Далеко, в сторонке. Но он был занят каким-то дорого одетым господином, который взволнованно что-то говорил и ожесточенно размахивал руками, — судя по всему, повествовал о каком-то ужасе, случившемся с ним. Полицейский слушал, что-то записывал и на Тamar ни разу даже не оглянулся.

— На этот раз чуть получше, — вырвалось у Тamar, когда она передавала Мико деньги.

Потом всю дорогу она истязала себя за эту фразу, сгорая от стыда, что так старается его ублажить. Что получше, что? Что денег больше заплатили? А если денег заплатили меньше, так ты меньше стоишь? Меньше, чем Шели? Подхалимка...

Впервые с тех пор, как она вышла на улицу, Тamar поняла, что торгует собой — в самом буквальном смысле. Она поклялась себе, что никогда, никогда больше не станет извиняться за скудный заработок. Ни перед Мико, ни перед Пейсахом, вообще ни перед кем на свете. Она выпрямилась на сиденье машины и вздернула подбородок. И тут же вспомнила Теодору. Ее занятие, ее призвание — петь, твердо сказала себе Тamar, все прочее — не ее дело.

На хайфском променаде Бат-Галим она спела португальскую песню «Как сладко в море умереть». Прежде Тamar почти не работала над этой песней, и тем не менее, увидев море, она тут же услышала мелодию

внутри себя и, подхваченная ею, свободно и уверенно, точно опытная певица, спела песню, а потом, резко сменив темп, со знакомым ей наслаждением слаломиста, выдала лихую «Бени, Бени, сорванец». Ее руки взвивались, как языки пламени, и Тамар приплясывала, рубя воздух с таким ожесточением, какого никогда не позволяла себе на вечеринках. На несколько минут она стала Рики Галь — с ее бьющим ключом жизнелюбием, раскованностью и нимбом светлых волос, взлетающих к облакам лилового дыма... Парень с девушкой, немногим старше, чем она сама, быть может солдаты в увольнении, начали с азартом танцевать рядом с ней. И Тамар пела для них, заводя их и себя, наконец-то она смогла ухватить то, чему Алине не удавалось научить ее в течение нескольких лет, — не бояться чужого воодушевления, не тарашиться в пространство за спинами слушателей, словно она не имеет никакого отношения к тому, что с ними вытворяет. За время уличных выступлений Тамар научилась не пугаться реакции публики, научилась без колебаний смотреть им прямо в глаза, улыбалась им, и уже не однажды, безо всякого стеснения, она пела для какого-нибудь человека в толпе, для человека, который ей понравился и который мог, как казалось ей, по-настоящему понять песню. И Тамар в упор смотрела на него и даже чуть заигрывала с ним, порой чувствуя, что своим сверлящим взглядом не на шутку смущает беднягу.

А теперь ее еще возбуждала мысль о том, что каждый из них гадает, кто она такая, откуда взялась, какая история стоит за ней. Это тоже было совершенно новое чувство — ничего общего с выступлением в хоре, среди девочек-паинок в одинаковых костюмах. На улице Тамар чувствовала — всем телом, всей кожей

чувствовала, — как люди пьются на нее, роются в ней, примеряют к ней истории и приключения. Может, она сиротка, вынужденная пением добывать себе на хлебушек. Или будущая рок-звезда из английского городишки, втюрившаяся в израильского парня, который ее, бедняжку, бросил лить горючие слезы, и теперь ей надо заработать на обратный билет. Или восходящая звезда Парижской оперы, путешествующая инкогнито по самым захолустным странам, чтобы закалить характер и набраться опыта. Или больна раком прямой кишки, а потому решила провести последний оставшийся ей год в бурных приключениях. Или проститутка, в дневные часы очищающаяся кристально-прозрачным пением...

Было что-то захватывающее в этом выступлении на берегу моря, в этих мелькающих перед глазами образах, в ее голосовой раскованности. Тамар вдруг заметила, что впервые в жизни вспотела от пения, и это ее так завело, что даже когда Мико подал знак закругляться, она спела еще одну песню, проигнорировав его злобный взгляд, — спела «Дурочку-дурочку», обнимая себя и покачиваясь в ритме волн и обманчиво-нежной мелодии, маскирующей укусы язвительных слов:

Дурочка-дурочка, дурочка-дурочка,  
Смотри, до чего ты, дурочка, дошла!  
Дурочка-дурочка, дурочка-дурочка,  
Высох твой пруд, замолчала дудочка...

В самозабвении и горькой неге Тамар слегка пританцовывала на месте:

Струнки твои тонкие,

Сны такие ломкие,  
Ты сама их там растила,  
Вот они тебя и пилят...

Когда же все разошлись, Тамар увидела, как в сторонке кружит пожилая женщина, не отрывая взгляда от асфальта, ныряя под скамейки, кусты.

— Ну вот здесь же я стояла, — забормотала она, наткнувшись взглядом на Тамар. — Может, упал? Или стащили? Но как? Скажи, ну как это, как? Я только на минутку остановилась послушать песенку, как вдруг вижу — нет, нет его!

— Кого нет? — У Тамар упало сердце.

— Бумажника со всеми деньгами и документами.

У женщины было широкое лицо с красной сеточкой сосудов по бокам огромного носа, на голове покачивался вавилон из крашенных ярко-желтых волос.

— Сегодня получила триста шекелей от босса на свадьбу моей дочки. Триста! А он таких денег никогда не дает! И вот всего на минуточку остановилась тут тебя послушать. Ой, я идиотка! Ничего, ничего не осталось!

Ее голос сорвался. Тамар протянула ей все шекели, которые накидали ей в шапку:

— Возьмите!

— Нет, нет, не надо! Нельзя! — Женщина отпрянула, жалостливо дотронувшись до руки Тамар. — Нельзя... тебе надо кушать... маленькая... такая цыпочка — и еще мне даешь? Нет, нет, нехорошо...

Тамар всунула деньги ей в руку и убежала. По пляжу она брела мрачнее тучи, а оказавшись в машине, объявила:

— Денег нет. Совсем. Было примерно семьдесят шекелей, я отдала их той женщине.

— Какой женщине? — Мико дернулся.

— Той русской, которую ты обокрал.

Воцарилась тишина. Потом Мико развернулся. Очень медленно развернулся. Она увидела его лицо перед собой — глубокую складку на лбу, короткие выющиеся волосы и тонкие губы.

И тут он ее ударил. Две пощечины — одна за другой. Сначала голова Тамар дернулась вправо, затем — влево. Динка приподнялась, угрожающе зарычала. Тамар опустила руку на голову собаки. Спокойно, спокойно.

Все вокруг нее смешалось, потонуло в вязкой тишине, мир рухнул и тяжело сомкнулся. Она поняла, что они уже едут и пейзаж за окном проносится мимо. Увидела напряженную мускулистую спину Мико, изо всех сил сжала губы и напрягла мышцы живота, но слезы все равно покатались по щекам. Тамар не вытирала слезы, отрекаясь от них.

**Дурочка-дурочка, ты этого хотела:**

**Все, что было мягкого в тебе, затвердело.**

Снова и снова повторяла она про себя эти слова, они слились в единый, заполонивший всю ее звук, а потом взорвались сиреной. Снаружи ничего не было слышно, Тамар замкнулась, заперлась в себе, отбросив мир вокруг, все это нагромождение ужасов. Она сбежала.

Но никто не заметил ее бегства. Она сбежала в просторную комнату, к роялю и Алине. Единственное убежище, где она могла укрыться. Маленькая Алина в сползающих с длинного носа очках, сжав руку в крошечный и решительный кулачок, приказывает направить голос в кончик большого пальца, к покрытому красным лаком ногтю.

«Ля-а!» — тянет про себя, старательно сосредоточившись, Тамар.

«Ля-а! — выводит напротив нее Алина. — Мой ноготь еще совсем не чув-ству-ет те-бя!»

«Ля-а!»

«Еще больше ре-зо-нан-са...»

И это помогает, беззвучные ноты приводят в движение прочие звуки, которые начинают струиться в ней, точно горячая кровь, успокаивают, напоминая о мире, к которому она в действительности принадлежит и где она — единое целое.

Минуту спустя Тамар почувствовала, что глаза Мико сверлят ее в зеркальце.

— Ты это слово последний раз вякнула. Врубилась? Последний раз даже подумала его в тупых мозгах своих. Ты должна Пейсаху семьдесят шекелей, это ты с ним сама разбирайся. Но еще раз такое ляпнешь — с приветом, туши свет. Родная мама не признает после того, как я с тобой поговорю.

Дальше они ехали в глухом молчании. От затрецин у Тамар разламывалась голова, внутри все вопило, щеки пылали от ударов и от стыда. Лет десять, наверное,

никто ее не бил. В детстве мама иногда раздражалась и шлепала, но отец всегда спешил встать между ними. А однажды, когда мама особенно сильно вышла из себя (Тамар уже не помнила, что такого она тогда натворила) и гонялась за ней по всему дому, она услышала, как отец кричит из своего кабинета: «Только не по лицу, Тельма!» — и посреди ужаса погони ее накрыла теплая волна благодарности к отцу.

Теперь она подумала, что, возможно, он просто боялся, что на лице останутся следы.

Этот его вечный великий страх: как бы кто-нибудь не заметил.

Тамар заставила себя не думать о случившемся, она знала: там, где мысли, там и слезы. Она снова сконцентрировалась на цифрах: если Мико при каждом ее выступлении ворует два-три кошелька, если у нее каждый день четыре или пять выступлений, а будут и дни с десятью выступлениями, и если в общежитии двадцать или тридцать ребят, а то и пятьдесят... если в каждом кошельке от ста до двухсот шекелей... а иногда, может быть, тысяча, — голова у нее закружилась. Мелкий удачливый ублюдок. Возможно, и не такой уж мелкий. У нее получалось десятки тысяч в день. Нереально! У Тамар взмокли ладони. Она попыталась перевести нереальные цифры на более понятный язык: Пейсах Бейт Галеви за полчаса загребают больше, чем ей удалось заработать за год у щедрой Теодоры.

В Зихрон Яаков они приехали к пяти часам. Тамар была выжата и измучена. Она с трудом вылезла из машины, не представляя, как встанет перед незнакомыми людьми, как удержится от слез, как споет.

Но она все-таки вылезла. Шоу должно продолжаться. И Мико, Пейсах, вся эта мерзость тут ни при чем. У тебя выступление, так будь любезна, соберись. Ты обязана выступать в любом состоянии. А если у тебя нет сил петь от себя, то сделай это от имени Алины, она не простит себе, если ты сейчас сдашься. «Актер, который дома поскандалил с женой, он, по-твоему, в настроении изображать Гамлета? Но он перевоплощается в Гамлета!»

Тамар потащила на пешеходную улицу, побродила там несколько минут, рассматривая витрины и свое отражение в стеклах — тощая лысая девочка с громадными глазами и ртом, сейчас напоминавшим перевернутый серп.

Она брела среди людей, среди больших и маленьких семейств. Поднимался легкий вечерний ветерок. Дети резвились, носились друг за другом, родители лениво покрикивали на них. Тамар украдкой окуналась в эти мелкие радости. Глянь, до чего ты дошла, дурочка! Все, что было мягкого в тебе, затвердело. На террасе кафе сидели молодой, очень красивый мужчина и мальчик лет пяти-шести. Мальчик попросил у отца свежий выпуск «Едиот ахронот», запутался в больших газетных листах и залился счастливым смехом, а отец терпеливо расправил газету и с улыбкой показал, как нужно управляться с непокорной бумагой.

Эти двое любили друг друга, любили с такой очевидностью, что Тамар едва удержалась, чтобы не подойти к ним и не попроситься в вечные няньки к малышу. Она ведь даже знает наизусть все песенки из «Звуков музыки»! Ее пронзила острая тоска по Нойке, по ее заразительной жизнерадостности, по ее

щечкам-персикам, по их совместным шалостям, по перевернутой кухне после их попыток сострять торт-сюрприз для Леи, по выступлениям на кровати, когда музыка гремит на полную катушку, а они упоенно корчат двух рокерш из женской тюрьмы в Огайо, а Нойке-то всего три годика! Какой кайф будет, когда ей исполнится семь лет, а потом и семнадцать! Тамар станет ей лучшей подругой, сестрой, наставницей, самым близким существом. Она тут же мысленно записала вопрос к Теодоре, один из тех, которые можно обсудить только с Тео: если человек — неважно, кто именно, — решает заковать свою душу в непроницаемый панцирь, но лишь на какое-то время — чтобы выполнить трудное задание, и неважно, какое именно, так вот, сумеет ли этот человек после выполнения своего трудного задания снова стать самим собой, выбраться из-под панциря?

Тамар медленно, волоча ноги, подошла к выбранному месту, напротив «Бейт Ааронсон», у гигантского глиняного горшка с высаженной в него виноградной лозой. Нашла для Динки удобное место, где могла бы следить за ней. А потом встала в центре воображаемого круга, который вокруг себя очертила, опустила голову, пытаюсь пропитаться атмосферой публичности. Ей было ужасно трудно, почти как в первый раз — миллион лет назад, на иерусалимской улице.

И тут неожиданно — поразившись себе, — Тамар открыла рот и запела. Голос ее звучал мощно и сильно, даже сильнее обычного, возникая где-то вне нее, за пределами всего того, что с ней происходило. Голос был столь прозрачен и чист, что не верилось, как такое возможно. Почему случившееся не задело ее голос? Первые две песни Тамар спела совершенно как в тумане, сосредоточившись на том, чтобы как-то приблизиться к

голосу, снова сделать его своим. Это было так странно. Впервые в жизни она чувствовала что-то вроде неприязни к собственному голосу, который желал оставаться чистым, в то время как она марается все больше. Почти не задумываясь, она изменила намеченную программу и запела Курта Вайля — песню, которую Алина называла «человеконенавистнической», про бедную горничную-проститутку Дженни, мечтающую о корабле с восемью сияющими парусами, который подплывет к ее городу, встанет на якорь напротив поганой гостиницы, где она работает, и огненными залпами пятидесяти пяти пушек уничтожит и город, и гостиницу, и всех тех, кто над ней измывался. Тамар уже пела эту песню раньше, но сейчас мелодия и слова с ходу и целиком захватили ее. Она пела с Мэриан Фейтфул,<sup>[32]</sup> научившей ее петь «Дженни», с Мэриан Фейтфул, пение которой так обожал Шай, особенно периода после наркотиков. Они сидели в его комнате и слушали ее прокуренный, выжженный голос, и Шай сказал, что так может петь только тот, кто на самом деле сгорел в этой жизни. И тогда Тамар с сожалением подумала, что она, видимо, никогда не сумеет, ведь что такого может произойти в ее жизни...

Руки ее ожили, на лице, том самом лице, где еще горели пощечины, снова появилось выражение. Голос тек в теле, словно кровь, оживляя своим движением руки, живот, ноги, напряженную грудь. Горячие круги расходились по телу, и Тамар в легком опьянении отдавалась им. Она пела для себя, ради себя, все это уже

---

<sup>32</sup> Мэриан Фейтфул (р. 1946) — английская рок-певица. Первые альбомы бывшей монахини были сочетанием фолк- и рок-музыки. После неудачной попытки самоубийства и проблем с наркотиками Мэриан снова появилась на рок-сцене в 1976, но ее нежный голос звучал уже хрипло и скорбно.

почти не относилось к окружающим ее людям, и они это чувствовали, а потому, вероятно, хотели заглянуть ей в душу. Но она им не поддавалась — лишь по чистой случайности все они оказались сейчас рядом. Тамар пела, перекаывая голос в самых мрачных закоулках своего естества, еще никогда не осмеливалась она вызывать голос из этих темных глубин, петь с такой отвратительной, прожженной и рычащей хрипотой. И вот сейчас она погружалась в эту тьму, замаранная и полная сдавленного рыдания, в тьму ада и одиночества, пока не почувствовала, что голос поднимается ей навстречу, рвется наружу и вытягивает ее вместе с собой — ту, какой она стала, потерявшую все, что было приобретено за последний год, и ту, что росла в ней вопреки всему.

Все новые и новые люди собирались вокруг нее. Целая толпа. Никогда еще у нее не было столько публики. Она пела уже больше получаса и не могла расстаться — не с ними, а с тем новым местом, которое нашла в себе.

Под конец она спела свое фирменное соло, которого лишилась, свое фирменное соло из «Стабат Матер» Перголези. Она решила закончить именно этими чистыми звуками, прозрачными, как хрусталь. И на этот раз никто не смеялся, и пение снова стало для нее тем единственным и безусловным, чем была она сама. Тысяча уроков не принесла ей этого знания: голос был ее местом в мире, тем домом, из которого она выходит и в который возвращается, в котором она может укрыться и надеяться, что ее будут любить за все то, чем она является, и вопреки этому.

«Если бы можно было выбирать между счастьем и хорошим пением, — давным-давно записала Тамар в

своем дневнике, — у меня нет ни малейшего сомнения в том, что бы я выбрала».

Краткое чудное мгновенье внутреннего покоя и примирения — и вот она уже пробуждается, вспоминая, где находится. Увидела кучерявую башку медленно прохаживающегося между людьми Мико и тут же постаралась взять себя в руки — ведь это ее голос сейчас заставляет кого-то из публики на миг забыть, а это означает...

Тамар чуть не захлебнулась словами «соучастие в преступлении», но все-таки продолжила петь.

Закончив, она едва не рухнула от головокружения и волнения. Заторможенно опустила шапку на землю. На минутку осела в сторонке, всем телом прижавшись к Динке, стараясь набраться от нее сил. Люди толпились вокруг нее, выкрикивали «браво». Шапка наполнилась деньгами, и впервые за всю ее карьеру туда была брошена двадцатишекелевая купюра.

Тамар сунула деньги в рюкзак, но люди не расходились, кричали вместе, в лад: «Еще! Еще!»

У нее уже не было сил, и они это видели, но тем не менее не отставали. Они знали, что уж теперь-то точно получат самое заветное. Тамар покраснела и вся сверкала, словно облитая росой. Ей опять устроили овацию, и Тамар рассмеялась. Она впервые оказалась в такой ситуации, среди возбужденной и разгоряченной публики, и это было опасно. Ведь выступая с хором, она была защищена со всех сторон, она могла не бояться, что все вдруг развалится и распадется. А в зале к тому же опускается занавес, скрывающий твое опьянение успехом. Здесь же занавеса не было. Она стояла среди них, и люди бесстыдно впитывали в себя то глубинное и

потаенное, что всплыло после ее самозабвенного пения. И столько было в этом какой-то будоражащей и сосущей силы, что Тамар на миг испугалась, не слишком ли много она уже отдала им от себя, не лишилась ли чего-то безвозвратно.

Поэтому она спела на бис коротенькую незатейливую песенку о пастухе и пастушке из французского детского репертуара. Пастушок нашел в овраге маленького козленочка и возвращает его пастушке при одном небольшом условии: если она поцелует его в щеку. Простенькая песенка очистила ее, привела в чувство. Тамар увидела, как Мико с оттыпыренными карманами быстро направляется прочь. Тамар обвела слушателей глазами: откуда на этот раз послышится сигнал тревоги? Ее грызло чувство вины. Как ей это вытерпеть, как не сознаться, тут же, перед всеми? Но ведь у нее есть цель, у нее есть роль. Эти слова она повторяла себе, исполняя простодушную песенку, и только благодаря им смогла остаться наивной, милой и трогательной пастушкой. Только благодаря накопившемуся опыту ей удалось удержаться от того, чтобы не спеть то, что кто-то вопил внутри нее: «Как ты можешь?! Ты, со всеми своими принципами, с вечными претензиями к миру!»

— По кайфу, — ухмыльнулся Мико, когда Тамар протянула ему деньги с таким видом, словно она была заразной. — Гляжу, учишься помаленьку. Только в следующий раз давай покороче.

Он молча пересчитал деньги. Губы беззвучно шевелились.

— Ё-мое! — воскликнул он наконец. — Сто сорок срубил тут. Милости просим!

Тамар с отвращением отвернулась, испугавшись, что ее вывернет наизнаку. На сиденье рядом с Мико вывалился коричневый бумажник, мелькнула фотография смешливого мальчика из кафе.

Тамар начинала сомневаться, что когда-нибудь встретит там Шая. Через неделю после своего появления в заброшенной больнице она в деталях уяснила то, о чем в первый день говорила Шели. Ее затащило. Случались долгие часы, когда она вообще не вспоминала, почему и ради кого она здесь. Тамар почти не задумывалась о своей прежней жизни — как канатоходец, которому нельзя смотреть вниз, в пропасть под ногами. Она отбросила всякие мысли о родителях, о любимых людях, о хоре и даже об Идане. За эту неделю она проехала тысячи километров по всей стране. Она насчитала девять разных водил, перемещавших ее из Беэр-Шевы в Цфат, из Арада в Назарет. Она научилась перекусывать во время переездов, научилась отгонять тошноту и спать при любой возможности, мятой тряпкой обмякая на заднем сиденье. Она научилась петь по пять, шесть, а то и семь раз на дню, не теряя голоса. А главное — она научилась молчать.

Это она-то, с ее длинным языком. Воспитание началось с двух пощечин. А потом Тамар поняла, что и при ребятах лучше помалкивать, что Шели права — надо быть очень осторожной с вопросами. Каждый из здешних обитателей был по-своему, так или иначе, ранен. Каждый бежал от какого-то несчастья. И при всей грубости и крикливости этой большой компании здесь чутко охранялись правила поведения, в которых крылось немало такта и благородства. Всякий вопрос о

потерянном доме вызывал приступ боли и вскрывал раны, лишь частично затянувшиеся тонкой корочкой забвения. И всякий вопрос о будущем ворошил отчаяние и страх. Очень скоро Тамар осознала, что прошлое и будущее здесь «вне игры», что обитель Пейсаха существует только в одном измерении — в вечном настоящем.

А это как раз ее устраивало. Она ведь боялась выдать себя лишним словом. Может быть, поэтому ее дружба с Шели стала более сдержанной. Иногда, с утра пораньше или поздно вечером, прежде чем Шели, по ее словам, «размазывалась по постели, как помидорка», они перекидывались несколькими словами, делились впечатлениями прошедшего дня, чувствуя, как хочется сказать что-то большее, поговорить о серьезном, но сдерживались, ибо уже познали измену и усвоили жестокий урок: бывают моменты, когда никому нельзя довериться. Как говорится — каждый за себя.

В такие минуты они обменивались многозначительными, жалобными взглядами: и ты, и я — одинокие волки, пытающиеся выжить на вражеской территории, остерегающиеся доверить свои тайны чужаку. А каждый, кто не ты, — чужак. Даже если он такой милый, как ты, Тамар, или как ты, Шели. Ты уж извини. Дико жаль. Может, однажды. Было бы классно. В другой жизни...

Но не все были так одиноки, как она. Тамар заметила, что и здесь существуют дружба и любовь, были даже три «семейные комнаты». Возле столовой находилось помещение, служившее чем-то вроде клуба, где обитатели играли в пинг-понг и нарды, а Пейсах пожаловал от своих щедрот навороченную

кофеварку-эспрессо и посулил в самом скором времени компьютер, да такой, что на нем можно будет даже сочинять музыку. Тамар слышала, что по ночам в комнатах устраиваются посиделки, и знала, что ребята вместе покуривают травку и музицируют. Со своей обычной позиции стороннего наблюдателя она видела, с какой радостью они встречаются вечерами, в столовой. Обнимаются, хлопают друг друга по спине. Хай, беби, как дела, все путем. И временами Тамар, окруженная коконом своего одиночества, искренне завидовала.

Но цель, ради которой она проникла сюда, оставалась недостижимой — как в самый первый день.

В своей прошлой домашней жизни, планируя эту экспедицию, Тамар ни капельки не сомневалась, что каждую свободную минуту будет думать, разгадывать, ловить намеки. Но с той минуты, как она попала в общежитие, ее сознание замедлилось, затуманилось, отяжелело. Настолько отяжелело, что порой Тамар захлестывал страх, что она останется здесь навсегда, затаенная в круговорот уличных выступлений и сна, что постепенно забудет, ради чего сюда явилась.

Ей приходилось силой стряхивать с себя эти мрачные гипнотические чары. Постепенно, с великим трудом, она складывала воедино элементы мозаики. В общежитии обитало двадцать человек, или тридцать, или пятьдесят. Понять это было невозможно. Парни и девчонки появлялись и исчезали, пропадали надолго и вдруг возникали снова. Иногда Тамар чувствовала себя как на людном вокзале или в лагере беженцев. Она не знала, каким путем все остальные попали в это общежитие. Из разговоров удалось выяснить, что, подобно ей, все краем уха слышали о таком заведении и

мечтали, чтобы Пейсаховы «охотники за талантами» их обнаружили. К ее изумлению, оказалось, что в самых разных местах, во всех уголках страны шепчутся об этом уникальном общежитии, что оно окружено романтическим ореолом. И в Тверии, и в Эйлате, и в Гуш Эционе, и в Кфар Гильади, и в Тайбе, и в Назарете слышали, что есть такое место, что, если тебя туда примут, ты будешь выступать на улицах, по всей стране, набираясь опыта и уверенности, и выйдешь оттуда куда более закаленным мастером сцены, чем после четырех лет в какой-нибудь стерильной школе искусств. Никто из ребят и словом не упоминал Мико, его дружков и их занятия. Артисты жили бок о бок с преступниками, проводили с ними многие часы ежедневно, ели с ними и ездили, выступали с ними рядом, но будто и не видели, не слышали ничего. Тамар чувствовала, как сама погружается в такое же равнодушие, как приучает себя к мудрости трех обезьянок — «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу». Однажды, возвращаясь ночью из Нес-Ционы, скорчившись на заднем сиденье автомобиля, измученная и голодная, Тамар думала, что теперь понимает, как люди живут под властью тиранов и деспотов, совершенно отключившись от творящейся вокруг жути. Ведь если бы они разомкнули глаза и уши, то мигом бы умерли от стыда.

Не будучи в силах противостоять делам Мико и компании, Тамар научилась замечать только артистов. Там были мимы, фокусники, скрипачи и флейтисты. Даже угрюмая очкастая виолончелистка, в неизменной красной шляпке с закругленными полями, которую она никогда не снимала. Тамар подивилась, как ей удалось сбежать из дома с виолончелью. Был русский паренек, настоящий цирковой ас — он мастерски раскатывал на огромном

одноколесном велосипеде, Тамар вспомнила, что как-то видела его на Бен-Йегуде. Два брата из Назарета поражали трюками на высоких ходулях, а эфиопский парнишка рисовал на асфальте волшебные картины — сплошь чернокожие ангелы и золотые единороги. Американский юноша, бросивший ешиву,<sup>[33]</sup> набрасывал пером злые и стильные карикатуры на прохожих, да и на обитателей общежития тоже, — к нервному снованию его карандаша все давно уже привыкли. Рыжий религиозный парень из Гуш Эциона, совершенно сбитый с толку, с потухшим взглядом, оказался огнеглотателем. Две девушки из Беэр-Шевы, показавшиеся Тамар сестрами или даже близняшками, умели читать мысли, по крайней мере уверяли, что умеют, и Тамар старалась держаться от них подальше. Было еще не менее десятка жонглеров, которые работали с мячами, палочками, кеглями, яблоками, факелами и ножами. Один высокий парень с лживыми глазами изобрел даже собственный вид искусства. Он подражал жестам, движениям и походке прохожих и, когда они, ничего не подозревая, пересекали воображаемый круг, в котором он находился, следовал за ними по пятам, передразнивая их под восторженный хохот зрителей. Как-то за ужином Тамар обнаружила, что напротив нее сидит девушка, которую она видела у «Кошачьей площади», — та самая, что жонглировала двумя горящими веревками. Была еще гуттаперчевая девочка со злым лицом из какого-то кибуца на севере, которая после субботнего ужина поразила всех, свернув свое длинное тело в картонной коробке из-под бутылок с кока-колой. Совсем мелкий паренек, почти ребенок, немного напоминавший Эфи из

---

<sup>33</sup> Высшая талмудическая школа.

программы «Где Эфи?», был мастером пускать пузыри любых форм и размеров. А очень бледный иерусалимец с черными напояженными волосами именовал себя «уличным поэтом», он мог за несколько секунд сочинить рифмованный стишок на заказ — для каждого, кто готов раскошелиться. Ну и конечно, имелись певцы и певицы вроде нее, и с одной из них Тамар как-то раз перекинулась несколькими словами по дороге в Ашкелон, и оказалось, что они поют одни и те же песни на иврите. Еще были рэперы. И музыканты, игравшие на пустых банках из-под краски. Один музицировал даже на пиле, а другой исполнял целые пьесы на бокалах, кончиками пальцев водя по краю стекла. Среди обитателей общежития Тамар насчитала по крайней мере пять гитаристов, но, насколько она смогла расслышать, проходя мимо комнат, никто из них не играл так, как Шай. Но его имя иногда упоминалось — с восхищением и каким-то траурным оттенком, словно говорили об умершем.

Самого Шая она так и не встретила.

Однажды ночью Тамар разбудили крики. С минуту она лежала, думая, что находится дома. Попыталась связать тени со знакомыми ей предметами. Крики усилились. Тревога захлестнула ее. Тамар взглянула на часы: полтретьего. Внезапно она все вспомнила. Вскочила с кровати. Подбежала к окну. Внизу стояла машина, и трое мужчин пытались вытащить из нее сопротивлявшегося человека. Он цеплялся руками за дверцу, а троица тянула его наружу, била по рукам. Тамар узнала Мико и другого — Шишако, скелета с бачками, косящего под Элвиса. Она прижалась лбом к

стеклу, пытаясь разглядеть человека в машине, но охранники окружили машину, загораживая собой происходящее, громко матерились и время от времени молотили кулаками в открытые окна, видимо стараясь оглушить беднягу. Тамар закричала и до крови укусила кулак, но боли не почувствовала. Потом на улицу выбежал Пейсах. Бросил встревоженный взгляд вверх, на окна. Вернулся в подъезд и погасил лампочку над входом. Теперь стало еще труднее различать, что происходит. Пейсах подошел к машине, постоял перед открытой дверцей, прижавшись лбом к крыше, и Тамар в надежде подумала, что он хочет уговорить человека выйти по-хорошему. И тут медленным, почти ленивым движением локоть Пейсаха отодвинулся назад и огромный кулак нанес один-единственный удар внутрь машины. Мгновенно наступила тишина. Тамар стояла перед окном, дрожа всем телом. Мико что-то вытащил из машины. Что-то, напоминающее свернутый ковер. Закинув сверток на спину, он скрылся в здании. На краткий миг, когда он помешкал у входа, Тамар увидела безвольно свисающие руки. Такие длинные пальцы были только у одного знакомого ей человека.

Прошло несколько дней. Кто знает, куда уже успел заехать восседающий на верблюде паренек из Сахары, выдуманный Асафом. Сам Асаф в те жаркие дни на исходе июля трудился в мэрии. По восемь часов он, скучая, высиживал в пустой комнате возле отдела водоснабжения, отвечал на телефонные звонки, сообщал ту скудную информацию, которой обладал, развлекался составлением собственной футбольной сборной мира и не знал, что уже очень скоро в его жизнь ворвется большая собака, потерявшаяся на городских улицах, а по

ее следам туда же проникнет девушка, тоже слегка заблудшая, и что с той самой минуты он больше не станет больше гадать, что сейчас поделявает юнга на корабле, отплывающем в Северное море, а будет непрерывно спрашивать себя, где же Тamar.

В один из тех вечеров, когда Асаф все еще плелся рядом с Дафи Каплан, вяло улыбаясь скабрeзным анекдотам Рои и с нетерпением думая, когда же можно уйти, Тamar вернулась в общежитие, где уже шел своим чередом ужин. Она приехала из Бат-Яма или из Натании — она точно не помнила, — поспешила в комнату переодеться и, как всегда, на всякий случай оставила там Динку — лучше, если Шай появится за ужином, чтобы собака не оказалась рядом и не кинулась к нему у всех на глазах.

Тamar ополоснула лицо в ржавой раковине, бросила взгляд в треугольный обломок зеркала, чудом державшийся на стене. Волосы немного отросли. Коротенькие, очень черные колючки. Тamar подумала, что ей даже идет, и пару минут, вопреки обыкновению, размышляла о своей внешности и тосковала по теплой ванне и нежным кремам и по Алине, так старавшейся превратить ее в красивую женщину. Когда Тamar входила в столовую, на ее лице все еще гуляла неосторожная улыбка, и потому ее застали врасплох.

Она увидела его сразу как вошла и вздрогнула. Какой он худой и запущенный!словно собственная бледная тень. Деревянной походкой Тamar прошла мимо, уставившись в пол, белая как мел. Шай невидяще смотрел сквозь нее. Может, просто не обратил внимания, а может, под наркотиками, но *он ее не узнал*, и это оказалось неожиданным и самым страшным ударом: даже

Шай отторгнул ее. Он сидел, погруженный в себя, чуть покачиваясь, будто в трансе. На нем был ее любимый синий свитер, правда ужасно грязный и рваный. Шай ковырял вилкой пюре. С великим усилием Тamar глотала плюхнутую ей в тарелку холодную серую массу — Мамале не выносила опозданий. Ей вдруг показалось, что комната погрузилась в тишину, что все смотрят на нее и на него.

Тут в столовую, сверкая зеленой шевелюрой, ворвалась взволнованная Шели, еще более высокая в своих новеньких желтых ботинках «Доктор Мартинс», и радостно подлетела к Тamar:

— Дай-ка мне подсесть поближе! Ну, подвинься на градус к северу, я имею рассказать тебе нечто потр-р-рясающее!

Шели начала болтать, но, заметив отсутствующий взгляд Тamar, отмахнулась от нее с легкой судорогой боли, пробежавшей по лицу, «ноу проблем», минутку помолчала и с тем же громогласным ликованием накинулась на девушку справа. Сегодня, на выступлении в Ашдоде, к ней подкатил какой-то видный импресарио местного телеканала и предложил подписать договор на три года с возможностью поездки в Нью-Йорк... Только вот странно, с чего бы это американцам интересоваться пародиями на Иги Ваксман и Сарит Хадад. Восторженное выражение сошло с ее лица.

Тamar методично пережевывала питательную массу. Потом осторожно подняла голову и впиалась в Шая взглядом. Он посмотрел на новенькую... Очень-очень медленно его зрачки расширились и все лицо задрожало.

Тamar быстро уткнулась в тарелку. Нельзя, чтобы кто-нибудь заметил, что между ними существует какая-то

связь, что они знают друг друга по прежней жизни. Ковырнула холодную яичницу и отодвинула ее в сторонку. Рядом Шели, разозлившись на себя за собственную глупость, цедила сквозь зубы, что она и точно мамочка всех блаженненьких, если могла поверить этому мерзавцу. В Хуерику он ее возьмет! Помахал у нее перед носом визиткой с золотым обрезом, вот она уши и развесила, а мудака этот поспешил навешать на них лапшу подлиннее, и она еще провела с ним целый час в каком-то вонючем отеле! А теперь, чтобы как следует себя наказать, она еще разок отсюда смоется. Отправится в Лифту.<sup>[34]</sup> Сдохнет там, как собака. Так ей и надо. Парень, сидевший напротив, попытался ее успокоить.

Шум в столовой стоял невероятный. Из угла в угол летали куски хлеба, все в этот вечер были отчего-то веселее обычного. Может, дело в том, что поблизости не было ни Пейсаха, ни его бульдогов. За столом у входа несколько парней крикливо и нарочито фальшивя запели:

Скажи-ка, зебра, почему

Ты в пижаме, не пойму?

Прочие присоединились, сопровождая пение аккомпанементом ложек и вилок. Мамале разоралась, угрожая, что все расскажет Пейсаху, но верзила, который пародировал жесты и походку, вскочил, подхватил Мамале и повел в утрированном танго, согнувшись над ней в три погибели и прижавшись щекой к ее щеке, так что Мамале даже разулыбалась.

---

<sup>34</sup> Зброшенна арабская деревня у въезда в Иерусалим.

Тамар дотронулась до лба, провела пальцем по левой щеке, дважды моргнула, дотронулась до правой щеки. Потом, будто случайно, подняла один палец вверх, коснулась правого уха, дважды скользнула по подбородку. Еще пять или шесть знаков — очень осторожно, медленно, хоть сердце и колотилось как сумасшедшее.

Шай не сводил с нее глаз. Губы его беззвучно двигались. Первое чудо, на которое Тамар так уповала: чтобы он вспомнил. Несмотря на минувшее немалое время, несмотря на все, что он пережил, несмотря на наркотики, Шай все еще помнил их тайную азбуку.

— Я пришла тебя забрать, — сказали ее пальцы.

Шай уронил голову на стол. Тамар увидела, как поредели его чудные медовые локоны, как исхудали запястья.

Потом он выпрямился, на секунду уставился в потолок. Тамар поняла, что он старается вспомнить. Неуверенно Шай прижал палец к правой щеке. Дотронулся до подбородка, до кончика носа. Однажды перепутал и сделал перечеркивающий знак, растянув рот в ширину. А потом снова написал ей, буква за буквой:

— Нас обоих убьют.

Справа горячился маэстро пилы, убеждая Шели:

— В Лифте? С русскими? Ты что, сбесилась?! Они там совсем отъехавшие...

— С чего бы? Что у них там есть такого, чего здесь нет? — спросила Шели и внезапно расхохоталась. Что-то в ее поведении было сегодня странным,

преувеличенно-переменчивым, но Тамар было недосуг разбираться.

— Да у этих есть «винд»! — объяснил длинный волосатый парень с обезьяньей верхней губой. — «Винд»! Так по-русски шуруп называется, потому что он прямо в мозги тебе ввинчивается: тр-р-р, как это самое...

Шели с сомнением покачала головой, и ее зеленые волосы, единственная яркая точка во всей комнате, заколыхались.

— Да не, слышь, это фосфор с сиропом против кашля и перекисью водорода. Это, слышь, среди наркоты — самая крутизна, героин против него — трава! Да чего там — ошизительный кайф за гроши.

— Я ни в жисть к такому не прикасаюсь, — сказала Шели и тоненько захихикала. — Ну максимум разок подогреюсь!

Погруженная в разговор с Шаем, Тамар все же вспомнила, как Шели говорила, что не притрагивается к героину.

Она написала пальцами:

— У меня есть план.

Шай начал медленно отвечать. Одна из девушек заметила его странные движения и дотронулась до плеча подружки, чтобы и та взглянула. Тамар быстро склонилась над своей тарелкой и стала засовывать в рот холодную яичницу. Шай сделал вид, будто что-то наигрывает:

— Я на игле.

Тамар ответила немедленно, не поднимая головы от тарелки:

— Хо бро.

«Ты хотел бросить». Она уже осознала, что, несмотря ни на что, Шай по-прежнему понимает ее с полуслова. Еще один добрый знак. Как в детстве, когда им запрещали иногда разговаривать за едой, когда пытались как-то ограничить их бесконечное погружение в свой собственный, закрытый для взрослых мир. В те дни первых слогов им было достаточно: «Я хо спа» или «Фу ка га».

Шай ответил только минуты через две:

— Не мо один.

— Вместе.

Он опустил голову в ладони, и казалось, она весит целую тонну. Тамар вспомнила песню на слова Эмили Дикинсон «I felt a funeral in my brain»,<sup>[35]</sup> которую пела в хоре.

Его пальцы вдруг так задрожали, что Тамар испугалась. Все, наверное, видят, что тут происходит. Он написал:

— Ты не мо од.

Она ответила:

— Я мо.

Он:

— Уди отсю.

---

<sup>35</sup> «Звук похорон в моем мозгу...» (англ.).

Тамар:

— То с тоб.

Вдруг он застонал. Это был громкий, утробный стон. Быстро встал и, пытаясь ухватиться за стол, перевернул стакан. Наступила тишина. Он хотел поднять стакан, но не смог. Стакан попросту выпрыгнул из его пальцев, словно был намазан маслом. Шаю пришлось схватить его обеими руками. Это заняло, наверное, секунды три, но казалось, что продолжается бесконечно. На лбу Шая выступила испарина. Все смотрели на него, прекратив жевать и разговаривать. Шай пошатнулся, перевернул стул, дернул рукой, словно отмахиваясь в отчаянии, и выбежал из комнаты.

Тамар проглотила пюре, яичницу, хлеб. Все, что было. Только бы не поднимать головы и не видеть их глаза.

Кто-то тихо сказал:

— Эх, парень, если он сейчас не выкарабкается, то так всю жизнь и пойдет...

Снова воцарилось неприятное молчание. Быть может, потому, что упомянули будущее, то самое будущее, на которое наложили табу, которого не существует.

Какая-то девушка, похоже появившаяся недавно, спросила, что это за парень, и ей ответили, что он из самых отороженных. Но кем он был, не унималась та, и Тамар замерла на стуле, будто окаменела. Кем он был? Его уже отпевают. Она сцепила зубы. Поди опиши Шая, обрисуй в двух фразах это удивительное сплетение всех мыслимых противоречий, из которых он состоит.

— Но он никогда не разговаривает, правда? — спросила новенькая с присущим всем новеньким нахальством.

Ей ответило сразу несколько голосов, и Тамар почувствовала, с каким азартом говорят о Шае, сколь притягательной загадкой он является здесь.

Да, сперва вообще думали, что он немой. Но играет как дьявол. Только без черняшки он уже не способен, зато когда играет под этим делом, деньги текут рекой. А что, им даже телевидение заинтересовалось, Дуду Топаз собственной персоной его случайно услышал на улице и пригласил в свою передачу, да Пейсах не разрешил, сказал, что тот еще не созрел для этого...

— Джимми Хендрикс Пейсаха, вот он кто такой, — сказал один из музыкантов, и Тамар расслышала в его голосе хорошо знакомую ревность. Когда посторонние говорили про Шая, в их голоса всегда примешивались зависть и ревность. — И Джеймс Моррисон в придачу. Талантище — гаси свет, только жуть до чего докатился...

Есть она уже больше не могла, даже ради того, чтобы скрыть свое состояние, и потому сидела неподвижно, молясь, чтобы никто на нее сейчас не смотрел. Дело было не только в состоянии Шая, но и в его отказе принять ее помощь. Именно об этом и предупреждала Лея, утверждая, что он окажется не готов, просто не способен помочь ей, да что там помочь, хотя бы пойти навстречу.

— Но ведь он просил, чтобы я пришла! — сердилась Тамар. — Он сам позвонил и умолял, чтобы его спасли!

А Лея снова и снова объясняла, что он испугается малейшей перемены в своей ужасной жизни, испугается,

что возникнут проблемы с наркотой, которой у него сейчас вдоволь.

В голове Тамар разрастался ужас. Как она вытащит его отсюда против воли? Что-то в груди сорвалось и стало падать в бесконечность. Вот тебе, дорогая моя девочка, лилейная фантазерка, вот тебе самое слабое место твоего грандиозного проекта.

Ведь она предусмотрела все случайности. С почти безумной тщательностью оттачивала она свой план, стараясь заранее расписать все поэтапно, включая все проблемы, с которыми может столкнуться, пока не встретит его здесь. И с той же дотошностью, не знавшей компромиссов, планировала, как будет в одиночку заботиться о нем после того, как вытащит его отсюда; подсчитывала, сколько в точности свечей и спичек ей понадобится в пещере; не забыла принести туда и открывашки, и мазь от комаров, и бинты. И только об одной мелочи она не подумала: как его отсюда вытащить, если у него не найдется сил и решимости уйти добровольно.

Изумление перед собственной слепотой придавило ее. Как это случилось? Почему она отмахнулась от всех предостережений, почему была так глупа и бездумна? Тамар встала и отнесла тарелку в раковину. За окном несколько ребят и девушек уже сидели на земле. Тамар увидела зеленую шевелюру Шели, склоненную на плечо здорового парня. Другой парень, с длинной косой и чертами индейца, взял гитару и запел. Тамар открыла окно, чтобы глотнуть немножко воздуха, и песня захватила ее. Она была не в силах сопротивляться ее мрачновато-томному ритму:

Экстази белый  
Для широкой массы,  
ЛСД синий —  
Платите в кассу.  
Маленько анархии,  
Чтоб детки не скучали!  
Чуть-чуть раскрепостились —  
В тюрягу попали...

Окружившие гитариста ребята и девушки в такт ему подвывали:

Как-такое-де-лают,  
Как-такое-де-лают...

А парень:

Нет надежды розовой,  
Знаю: не вернусь и я.  
Дохнем, разлагаемся —  
Ре-во-лю-ция...

И все сначала, в том же монотонном ритме. Тамар покачивалась в такт, ненавидя слова и стараясь украсть у музыки немножко сил. Снова и снова хлеща себя этим припевом: «Как-такое-делают?» Как забывают подготовить самую главную часть плана?

И как же ужасно еще раз убедиться, насколько сильна в ней эта пятая колонна, эта крысиная стая,

грызущая ее изнутри. Она не знала, как теперь быть. Отказаться от всего? Вернуться домой с поджатым хвостом? Еще одна черная крыса мчится вприпрыжку через давно знакомые ей станции, трется задом о дорожные знаки, громко пищит, издеваясь: «Ничего удачного у тебя в жизни не получится! Фантазерка! Подлинная жизнь всегда...» Вот уже и вся стая собралась вокруг, подняв чудовищный писк: «Именно поэтому-то ты и не сделаешь серьезной вокальной карьеры! Всегда будешь сама себя подводить! В лучшем случае получишь второстепенные партии — всяких Барбарин поначалу и Марцеллин потом, когда состаришься, а в середине, может, какую-нибудь Фрускиту. Всю жизнь промаешься в одиночестве между любительскими труппами домов культуры. Максимум — станешь дирижершей убогого хора. И между прочим, ни разу и не влюбишься по-настоящему, ведь у тебя в душе не хватает одного винтика. И детей у тебя не будет, ясное дело...»

Последний вопль привел ее в чувство. Тамар оборвала крысиную пляску, собрала остатки сил и ринулась в бой. Она попыталась логически объяснить свой провал, честно, но без издевок, без самоистязания, и уже через минуту ответила, что если бы тогда, дома, стала раздумывать о том, пойдет с ней Шай или нет, то, скорее всего, и не ввязалась бы в это дело.

Так что, в сущности, хорошо, что она об этом не подумала. То есть ее разум как раз помог ей тем, что скрыл от нее это препятствие... Странно. Тамар слегка распрямилась и глубоко вздохнула. Удивительно, как ей удалось преодолеть этот приступ ипохондрии, как она вытащила себя из этой трясины. Произошло что-то небывалое. Дуновение какого-то незнакомого ранее спокойствия, почти уверенности в себе, пронеслось в

ней. Наверняка скоро это чувство исчезнет, но она запомнит эту точку внутри, где оно зародилось, и постарается вернуться туда, снова извлечь его из себя при следующем приступе.

А пока нельзя забывать, что она застряла тут, совсем одна, без союзника, и ей надо подумать о них обоих, а значит, создать такую ситуацию, при которой Шай убежит с ней. Она обязана поставить его перед свершившимся фактом. Эти мысли еще больше приободрили Тamar. Она почувствовала, что после многодневной спячки снова возвращается к жизни. Где сейчас Шай? В какой комнате? В каком темном сортире он корчится, готовя себе дозу, которая позволит ему пережить эту ночь?

Шели подняла голову к окну, взглянула на нее, широко улыбнулась, слишком широко, и позвала ее выйти маленько проветриться. Веселость Шели сегодня отдавала какой-то стеклянной искусственностью. Тamar чувствовала, что не в силах видеть людей, разговаривать. Ей нужно побыть одной. У нее мелькнула мысль, что, будь она настоящей подругой, ей следовало бы увести сейчас Шели в комнату, чтобы она так не распускалась и не позорилась. Но у нее уже ни на что не оставалось сил. Она знаком показала Шели, что идет спать, выдавила улыбку.

Тяжело заползла на кровать — как была, прямо в одежде, не отмывшись от минувшего дня, даже не погладив Динку, — растянулась во весь рост.

Что же происходит, без сил подумала Тamar, как все это началось и как превратилось в мою действительность, в мою жизнь? Бывает минута, когда делаешь один малюсенький шажок, всего на волосок в

сторону от привычной дорожки, и после этого ты уже обязана шагнуть туда и второй ногой, и вот ты уже на неведомом пути. И каждый шаг более или менее логичен и следует из предыдущего, но ты вдруг просыпаешься в каком-то кошмаре.

Прошел час, другой. Сон не шел. Мозг бушевал. «Ты здесь, ты рядом», — бормотала Тамар, не в силах сойти с порочного круга одной и той же мысли — как при лихорадке. «Я тебя вытащу», — посылала она ему сигналы в тишине, молясь, чтобы он прочел ее мысли. «Понятия не имею — как, но вот увидишь: я тебя вытащу, хочешь не хочешь, вытащу и буду охранять, и очищу, и заставлю снова стать тем, кем ты был, братик мой, братик...»

# Я, как слепой, за тобой иду...

*Я, как слепой,  
за тобой иду...*

После обеда с Носорогом Динка привела Асафа в незнакомый ему квартал за рынком. Они прошли между тесными побеленными стенами. Асаф увидел сквозь решетчатую деревянную калитку огромный огненно-красный куст герани, растущий в старой жестяной канистре, и решил, что, когда вся эта история закончится, он обязательно вернется сюда. Его опытный глаз отметил игру пятен света и тени, устремился к черному коту, разлегшемуся среди осколков оранжевого стекла, сиявших на вершине стены, словно драконья чешуя. Во дворах вдоль стен стояли старые кресла, иногда попадались даже диваны, на подоконниках красовались большие банки с солеными огурцами. Асаф с Динкой прошли мимо синагоги, в которой люди тянули полуденную молитву на знакомый ему от отца и деда мотив, мимо уродливого бетонного сооружения — общественного бомбоубежища, расписанного яркими детскими рисунками, мимо еще одной синагоги, подошли к невероятно узкому переулочку, над которым раскинула крону плакучая ива...

Здесь Динка остановилась, понюхала воздух, посмотрела на небо — как поступает человек без часов, когда хочет понять, сколько сейчас времени.

Потом вдруг решила, улеглась около скамейки под ивой, опустила голову на лапы. Она кого-то ждала.

Асаф сел на скамейку и тоже стал ждать. Кого? Чего? Асаф этого не знал, но уже понемногу привыкал к такому положению вещей. Кто-нибудь да явится. Случится что-то новое. Кто-нибудь еще, связанный с Тамар, возникнет на его пути.

Он только не знал, с какой из двух Тамар — с той, Теодориной, или с той, другой, этого сыщика? А быть может, есть еще и третья Тамар?

Время текло. Четверть часа. Полчаса. Ничего не происходило. Солнце клонилось к закату, все еще пылая последним жаром летнего дня, но в узенький переулочек уже забрел ветерок. Асаф вдруг почувствовал, как он устал. С самого утра на ногах, и чуть ли не все время — бегом. Но это была усталость не только от беготни, физическое напряжение никогда его так не истощало. Тут что-то еще, вроде непрекращающегося возбуждения, такого внутреннего завода, незатухающего жара. Но Асаф не чувствовал себя больным. Совсем наоборот.

— Динка, — сказал он тихонько, стараясь не шевелить губами (мимо прошли люди, и он не хотел, чтобы они подумали, будто он разговаривает сам с собой). — Знаешь, который час? Скоро шесть. А ты знаешь, что это значит?

Динка подняла одно ухо.

— Это значит, что уже два часа назад Данох запер свой кабинет и ветеринар тоже ушел домой. И я тебя туда сегодня не верну. Получается, что тебе придется ночевать у меня дома.

И, произнеся это, Асаф обрадовался.

— Только проблема в том, что у моей мамы аллергия на собачью шерсть, правда, сейчас родители за границей, но ты уж поосторожнее со своими волосами...

Собака залаяла и вскочила. Молодой, очень худой и слегка скособоченный человек приближался к ним, возникнув из тени плакучей ивы. Асаф выпрямился. Парень тоненьким голоском произнес: «Динка!» — и бросился к ней, приволакивая одну ногу. Что-то странное было в посадке его головы, словно он оттягивал ее назад или видел только одним глазом. В руке он держал тяжелый полиэтиленовый мешок с надписью «Маца Йегуда». Заметив Асафа, парень остановился, и они отшатнулись друг от друга.

Парень — потому, что явно ожидал встретить Тamar, а получил Асафа. Асаф — потому, что разглядел его лицо. Вся левая сторона этого лица была покрыта красно-фиолетовым пятном от ожога — щека, подбородок и левая половина лба. Тонкие, стянутые, белесые губы с левой стороны тоже выглядели неестественно. Казалось, кто-то заново слепил их.

— Извини, — пробормотал парень, быстро отходя. — Я думал, что это знакомая собака.

Он развернулся, мелькнула черная кipa.

— Стой! — Асаф бросился за ним, Динка следом.

Парень, не оборачиваясь, ускорил шаг. Но Динка обогнала его и, лая от восторга и размахивая хвостом, кинулась на грудь. У него не осталось выбора. Собака так радовалась, что пришлось остановиться, наклониться к ней и взять ее большую голову в руки. Динка

вылизывала парню лицо, а он смеялся своим странным, тоненьким и дребезжащим голосом.

— А где же Тамар? — тихо спросил он не то собаку, не то Асафа.

И Асаф ответил, что он тоже ее ищет. Тогда парень распрявился, повернулся к нему и замер напротив в кривой, скособоченной позе. Что это означает — ищет?

Асаф рассказал ему всю историю. *Не всю историю*, конечно, а только историю с мэрией, Данохом и собачьей ночлежкой. Парень молча слушал. Пока Асаф говорил, он еще немного повернулся, почти незаметно, неуловимыми движениями, пока не оказался к Асафу в профиль, неповрежденной стороной своего лица. Так он и стоял, рассеянно глядя на ветви ивы, будто хотел прийти к каким-то определенным выводам путем созерцания природы.

— Ну, это для нее удар — потерять собаку, — сказал он наконец. — Чего она будет делать без собаки? Как справится?

— Да, — сказал Асаф наудачу, — она наверняка ужасно к ней привязана.

— Ужасно привязана? — Парень хихикнул, точно Асаф сморозил какую-то особенно выдающуюся глупость. — Да что там — ужасно привязана! Она шагу без этой собаки сделать не может!

Нарочито безразличным голосом Асаф спросил, нет ли у парня каких идей, где можно найти Тамар.

— У меня? Да откуда мне знать? Она... она не рассказывает, только слушает. — Парень пнул каменный бордюр. — Она... как бы тебе объяснить... ты с ней

говоришь, а она слушает. Ну так чего тебе остается? Ты все и выкладываешь. Такие вот дела...

Голос у него, подумал Асаф, тоненький, как у маленького мальчика, немного плаксивый.

— Ты ей рассказываешь такое, чего никому отродясь не рассказывал. Все потому, что она жуть как хочет тебя слушать, врубаешься? Ей твоя жизнь интересна.

Асаф спросил, где они познакомились.

— Тут, — парень указал рукой на скамейку, — где мне еще знакомиться? Она приходила с собакой, а я вот тут сидел, вот примерно в этот час. Я всегда вечером из дома выхожу. Самое то, — добавил он, торопливо глотая слова. — Не выношу жары.

Асаф молчал.

— А тут, не так давно... Кажись, три месяца тому, что ли? Прихожу я сюда, вижу — она сидит. Заняла мое место, а? Но не нарочно, она же меня еще не знала. Я уже собирался развернуться и уйти, так она меня позвала... — Он замялся. — Спросила чего-то, она кого-то искала очень... — Он снова помялся. — Не суть. Чего-то там ее личное. В общем, то да се, мы разговорились. И с тех пор каждую неделю она сюда приходила, иногда даже пару раз. Сидим, разговариваем, кушаем, чего мама приготовит, — он кивнул на большой полиэтиленовый пакет, который держал в руке. — Здесь и для Динки есть. Я каждую неделю собираю. Дать ей, что ль?

Асаф подумал, что Динка вряд ли станет есть после ресторана, но не захотел его обижать. Парень достал из пакета еще один пакетик, поменьше, и красивую миску и

начал наливать в нее навар из картошки и костей. Динка посмотрела на еду, потом на Асафа. Асаф ободряюще подмигнул ей, и она опустила голову и стала есть. Асаф был уверен, что она поняла его намек.

— Эй, а ты кофе хочешь?

Это будет уже третий кофе за день, а он совсем не привык к нему, но Асаф понадеялся, что вместе с кофе продолжится и рассказ. Парень достал термос и налил кофе в два пластиковых стаканчика. На скамейке он расстелил цветастую матерчатую салфетку и поставил на нее блюдце с соленым печеньем и вафлями, тарелку со сливами и нектаринами.

— Это я уж так привык, что она приходит, — извиняясь, улыбнулся он.

— А на прошлой неделе она приходила?

— Нет. И две недели тому, и три, и месяц тому. Я-то из-за этого и волнуюсь. Она ведь не из таких, что так вот просто свалит или бросит тебя, не сказав. Понимаешь? Все время я ломаю голову, чего с ней могло случиться?

— И ее адреса у тебя нет?

— Ну, насмешил! Даже фамилии нет. Как раз я-то спрашивал ее, да не, даже несколько раз, но у нее эти, как их... принципы и все такое... ну, неудобно, они очень чувствительные...

— Кто это — они? — не понял Асаф.

— Они... такие, как она. В ее положении... в состоянии...

Наркотики, подумал Асаф, и сердце его упало. Он представил Тamar в одном из таких «состояний» и откусил соленого печенья, будто искал в нем утешения.

— Ну и цирк! — с восторгом хихикнул парень. — Она тоже всегда начинает кушать с печеньюшки!

В нем было что-то открытое, незащищенное, как в маленьком ребенке, который еще не научился сохранять дистанцию. Парень помешкал, потом протянул Асафу худую, очень слабую руку:

— Мацлиах.<sup>[36]</sup>

— Чего?

— Звать меня так. Мацлиах. Бери еще. Это мама делает.

«Мама» он произнес с особой теплотой. Ситуация выглядела куда как странной, но Асафу было приятно сидеть с этим парнем на этой лавке под ивой. Он взял еще печенья. Надо сказать, что он не слишком любил соленое, но мысль о том, что Тamar грызла такие вот печеньки...

Динка подчистила миску и растянулась, отяжелевшая, в сторонке.

Вдруг до Асафа дошло:

— Так ты каждый день приходишь сюда с печеньем и кофе и ждешь ее?

Парень глянул в сторону. Пожал плечами.

— Не каждый. Чего там каждый, ты думаешь, я чего? Каждый день буду приходить?

---

<sup>36</sup> Счастливчик (иврит).

Воцарилось долгое молчание. Потом он сказал, словно между делом:

— Может, и каждый. Я знаю? А то... если она придет, так я уж буду готов.

— И ты уже месяц ждешь?

— А чего, мне трудно? У меня, так вышло, как раз никакой работы сейчас, так я обычно свободен. В лом мне, что ли, спуститься сюда вечерком, подождать чуток? Время провести...

В конце переулка показался человек. Мацлиах углядел его задолго до того, как Асаф или Динка обратили на прохожего внимание. Он мгновенно развернулся, искривившись всем телом так, что оказался почти спиной к прохожему. А тот — погруженный в собственные мысли старик — прошел, даже не взглянув на них.

Асаф подождал, пока шаги старика стихнут.

— Ну, и вы разговаривали с Тамар?

— Разговаривали? В том смысле, что по-серьезному? — Мацлиах горделиво развел руки в стороны — прямо как рыбак, хвастающийся богатым уловом. — Веришь? Ни с кем на свете так не поговоришь! А то люди, они сразу косо на тебя глядят, ведь так? Сразу думают: а чего это с ним? Для них одна внешность значит. Ну а возьми меня, например. Для меня отродясь внешность ничего не значила, ни-че-го! Ведь правда, главное, что у человека внутри? Точно? Поэтому я тебе говорю: у меня-то друзей нет, и они мне не нужны.

Мацлиах быстро сунул в рот, между изуродованными губами, сразу два печенья.

— Я вот лично, — сказал он, прожевав, — чего мне важно — это знания, да? Как можно больше знаний. Для этого я учусь. Не веришь?

Асаф сказал, что верит.

— Не, это потому, что ты так глянул... Слышь, я звездами интересуюсь.

— Какими звездами? Футболистами? — неуверенно спросил Асаф.

— Какие футболисты? Что за футболисты? — Мацлиах долго приглушенно смеялся, прикрывая рукой половину рта. — В небе звездами! Ну а теперь скажи по правде: ты когда-нибудь думал, что там за звезды? То есть серьезно когда-нибудь думал?

Асаф сознался, что не думал. Мацлиах ударил обеими ладонками по коленям, словно вновь, в тысячный раз, получив подтверждение вопиющей людской бездумности.

— А ты во-общем знаешь, что есть, может, еще миллионы солнц? И галактик? Соображаешь, что во Вселенной целый миллион всего? Не одна несчастная планета, вроде нашего земного шарика, а я тебе говорю, галактики целые!

Он пришел в крайнее возбуждение, так что теперь покраснела и здоровая щека. В переулок свернули трое подростков, обсуждавших какой-то матч. Мацлиах тут же развернулся, отворотил голову, делая вид, что погрузился в размышления.

— Эй, Счастличик! — окликнул его один из мальчишек. — Как дела?

— Все путем. — Он не повернул головы.

— А что со звездами? Как там Млечный Путь?

— Все путем, — мрачно повторил Мацлиах.

— Ты пересчитай их хорошенько, — посоветовал парень и пнул мяч совсем рядом с ногой Мацлиаха. — Чтоб не сперли. — Он вдруг посмотрел на Асафа: — Знаешь, почему Мацлиах никогда не ездит на Уимблдонский турнир?

Асаф молчал, с тоской подумав, что драки не избежать.

— Потому что боится, что придется голову поворачивать! — проорал мальчишка и захохотал. Его приятели тоже зашлись в диком смехе. Парень цапнул с тарелки нектарин, впился в него зубами, и все трое, гогоча, удалились.

— И я подписался на все журналы по звездам! — сказал Мацлиах, словно никто не прерывал их беседы. Он незаметно приосанился, возвращая себе слегка пошатнувшееся достоинство. — И на английском! Не веришь? Я два года учил английский в Открытом университете. Заочно. Полторы тысячи шекелей. Мама мне оплатила в подарок, чтоб даже из дому не надо выходить. Туда только на экзамены надо прийти, но я не пошел. Чего мне их экзамены сдались. Но ты зайди, глянь у меня в комнате — все номера «Науки» и «Галилея» расставлены как полагается, уже две с половиной полки! А на будущий год, если Господу будет угодно, мама сказала, что купит мне компьютер, и тогда я стану членом Интернета, а там — все знания. Ты даже из дому не выходишь, а все к тебе стекается. Мощно, а?

Асаф молча кивнул. Он подумал, что если бы не Тамар, то прошел бы мимо, глянул на это лицо, может быть, содрогнулся, немного пожалел — и все.

— А с Тамар ты об этом говорил? — спросил он наконец. — О галактиках и все такое?

— Факт! — Улыбка расплзлась по лицу Мацлиаха, захватив даже бордовую отметину. — Она... ну! Она все желала услышать, и как там квазары, и чего делается с провалами во времени, и про пульсирующие звезды, и про расширение Вселенной, и то, и это... нет, ты врубаешься? Чтоб девчонка! Да она ни одной звезды в жизни не видала. Так, может, как раз поэтому? Чего скажешь? Может, из-за этой своей психологии она так хочет знать? Логично?

Асаф подумал, что пропустил какую-то важную фразу. Мацлиах не останавливался:

— Сидит тут полчаса, час, не оставляет меня. Когда я после нее домой прихожу, тут же — спать. Выдыхаюсь. Ну... — он натужно хихикнул, обнажив кривые зубы, — может, я, это, не привык много говорить... а то мама, по правде... не очень-то ей интересны звезды.

Асаф все еще пытался нащупать нить. В словах Мацлиаха была какая-то загадка. Или просто путаница.

— Ну вот, — тот слегка наклонился к Асафу, — а я, когда еще был ребенком, младенцем почти... со мной случилась одна маленькая авария... да ничего серьезного. — Мацлиах снова перешел на скороговорку, но какую-то равнодушную, будто рассказывая о ком-то чужом и далеком. — Мама чего-то готовила, суп какой, да и опрокинула на меня по ошибке кастрюлю-то, случается, она не виновата, так я год в больнице

валялся, и там, и сям, и операции, и всяко-разно. Но зато узнал, чего такое человек. Да как психиатр стал, куда там! Без книжек и без учебы. И поэтому я могу ее понять изнутри и помочь ей тоже, даже без того, чтоб она почувствовала, что я ей помогаю, врубаешься?

Асаф отрицательно покачал головой.

— Ведь у них своя гордость, и с ними надо говорить как ни в чем не бывало. Как будто это у тебя запросто, что ты сидишь на улице с кем-то и рассказываешь про звезды.

Асаф осторожно спросил, кто это — «они». Ответ он уже знал, но желал услышать его произнесенным вслух. В глубине живота снова заворочалась боль.

— Ну, эти... ну, люди, у которых эта проблема. Так ты должен поддержать их гордость. Между нами говоря, чего у них есть, кроме гордости?

— А ты видел ее в таком... э-э... тяжелом состоянии?

— Не-а! — рассмеялся Мацлиах. — У нее это обычное. Ну, она такая с рождения. Другого состояния она не знает.

— Ты это о чем? — наконец очнулся Асаф. — Какая она с рождения?

— Слепая.

Асаф вскочил.

— Слепая? Тамар?

— А тебе не сказали? Глянь-ка на собаку. Это ж собака для слепых.

Асаф взглянул на Динку. Верно. Лабрадор. Для слепых. Или почти как лабрадор. В общем-то, не совсем

похожа на лабрадора. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но Динка вперила в него особенно многозначительный взгляд и не отводила глаз, будто пытаясь предупредить о чем-то. Асафу показалось, что он сходит с ума. Слепая? А Теодора об этом ни слова? Торговец пиццей сказал, что она ездит на велосипеде. И как она удрала от сыщика?

Мацлиах улыбнулся довольно:

— Ну, теперь я тебя удивил, точно?

Издали послышался женский голос:

— Мацлиах! Скоро семь! Домой!

— Это мама. — Мацлиах встал и начал собирать остатки печенья.

Оставшийся кофе он вылил на землю и все аккуратно упаковал: стаканчики, тарелки, салфетку, Динкину миску. Асаф все торчал столбом, сам не свой от изумления.

— Ладненько. Домой пойду. — Мацлиах закинул пакет за плечо. — Завтра не придешь? Я тут буду. Поговорим, а?

Асаф смотрел на него в замешательстве.

— Еще часок или часок с четвертью. — Мацлиах ткнул пальцем вверх. — Ты глянь на небо. Великое вселенское представление начинается!

Асаф спросил, какие звезды можно узнать с первого взгляда. Он хотел выиграть время. Ему казалось, он начинает что-то понимать. Мацлиах принялся водить рукой, показывая, где появится Венера, где Полярная звезда, Большая Медведица. Асаф не слушал. Нечто поразительное открылось ему. Нечто, связанное с Тamar,

с ее безумными поступками. Эта девчонка устанавливала свои личные, особые законы. Мацлиах объяснял, а Асаф, скосив глаза, наткнулся на таинственный взгляд Динки. Он послушно задрал голову. Откуда столько щедрости в этой девчонке? Ведь как еще назвать то, что она сделала для Теодоры и для Мацлиаха.

— Я? — где-то рядом с ним сказал Мацлиах. — О чем я мечтаю? Чтоб когда-нибудь, если Господу будет угодно, можно было скататься в космос. Чтоб космические корабли, вроде автобусов, отправлялись с вокзала. — Он приставил ладонь ко рту: — Корабль на Меркурий отправляется через десять минут! Корабль на Венеру отправляется сейчас!

— И ты полетишь? — спросил Асаф.

— Может, да, а может, нет. Это смотря...

— Смотри что?

— Как настроение будет. — Мацлиах погладил Динку. — Ладненько, я пошел. Если найдешь ее, скажи: Мацлиах собирает информацию. Скажешь ей? Не забудешь? Мацлиах, так меня звать.

Дома на Асафа обрушилось то, от чего он так успешно уклонялся в течение дня. На автоответчике было пять сообщений от Рои, одно — от Даноха, одно — от Носорога и одно — от родителей, извещавших, что они уже долетели и все в порядке. Асаф наконец-то добрался до туалета и долго сидел там, читая свежий номер «Игромании», не вполне понимая слова, плывшие перед глазами. Потом принял душ, позвонил Даноху домой и рассказал, что весь день носился за собакой.

— Так это не кобель? — только и спросил Данох.

Асаф попросил разрешения продолжить беготню и завтра, и разрешение было получено. Потом он позвонил Носорогу, успокоил, что он еще жив, и сознался, что больших достижений в своем расследовании пока не добился. И все же, и об этом Асаф почему-то не мог рассказать Носорогу, у него было ощущение, что он неуклонно приближается к Тамар, движется ей навстречу.

Во время разговора с Носорогом его пронзила какая-то мысль. Мацлиах ведь сказал что-то очень важное, и он еще хотел его переспросить, но разговор как-то так вывернул...

— Асаф. Ты слушаешь?

— Да. Нет. Я тут вспомнил кое-что.

Она ищет кого-то, сказал Мацлиах и тут же испугался, что выдал чужую тайну, и быстро добавил, что это «чего-то ее личное». Кого она ищет? Как он мог его не выпросить? Как мог такое упустить?

— А от стариков что-нибудь слышно? — хмыкнув, поинтересовался Носорог.

— Да пока ничего особенного, — рассеянно ответил Асаф и быстро попрощался, радуясь, что успел поговорить с Носорогом раньше, чем с родителями.

Динка была сыта. Он устроил ей местечко и улегся рядом на ковре. Перебирая ее шерсть, он погрузился в размышления о том, кого же ищет Тамар, и вскоре задремал — сказаласть усталость. Проснулся Асаф часа через два, в доме было темно, в воздухе таяли отзвуки телефонных звонков. Асаф приготовил себе «горячее

блюдо» в упаковке, прибавил несколько сосисок с кетчупом и половину арбуза. Его почему-то не тянуло есть мамину стряпню. Слегка балдея от своей самостоятельности, Асаф презрел все домашние правила и вместе с тарелкой устроился в гостиной перед телевизором. Он посмотрел запись матча двухмесячной давности, пытаясь загасить ураган этого беспокойного дня. Трижды звонил телефон, Асаф знал, что это Рои, и не поднимал трубку до тех пор, пока не стало совсем уж поздно для прогулок. Тогда он ответил.

— Асаф, выкидыш ты несчастный, где тебя черти носят?

В трубке шум, музыка, смех. Он ответил, что застрял на работе. Рои загоготал и велел немедленно оторвать задницу от дивана и пулей лететь в «Coffee Time», а то Дафи уже заждалась.

— Яне приду.

— Что?! Как ты сказал? — Рои не поверил своим ушам. — Слушай хорошенечко, козел: мы с Мейталь уже три часа шляемся по городу с твоей Дафи, которая, между прочим, сегодня — порношоу в собственном соку, черное бельишко, пирсинг и все такое. Так что ты мне не квакай, будто ты там устал и с ног валишься! Чем ты там вообще занят, яйца чешешь?

— Рои, — тихо сказал Асаф, сам удивляясь своему спокойствию, — я не приду. Извинись за меня перед Дафи. Она не виновата. У меня сейчас не то настроение.

Наступила тишина. Асаф почти слышал, как крутятся колесики у Рои в мозгах. Рои был под градусом, но лишь слегка, так что он прекрасно врубился, что никогда еще Асаф не разговаривал с ним таким тоном.

— Теперь слушай меня, — ядовито зашептал Рои, и Асаф подумал, что сегодня с ним уже кто-то так говорил, вот с такой же злобой. Ну конечно: сыщик. — Если ты не явишься сюда через пятнадцать минут, с тобой все кончено. Понял меня, говнюк? Соображаешь, что я тебе говорю? Не явишься — ты для меня *покойник*.

Асаф не ответил. Сердце его стучало. Двенадцать лет они дружили. Рои был его первым настоящим другом. Мама Асафа рассказывала, что первый год в детском саду, до появления Рои, Асаф был такой одинокий, что когда однажды подцепил там вшей, она даже обрадовалась — ведь это означало, что он контактировал с кем-то.

— Ты останешься один, — шептал Рои с такой страшной ненавистью, что Асаф поразился: где она скрывалась все эти годы? — Никто в классе, во всей школе, никто в мире даже срать рядом с тобой не станет, и знаешь почему? Ты действительно хочешь услышать — почему?

Асаф слегка сжался, готовясь к удару.

— *Потому что я больше не буду твоим другом.*

Никакой боли.

— А теперь ты послушай, Рои, — ответил Асаф, и ему показалось, что сейчас он говорит в точности как Носорог, тихо и веско. — Дело в том, что ты уже давно мне не друг.

Он повесил трубку. Хватит, подумал он равнодушно, кончено.

Асаф пересек гостиную и снова сел на пол возле Динки. Она посмотрела на него своими выразительными

глазами. Он лег на ковер, положил на Динку голову, ощутил ее дыхание. Он думал о том, что теперь будет и действительно ли в школе все переменится. Почему-то казалось, что нет. Потому что все последние годы он и так был, по сути, одинок. Ну да, с Рои и остальной компанией ходил на вечеринки и смеялся над анекдотами, часами стучал в баскетбол, развлекался по пятницам в прокуренных кафе или душевых комнатах. И чем они там занимались, все эти бесконечные вечера? Сосали пиво, клеились к девчонкам, выкуривали пачки сигарет да притворялись, будто глушат водку, а он иногда вставлял фразу-другую в их болтовню об учителях, родителях, девчонках, а когда в ход шли нарگیлы,<sup>[37]</sup> то и он дергал несколько раз и говорил, что полный улет, а когда танцевали, он неизменно болтал у стенки с одним из парней, пока тот не набирался отваги и не приглашал какую-нибудь девчонку. А на каникулах — то же самое, только еще паскуднее: бесконечное мотание по городу, из кафе в кафе, из паба в паб, а он, он что — он, как правило, старательно скрывал свои чувства, делая по минимуму то, что от него требовалось, — только чтобы сохранить доброе имя, и всегда после такого пустого вечера, от которого пухла башка, у него возникало ощущение, что он пуфик, набитый тысячами пенопластовых шариков. Странно, ведь он и вправду был одинок, но ни разу о себе так не думал. Одиноки были другие. Нир Хармец, например, с которым в классе никто не дружил, или снобка Сиван Эльдор. И Асаф всегда их жалел. Но сам-то он что? Что было у него?

---

<sup>37</sup> Кальяны.

Ему вдруг подумалось, что он почти никогда не разговаривал с Рои про фотографию. А ведь Рои знает, что Асаф каждую вторую субботу, вот уже три года, ходит в серьезную фотостудию, ездит в Иудейскую пустыню, в Негев и на север страны, его работы берут на выставки (хоть он там всех моложе по крайней мере лет на десять). А Рои ни разу даже не поинтересовался, и уж конечно, не пришел ни на одну выставку. И что удивительно — Асаф и не думал рассказывать ему, например, об удовольствии, которое приносит удачный кадр, когда ждешь порой три-четыре часа посреди колосающегося поля, пока тень не упадет именно так, как надо, на какую-нибудь старую автобусную остановку под Михморет, с трещинами в бетоне и торчащими из них кустами каперса. Как-то получалось, что подобным вещам никогда не находилось места ни в разговорах с Рои, ни в их квартете. И тут Асаф подумал о Тамар, о том, что он хотел бы рассказать ей об этом, объяснить, как сильно фотография изменила его жизнь, как раскрыла ему глаза, в буквальном смысле раскрыла — научила видеть людей, красоту, скрытую в мелочах, ничем не примечательных на поверхностный взгляд. Было бы здорово посидеть с ней в каком-нибудь красивом месте, только не в кафе, и поговорить. Поговорить по-настоящему.

Но Асаф понимал — не было у него на этот счет никаких иллюзий, — что буря, которую Тамар подняла в его жизни, прекратится в тот самый миг, когда он ее встретит, когда ему придется держать обычный экзамен на разговорчивость, остроумие, прикольность и обаятельность. Ведь он-то сознает (сознает с безжалостной трезвостью уже не первый год), что в мире, во всей вселенной, существует только

одна-единственная ситуация, в которой у него есть хоть какой-то шанс, что кто-нибудь в него влюбится: это если она пробежит с ним бок о бок всю пятикилометровую дистанцию... А может, ему действительно надо изменить тактику и откликнуться на мольбы физкультурника и начать участвовать в соревнованиях, и там, среди бегуний на длинные дистанции, он и найдет себе девушку?

Эти размышления наполнили его беспокойством. Он прошел на кухню и залпом выпил три стакана воды, потом рассеянно просмотрел почту. Увидев зеленый конверт министерства просвещения, Асаф встrepенулся. Два месяца ждали они этого письма, и вот стоило родителям уехать, как оно пришло! Дрожащими руками он вскрыл конверт. «Дорогой/ая уча-щийся/аяся, мы рады сообщить Вам, что Вы успешно выдержали экзамен на аттестат зрелости по английскому языку».

Асаф завопил от радости одновременно с телефонным звонком. На миг он испугался, что это опять Рои, но это был отец, кричавший ему через океаны и материки из Аризоны:

— Асафик, милый, как дела?

— Папа! Я как раз про вас думал! Ну как там? Как было в полете? Мама справилась с дверью в...

Они, как обычно, говорили одновременно, кричали и смеялись. Каждая секунда стоит кучу денег, подумал Асаф, досадуя, что не может поговорить в свое удовольствие. Такая вот минута наверняка стоит половину отцовского рабочего дня, скажем — установку двух подвесных вентиляторов и починку по крайней мере трех тостеров. Неважно, к черту деньги, он хотел их обнять, почувствовать рядом. Да это и так наверняка за

счет Релли, а у Релли завелось много денег, разве нет? Эта мысль его успокоила, и он смеялся всю дорогу в Аризону, а папа рассказывал всякие чудеса о полете, и Асаф сказал, что дома все как обычно, не волнуйтесь, питается он хорошо, охраняет дом. И чувства вдруг перенесли его на несколько лет назад, когда субботним утром он прибежал поваляться с ними в постели.

— Папа, слушай, сегодня пришел ответ из министерства просвещения...

— Стой, стой, Асафик, ничего мне не говори! Скажи это маме напрямую!

Он услышал, как кладут трубку, и удаляющиеся шаги — там, похоже, очень большой дом, — и полную тишину, и попытался угадать, какие разговоры в этот момент летят через океан по параллельным линиям. Может быть, кто-то с Аляски просит чьей-то руки в Турции? Может, Фил Джексон из «Лейкерс» в эту самую минуту сообщает Папи Турджеману из «Апоэля», что он задрафтован на будущий сезон? И тут в трубке возникла мама — со всей широтой души и тела и раскатистого смеха:

— Асафенок-медвежонок, я уже так соскучилась! Как я выдержу две недели?

— Мама, ты сдала экзамен!

Молчание, а за ним — взрыв ликующего хохота:

— Пришло письмо? Официальное? Ты проверил печать? И они говорят, что я сдала? Шимон, слышишь? Ай дид ит! Есть аттестат! Ай хэв май зрелостэйшн!

Пока они там в Аризоне плясали и обнимались, пуская на ветер ползарплаты, маленькая Муки подкралась к телефону.

— Асафик? — осторожно прошептала она, проверяя, не изменилось ли в нем что-нибудь из-за того невероятного расстояния, которое она пролетела, — ты в какой стране?

И он объяснил ей, что остался на месте, это она уехала. И Муки зачастила про полет, как у нее болели ушки, и какую игрушку подарила стюардесса, и что есть в Америке, а в Америке есть белочка. И белочка такая красивая. Целый выводок белочек можно было привезти в Израиль за те деньги, которые стоит этот разговор, но ведь на самом деле платит Релли, а может, и не одна она, сейчас узнаем. И Асаф успокаивается и слушает, как Муки рассказывает про «гватемал», которых ей там купили, таких малюсеньких тряпичных куколок, которых дети в стране Гватемала кладут ночью под подушку и каждой куколке рассказывают про одну свою проблему, а утром проблемы уже нет. А Асаф, который с радостью передал бы свои проблемы этим загадочным гватемалам, осторожно попросил Муки вернуть трубку маме, потому что есть еще одна важная вещь, о которой они не поговорили.

— Что тебе сказать, Асафенок, — более сдержанным голосом произнесла мама. — Мы с ним встретились.

Молчание. Асаф ждал. Он уже все понял.

— Он чудесный, Асафенок. Он тонкий. Он шарман. И похоже, его мама наполовину из наших. Он — то, что нужно Релли. И тут у него огромный дом, ты бы видел, с настоящим бассейном, с джакузи, и такая страстная мексиканка, которая ему готовит, и Релли научила ее

готовить хамин,<sup>[38]</sup> как у нас, и он тут самый главный в какой-то компьютерной фирме...

Асаф скрючился. Сел. Вцепился пальцами в Динкину шерсть. Как он расскажет об этом Носорогу? Как тот переживет? Как вынесет всеобщее предательство? Ну, Носорог ведь и подозревал, что они поехали именно для этого — познакомиться с новым Реллиным другом.

— Асафик, ты слышишь?

— Да.

— Асафенок-медвежонок, я прекрасно понимаю, что ты сейчас думаешь, и что ты чувствуешь, и чего тебе хочется. Но это, похоже, уже невозможно. Ты слушаешь?

— Да.

— И я тебе не стану рассказывать, как мы любим Цахи и что он всегда-всегда останется нам как сын. Но Релли решила, и все тут. Это ее жизнь, ее решение, и нам нужно его принять.

Асафу хотелось завопить, наорать на Релли, оттащить ее за волосы, напомнить ей, как Носорог заботился о ней в ее худшие годы, когда она еще не была такой уж суперчувихой, как он обожал ее с восьмого класса, и в армии, и целых два года потом, со всеми ее заморочками, и с этим *простором*, который ей позарез необходим, и как он постепенно стал как старший брат в их семье, и помогал папе, когда у того случалась запарка с работой, и маме во всяких делах, начиная с покупок и кончая ремонтом квартиры, и именно это-то в конце концов и достало Релли, она

---

<sup>38</sup> Национальное блюдо сефардов (евреев, выходцев с Востока) из мяса, фасоли и картофеля.

почувствовала, что он женится не на ней, а на ее родителях. И тут Асаф с горечью подумал, что родители... ну нельзя, конечно, сказать, что они использовали Носорога, но они прекрасно пользовались его услугами тысячу раз, а Носорог все делал охотно и с удовольствием, и Асаф вспомнил, что он даже отказался от места в фирме своего отца и решил открыть литейную мастерскую, — только потому, что Релли сперва была в восторге от этой работы, такой мужской, такой физической, так тесно связанной с искусством... Да и вообще, как можно вот так перечеркнуть десять лет жизни, а кроме всего прочего, раз Релли останется в Америке, то Асаф ведь ее потеряет, ну это ладно, но ведь и Носорога он потеряет, потому что Носорог порвет с их семейкой, это уж точно, — чтобы не вспоминать о ней по сто раз на дню. И Асафа тоже вычеркнет из своей жизни.

Асаф не помнил, как завершился разговор. Наверняка не так радостно, как начался. Положив трубку, он тотчас отключил телефон, опасаясь, что Носорог позвонит опять — проверить, не поговорил ли он с родителями. Асаф не знал, что сказать ему, как смягчить ужасное известие. А врать он не умел. Он превратился просто в какой-то комок нервов. Встал. Сел. Пробежался по комнатам. Динка изумленно наблюдала за ним.

Вот в такие нервные минуты мама, погонявшись за ним по комнатам, хватая его наконец своими пухлыми руками, заглядывает ему в глаза, глубоко-глубоко, и спрашивает, что эти красивые глазки сейчас видят. А если он отводит взгляд, она восклицает: «Ага, вот до чего дошло!» — и тут же приказывает: «Немедленно ко мне в кабинет!» После чего силком волочит его в свою

комнатку, запирает дверь и не отстаёт, пока Асаф не расколется, что его гложет.

Но мамы сейчас нет, да она и сама по уши завязла в этой истории, и все так запутано, нескладно и тяжело, и он должен что-то предпринять, что-то такое, чтобы все в корне изменить, исправить, уравновесить, ну хоть чуточку, — вот что бы сделала Тamar на его месте, нечто этакое, слегка безумное?..

И тут Асафа осенило. Есть! Он залез на антресоль, стащил оттуда ведро с белой краской, оставшееся после ремонта, и большую круглую кисть. Из чулана достал стремянку, взял ее на плечо, свистнул Динке, и они вышли из дому. Быстро, ни на кого не глядя, Асаф направился к школе, пролез во двор сквозь дыру в ограде возле умывальни.

В прошлом году у них появился новый учитель, некий Хаим Эзриэли. Пожилой, одинокий, застенчивый человек, которого они затравили. Рои руководил травлей, и Асаф был со всеми заодно. Он не сделал ничего особенно подлого, просто был частью всеобщего издевательства. А учитель ему ведь симпатизировал и, узнав, что Асаф интересуется греческой мифологией, подарил отличную книгу об античных богах.

И вот в последний день занятий на стене школы они всей компанией намалевали гнусную надпись. Заявились вечером накануне прощального утренника — компания из двадцати мальчишек. Асаф был лестницей, Рои взгромоздился ему на плечи и плюхал на стену черную краску. С тех пор каждый раз, проходя мимо школы, Асаф натыкался взглядом на эту надпись, и все прохожие наверняка натыкались, и сам Хаим Эзриэли, живший через две улицы, наверняка тоже натыкался.

Асаф помешал краску, немного разбавил водой и залез на стремянку. Пустой двор был освещен одним-единственным фонарем. Динка сидела в сторонке и водила головой вслед за кистью, наблюдая, как белоснежная полоса постепенно скрывает эту мерзость, слово за словом: «Хаим Эзриэли, почисти зубы!»

На следующее утро, освеженный и обновленный ночным сном, Асаф с легким сердцем выкатил на улицу велосипед.

Среди ночи он вдруг почувствовал, как большое, теплое и не самое чистое тело сворачивается рядом с ним на кровати. И, не открывая глаз, словно всегда так и было, он обнял собаку и выяснил, как она любит спать: изогнувшись полумесяцем, прижавшись спиной к его животу, мягко дыша в его раскрытую ладонь и иногда вздрагивая, — наверное, охотясь во сне. Утром, одновременно открыв глаза, они улыбнулись друг другу.

— Вы так спите дома? — спросил Асаф.

И, не дожидаясь ответа, радостно вскочил, умылся, потом, насвистывая, тщательно причесался и сделал то, чего не делал уже давным-давно (именно потому, что мама все время приставала к нему с этим): смазал прыщи изрядным слоем крема «Окси».

Старый велосипед «Ралли», доставшийся в наследство от Носорога, Асаф вытащил из чулана еще накануне вечером. Он уже несколько месяцев не садился на него. Следовало подкачать колеса, смазать цепь и счистить толстый слой грязи с фонаря и с рефлектора. Выехав на улицу рано утром, когда ночная свежесть еще не уступила дневному зною, Асаф почувствовал себя

удивительно счастливым и снова принялся насвистывать, но только теперь не себе, а Динке. Она скакала рядом, то забегая вперед, то возвращаясь, с обожанием глядя на него. Поводок он удлинил веревкой, и теперь они наслаждались новым видом совместного движения: собака иногда даже скрывалась на миг из виду, но тут же спешила обратно.

Разумеется, Асаф предоставил Динке роль проводника, прекрасно понимая, что это — самое лучшее. Он крутил педали и видел, что бежать рядом с велосипедом для Динки — привычное дело; воображение тут же подкинуло картинку: Динка бежит между двумя велосипедами, по узенькой дорожке, вьющейся среди зеленого луга, и поочередно, с одинаковым восторгом, поглядывает на обоих велосипедистов.

И все же ему показалось, что в это утро Динка ведет его не так целеустремленно. Пробует там, возвращается тут... Не то чтобы он возражал покружить по пробуждающимся, зевающим улицам, среди ящиков с молоком, и связок газет на асфальте, и струек воды, стекающих со свежевывмытых тротуаров перед магазинчиками, пронестись мимо собачьей няньки, выгуливающей пяток подопечных, разом завистливо забрехавших на Динку...

Скоро он понял, что собака тащит его к окраине Иерусалима. Что дальше? — спросил себя Асаф. Куда она поведет его теперь, в Тель-Авив, что ли? Динка легким галопом бежала рядом, как лошадки на карусели в луна-парке, отталкиваясь поочередно то передней, то задней парой лап, но, в отличие от карусельных лошадок, вдруг резко вильнула в сторону. Асаф видел в точности, как это произошло: сначала Динкин нос уловил

некий сигнал среди тысяч запахов и воспоминаний, наполнявших воздушное пространство, затем она остановилась, вернулась назад, снова понюхала, постояла, расшифровывая сигнал собственного носа, и вдруг сорвалась с места и во всю прыть понеслась по новому маршруту.

Асаф не бывал здесь и, разумеется, не имел ни малейшего понятия, почему Динка тянет его сюда. Пару раз по дороге в Тель-Авив из окна автобуса он видел долину, вытянувшуюся вдоль шоссе, но ему и в голову не приходило, что в этой пустыне что-нибудь есть. Или кто-нибудь. Асаф спустился в долину по крутой тропке, шагая рядом с велосипедом, за спиной у него покачивался небольшой рюкзачок — кто знает, где и когда придется поесть в следующий раз.

В долине Динка повела себя уже не так уверенно. Она то убегала вперед, то возвращалась, описывая большие круги, казавшиеся Асафу случайными и хаотичными. Иногда останавливалась и с несчастным видом нюхала воздух во всех четырех направлениях, не в силах принять решение. Однажды стремглав кинулась в сторону песчаного холма, заросшего кустами и заваленного обломками какого-то хлама, но, добравшись до вершины, остановилась в изумлении, глянула направо, налево и медленно вернулась к Асафу, униженно виляя хвостом.

В одном месте тропа оказалась завалена камнями. Асаф спрятал велосипед за кустом и накрыл большим куском картона, валявшимся тут же. Он перелез через камни, пересек небольшой луг, сплошь заросший таким высоченным сладким укропом, что его макушка почти исчезла в зелени, а Динка превратилась в линию,

рассекающую заросли. Потом луг закончился, и Асаф оказался перед руинами.

Дома были сложены из массивных камней, их крыши густо поросли кустарником. Асаф двигался почти в полной тишине: только птичий щебет, да еще кузнечики стрекотали под его кроссовками. Асаф поднимался и спускался по маленьким лестничным пролетам, соединявшим дома, заглядывал в окна. Он предположил, что это брошенная арабская деревня, жители которой бежали во время Войны за независимость (согласно Носорогу) или их безжалостно изгнали (согласно Релли). Комнаты были тенисты и прохладны, а еще они были забиты целыми курганами нечистот и всякого мусора. В каждой комнате почему-то имелись две дыры: в потолке и в полу. Асаф заглянул в нижнюю дыру и увидел что-то вроде подпола. А может, то был колодец.

По деревне призраков он перемещался почти на цыпочках, весь во власти священного трепета. Когда-то, думал Асаф, здесь жили люди. Ходили, разговаривали, дети носились туда-сюда, и никто не ведал, что их ждет впереди. Асаф всегда остерегался слишком углубляться в эти мысли, может быть, потому, что стоило ему свернуть на политику, как в голове тут же начинал звучать концерт бесконечных споров Релли и Носорога. Вот и сейчас они тут как тут, спорят до посинения. Релли шипит, что каждая брошенная деревня — открытая рана на теле израильского общества, а Носорог терпеливо отвечает ей, что в противном случае так выглядел бы еedom, и что она предпочитает? И, словно олицетворяя вечный аргумент его мамы, птицей мира над головой Асафа пролетел жирный и грязный голубь. Птица тяжело шлепнулась на перила балкона, словно парящего в воздухе, и Асаф замер: казалось — балкон

вместе с остатками стены рухнет под весом этого обрюзгшего посланца мира.

И конечно, он тут же подумал: «Ну почему я не взял фотоаппарат!»

Неожиданно Асаф увидел пару кед — связанные шнурками, они висели, цепляясь за каменный выступ одного из домов. Он поднялся по ступенькам, заглянул внутрь и обнаружил двух спящих мальчишек.

Асаф отпрянул. Постоял минутку снаружи, недоумевая: что они здесь делают? Как можно жить в этом дерьме?

Спустился на две ступеньки, потом нерешительно поднялся на одну, снова остановился в дверном проеме. Один тощий пацан завернулся в грязное, забрызганное известкой одеяло, другой почти полностью раскрылся. Они спали на желтых, ободранных и обожженных по краям поролоновых матрасах. Рядом валялись пустые бутылки из-под водки «Стопка», все пространство буквально кишело мухами. Воздух гудел от их жужжания. Посреди комнаты, над дырой в полу, кто-то перевернул остов железной кровати — вероятно, чтобы не упасть в колодец.

Парни лежали по разные стороны этого пролома, прижавшись к стенам. Асафу показалось, что они младше его по крайней мере года на три. «Этого просто не может быть, чтобы дети жили вот так», — подумал он.

Асаф повернулся, чтобы уйти, не в силах вынести этого зрелища. И кроме того, чем он мог им помочь? Под ногой звякнула жестяная миска. Он отскочил и сбил железные плечики, висевшие на окне. За этим последовала цепочка мелких катастроф,

сопровождавшихся изрядным шумом. Мальчик, спавший ближе к входу, медленно открыл глаза, увидел Асафа и снова закрыл. Потом, с величайшим усилием, опять приподнял веки, его рука поползла под матрас и вытащила оттуда нож.

— Чего тебе.

Голос был совсем детский. Мальчик говорил заторможенно, с сильным русским акцентом. Никакого вопросительного знака в конце фразы. Он даже не приподнялся.

— Ничего.

Молчание. Мальчик лежал на спине, обнажив гладкую белую грудь. Он смотрел на Асафа без всякого выражения, без страха, без угрозы, без надежды.

— Еда есть.

Асаф отрицательно помотал головой, но вдруг вспомнил и достал из рюкзака приготовленные утром бутерброды. Осторожно приблизился. Мальчик протянул руку. Вторая рука продолжала сжимать нож.

Асаф отступил. Мальчик медленно, с невероятным трудом сел. Руки его слегка дрожали. Он почти целиком засунул бутерброд в рот и только после этого понял, что тот завернут в бумагу. Вытащил, кое-как развернул и засунул снова, и тогда, закрыв глаза, стал жевать, и жевал очень долго, слегка постанывая. Из-под одеяла выглядывали ступни с черными пальцами. На цементном полу, рядом с матрасом, валялась русская книжка в яркой обложке. Вдоль стен громоздилась свалка из газет,

туалетной бумаги и пакетиков от «бамбы».<sup>[39]</sup> Целая куча пустых пакетиков от «бамбы», а еще — шприц.

Мальчик умял бутерброд и обтер рот оберткой. Этот жест воспитанного человека выглядел здесь диким.

— Спасибо.

Тут он посмотрел на второй бутерброд, который держал Асаф. Его челюсти задвигались, будто жуя.

— Положи ему, — он указал на спящего.

Асаф осторожно обошел край колодца и положил бутерброд возле спящего парня. Наклонившись, он увидел черный пистолет — чуть сбоку от матраса, у нечесаной головы. Он увидел его лишь на миг и не понял, настоящий это пистолет или игрушечный. Спящий даже глаз не открыл.

Асаф снова отошел к выходу.

— Я — Асаф.

— Сергей.

Молчание. Тяжелая одышка, как у глубокого старика.

— Сергей младший. Есть тоже Сергей большой. Спать там. Есть еще еда.

Асаф сказал, что еды больше нет. Потом подумал, что, может, хоть жевательная резинка сгодится, и полез в рюкзак. Пальцы наткнулись на два шоколадных батончика. Мальчик захотел и их разделить.

---

<sup>39</sup> Очищенные жареные фисташки (*вообще-то кукурузные палочки на арахисовом масле — sem14*).

Рядом с матрасом Сергея Большого валялась тщательно разглаженная фольга из сигаретной пачки и тут же две коктейльные соломинки и несколько опаленных с одного конца кусков туалетной бумаги. Асаф на секунду уставился на них: год назад у них в школьном туалете поймали нескольких семиклассников, куривших героин. Так говорили ребята, и Асаф тоже передавал слух, бывший для него пустыми словами. Потом кто-то из седьмого класса объяснил, в чем фокус: туалетную бумагу поджигают под фольгой, от жара героин сплавляется в каплю, и эту каплю гоняют по фольге, вдыхая дымок.

Стены в комнате были исписаны длинными строчками из огромных шатающихся букв. Каждая строчка была выведена другим цветом. Асаф спросил, что там написано.

— Это? Рассказ. Пишет один, что жить здесь раньше. Уже мертвый.

Динка, все это время бегавшая снаружи и чего-то искавшая, поднялась по ступенькам. Сергей настороженно схватился за нож, но, увидев Динку, улыбнулся.

— Собака, — сказал он, и в его голосе послышались теплые нотки. — В Россия был мне тоже один.

Он снова лег, глядя на Динку широко раскрытыми глазами. Асаф не знал, как продолжить этот едва теплившийся разговор.

— Что за книга? — указал он рукой на брошенную у матраса книжку в мягкой обложке.

— Этот? Так, драконы, Ди энд Ди.<sup>[40]</sup>

— Правда? — воодушевился Асаф. — Что, и по-русски есть?

— По-русски есть все, — сказал мальчик, тяжело дыша. — Место, где я приехал, был музыка, Ди-Ди-Ти... как это на иврите?

— Квуца?<sup>[41]</sup> — догадался Асаф.

— Да... квуца... Ди энд Ди... — Глаза его сами собой закрылись.

— Погоди, — сказал Асаф.

Кто ты, как сюда попал, как дошел до жизни такой, что ел последнюю неделю, кроме «бамбы», может, ты болен, ты выглядишь совсем больным, где твои родители, они вообще знают, где ты, почему они не разыскивают тебя, не сворачивают горы, чтобы тебя найти, что с тобой будет завтра, где ты будешь через месяц, если будешь вообще...

— Я ищу одну девушку, — сказал он вместо всего этого, слабо надеясь, что Динка знала, зачем привела его сюда. — Маленькую такую, с пышными черными волосами. Она ходила с этой собакой.

Сергей медленно открыл глаза. Посмотрел на Асафа так, словно уже забыл про него, приподнялся на локтях, щурясь на квадрат света, в котором сидела Динка. Асафу показалось, что его глаза вдруг приобрели более осмысленное выражение. А потом он снова упал на матрас. Перестал двигаться. Мухи ползали в уголках его

---

<sup>40</sup> Популярная компьютерная игра «Башни и драконы» («Dungeons & Dragons»).

<sup>41</sup> Группа (*иврит*).

рта, собирая крошки. Асаф разочарованно подождал несколько секунд. Сквозь арочное окно он увидел голубое небо, очертания горы и несколько сосен. Повернулся к выходу.

Голос мальчика остановил его в дверном проеме.

— Она пришла здесь, — сказал Сергей, не открывая глаз, и Асаф вдруг покрылся гусиной кожей. — Может, назад месяц? Может, два месяца? Не знаю. Она ищет кто-то. Может, мальчик? Парень? Пришла так с фоткой. Знать, что такое фотка?

Асаф кивнул.

— Спрашивает или знают. Может, друг ее? Не знаю.

Асаф молча слушал. У него пересохло во рту. В сердце засвербела тупая боль.

— А тут был один, ему зовут Паганини. — Мальчик говорил как в полусне. — Он играл скрипка. Играл, пока взорвался газовая в руках и кончился игра.

Сергей надолго замолчал. Асаф боялся, что он снова заснул. Но тот продолжил, не открывая глаз:

— А он, Паганини, видел ее парень играть гитара на тротуар.

— И Паганини знал ее... ее парня?

— Нет... не знают. Как? Но ее парень играй очень хорошо, очень хорошо. Это Паганини личный сказал.

Асаф знал, что еще нельзя обдумывать услышанное. Надо только слушать и запоминать.

Мальчик слегка ожил, снова попытался выпрямиться, и это ему на какой-то момент удалось.

— И когда он играть, парень, есть еще много музыкантов там. Дают концерты вместе, как артист, так на улица. Как квуца. И все маленькие, дети пока. Но это тоже мафия. Не знаю. Балаган...

Он уступил слабости и снова вытянулся, продолжая бормотать:

— Я помнить ее... — Голос его то и дело прерывался сонным сопением. — Она маленькая... Не боять ничего... одна прийти здесь, кричит, вставай, вставай, смотри его фотка...

Он тихонько захрапел. Асаф подождал еще несколько секунд. Осторожно, почти на цыпочках, вышел из дома, все еще не разрешая себе чувствовать и думать. У нее есть друг, это нормально. Она его ищет. Видно, носится по всему городу и ищет его. Это совершенно нормально. Это вообще не мое дело. Я должен только вернуть ей собаку.

— Идем, Динка!

Но плечи Асафа вдруг поникли, и всякое воодушевление оставило его.

Надо позвонить Носорогу, думал он, вяло плетясь за Динкой. А то все становится слишком уж запутано. И Сергей сказал про какую-то мафию. Что за мафия, с чего это вдруг мафия, я больше не могу заниматься этим один, думал Асаф. Вообще не надо было в это влезать.

Когда они подошли к низине, заросшей сладким укропом, Динка остановилась. И Асаф снова увидел, как это с ней происходит: словно какой-то невидимый мотылек запаха, носившийся в воздухе, опустился вдруг

на кончик ее носа и тут же взмыл, указывая новое направление.

Динка резко повернула направо, пустилась бегом, остановилась, выжидательно глядя на Асафа, энергично завиляла хвостом. Подними она сейчас табличку с надписью «Иди за мной», и то вряд ли было бы яснее.

Петляющая тропка превратилась в дорожку из хорошо подогнанных камней. По обе стороны росли гранатовые, лимонные и фиговые деревья, большие кактусы-сабры. Рядом протекал ручеек, и это было так красиво, почти невероятно, что такая красота может существовать здесь, а в нескольких метрах, среди куч дерьма, лежат двое подростков.

Сквозь густой кустарник блеснул маленький водоем, открывшись, как добрый глаз, сине-зеленый в солнечном свете. На его поверхности дрожала мелкая рябь, и кристально чистая вода, поднимаясь, переливалась в ручеек, рядом с которым Асаф только что прошел.

Динка радостно залаяла. Взглянула на Асафа, на озерцо, снова на Асафа. И опять залаяла.

— Динка, — сказал Асаф. — Сейчас у меня нет сил разгадывать загадки. Тебе придется объясниться.

Он шагнул к краю озерца, на гладкие камни, окаймлявшие берег. Может, подумал он, здесь есть что-нибудь такое, что принадлежит Тамар. И вдруг перепугался: может, Тамар... там.

Асаф осторожно заглянул в воду. Страх рисовал ему кошмар, таящийся на дне. Но на дне не было ничего и никого.

Тогда он принялся шарить в кустах. Раздвигал ветки, проверял, заглядывал. Нашел два старых шприца, обрывки газеты, полотенце, гнилые арбузные корки. А Динка все скакала вокруг него, путалась в ногах, дважды едва не свалила в воду и беспрерывно лаяла — с таким воодушевлением, будто желала вытащить из мрачного состояния, в какое он погрузился.

Асаф опустился перед собакой на колени, и они очутились нос к носу. Динка тьякнула, он ухватил собачью голову двумя руками, с притворным отчаянием заглянул ей в глаза и выкрикнул:

— Что? Что? Ну что?

Динка отстранилась, высвободила голову, отскочила к самой воде, глянула на Асафа, будто говоря: «Ну, если ты не понимаешь намеков...» — и прыгнула в воду.

Мощный всплеск окатил Асафа с ног до головы. Динка на миг ушла под воду, но тут же вынырнула. Она плыла по озерцу резкими торопливыми движениями, с озабоченным и сосредоточенным выражением на морде, свидетельствующим, что плавание для собак — тяжелый труд.

Так ты этого хотела? Чтобы и я присоединился? А вдруг кто-нибудь увидит меня, подумал Асаф, и сам себе ответил: ну кто увидит, оба Сергея спят, едва двигаются, а здесь такая красота, да мне, по правде говоря, не повредит прочистить мозги. Он сбросил все, кроме трусов, и прыгнул в воду.

Холод ошпарил его тело, и он с воплем выскочил из воды, втянув в легкие весь воздух из этой долины, снова нырнул, коснувшись рукой голышей на дне, и снова всплыл, чтобы впитать еще немного солнца.

Динка плавала возле него кругами, и он чувствовал, как ей жаль, что у нее нет других способов выразить свой восторг. Хвост шлепал по воде, окатывая его ледяными брызгами, и Асаф, чья мама всегда уверяла, что он как никто владеет методикой реабилитации, а он понятия не имел, о чем это она, потопил Динку, а та вынырнула и боднула его в грудь, и они гонялись друг за другом и по периметру озерца, и по его диаметру, и Асаф цапнул с берега камень и бросил его в воду, и Динка нырнула и принесла камешек в зубах, пыхтя и отфыркиваясь, и они обнялись, как два брата, не видавшие тридцать лет.

— Так она сюда приходила? — спросил Асаф, прижимаясь лицом к собачьей морде. — Это — то самое место, куда она приходит побыть одна? И вы тут разговариваете? Или она была лишь раз, когда спрашивала этих двоих... Сергеев? Эй, а где камень?

Она была собакой, а он — мальчишкой. У них не было высокоразвитого общего языка, но в глубине души Асаф чувствовал, что это купание — дар, который Динка решила ему преподнести, и, возможно, в своем собачьем мозгу она надумала таким образом отблагодарить его за то, что он продолжает искать ее Тамар.

Потом, закрыв глаза, Асаф лежал на спине, а солнце пронизывало своим сиянием зажмуренные веки. Есть такая, размышлял он в приятной полудреме, одна-единственная на свете. Интересно, что она про меня подумает, когда мы встретимся?

Так он и лежал, тая в солнечных грезах. Он помнил, что есть некий неприятный факт, но сумел по своему обыкновению задвинуть его подальше: всему свое время, никуда этот факт не убежит. Асаф снова попытался

представить, как выглядит Тamar, соединив в воображении все, что узнал о ней от Теодоры и от сыщика. Услышал, как Динка с пыхтением вылезает из воды, мгновение спустя она уже отряхивалась, снова обдав его дождем брызг.

Холод напомнил: Тamar искала какого-то парня. «А ты что думал? — процедил горький внутренний голос. — Что она будет тебя ждать? Такая, как она, и минуты не останется одна. Ясно, что ей прохода не дают. И у нее ведь не просто дружок, а какой-то гитарист». И Асаф тут же увидел его точно наяву: красавчик с улыбкой киноактера, этакий двойник Рои, остряк, нахал, умеет рассмешить девчонок и всех сводит с ума своей гитарой.

О'кей, сказал Асаф себе, не открывая глаз, стараясь не поддаваться ревности, разгоревшейся вдруг внутри. О'кей, значит, у нее есть парень, ну так что? Какое мне дело до ее парня? Ведь я ищу ее для того, чтобы отдать ей Динку. Парень не парень, да плевать мне.

Он нырнул и оставался под водой сколько мог, надеясь остудить кипевший в его крови яд. Что с ним творится? Почему ему так больно от того, что у нее есть парень? И Асаф с горечью ответил себе: видно, так уж устроена жизнь, он ищет ее, а она — кого-то другого. Носорогу нужна Релли, а Релли нужен американец. Почему нельзя легонько стукнуть по этому миру, этак сбоку, как по ящичку с мелочевкой, со всякими гвоздями и шурупами, чтобы все встало на место? Уже начиная задыхаться, схваченный холодом так, что даже новая боль сжалась внутри, Асаф вынырнул на поверхность, позволяя солнцу утешить себя.

И солнце согрело ему живот и приласкало грудь. Мысли снова растеклись мягкими волнами. А может, он и

вовсе будет искать ее и искать — неделями напролет, месяцами, даже годами? И вот, предположим, через двадцать лет он ее найдет, постучится в дверь где-нибудь в районе фешенебельных вилл, и привратник откроет и спросит: да, как о вас доложить? А он ответит, мол, у меня кое-что есть для Тamar. У вас? — поразится слуга. Да что у вас общего с Тamar? Тamar не принимает кого попало, каждая минута ее жизни посвящена размышлениям о добре и зле, о свободе выбора, а кроме того, она сейчас в дурном настроении, поскольку только что развелась с мужем, с тем самым прославленным гитаристом...

— Видал, какую биксу сюда принесло?

— Ну признайся, у тебя на нее встал?

— Это с каких же пор сюда пидовки таскаются?

Асаф открыл глаза и увидел у самой воды трех парней.

— Доброе утро, лапуля! Хорошо выспалась?

Он встал на ноги, вода доходила ему до шеи. Было холодно. Асаф направился к берегу, но один из парней неспешно, даже прихрамывая, двинулся к тому месту, где Асаф хотел вылезти, и, когда тот оперся о берег, придавил ему пальцы ботинком. Асаф рванулся к другому берегу, прекрасно понимая безнадежность своего маневра. Динка стояла в отдалении и отчаянно лаяла, потому что один из парней, выглядевший самым старшим, ухватив ее за ошейник, так притиснул к ноге, что она не могла ни повернуть голову, ни укунить его, ни двинуться.

В полном молчании парни какое-то время поиграли с Асафом в кошки-мышки. Каждый раз один из них оказывался первым там, где Асаф хотел выбраться из воды. В конце концов, когда он почти отчаялся, они отошли и позволили ему вылезти на берег. Асаф трясся от холода, почти голый, а они стояли вокруг него. Это было скверно, очень скверно. Хуже, чем когда-либо в его жизни. Он не знал, что они с ним сделают. И что сделают с Динкой.

Старший парень приблизился, таща за собой поскуливающую Динку.

— Ну что, сестричка? — ухмыльнулся он. — Устроила джакузи в нашем персональном бассейне?

Асаф опустил голову, постаравшись изобразить полного идиота.

— Скажи, сестричка, — продолжал парень чересчур ласковым голосом, — может, ты еще и пописала в наш персональный бассейн? А?

Асаф энергично замотал головой и пробормотал, что он не знал, что это частное владение.

Парень протяжно присвистнул от изумления:

— И не видела вывески «Смертная казнь гнойным пидорам, лезущим без разрешения»?

Асаф замотал уже всем телом. Он действительно не видел никакой вывески.

— Во дает! — изумился высокий. — Никакой вывески не видела? Ави, сделай доброе дело, помоги сестричке разглядеть.

Ави ввинтил твердый палец Асафу под подбородок и давил изо всех сил, пока тот не задрал голову.

— А теперь глянь-ка, сладкая, видишь? В золотой рамке? С портретом Синди Кроуфорд? В купальнике с искрами?

Асаф ничего не видел, но сказал, что видит.

— Утопить ее, что ли, Герцль? — предложил Ави, коротышка в бейсболке, надетой козырьком назад.

— Может, стянем с нее трусыняк? — предложил третий, тот, что прихрамывал, с физиономией, сплошь усеянной выпуклыми родинками.

— А хрен ли, Кфир? У тебя чё, встал на нее?

Они расхохотались. Асаф не двигался. Вот и пришел ему конец. Сейчас они его изнасилуют.

— Нет, — сказал длинный Герцль. — У меня для таких пидоров есть план получше. Дай-ка ей одежду, только глянь, не завалялось ли там в кармашке что-нибудь, что могло бы, чисто символически, компенсировать нам моральный ущерб, нанесенный купанием в частном бассейне и подозрениями в ссаках.

Хромой поднял одежду, быстро обшарил карманы штанов и вытащил триста шекелей, которые родители выдали Асафу на обеды в мэрии и которые он самоотверженно берег, чтобы купить телевик к новому «Кэнону».

Одежду ему швырнули с такой силой, что пряжка ремня хлестнула по губе. Асаф ощутил, как по подбородку побежала горячая струйка. Не вытирая рта, он с трудом натянул штаны. Парни молча смотрели на него. Их молчание пугало. Это была передышка, за

которой могло последовать что угодно, и Асаф чувствовал, что самая тяжелая часть именно сейчас и начинается. Рукава рубашки так запутались, что он в конце концов плюнул на нее и остался полуголый. Он сглотнул, не зная, как заставить себя заговорить.

— Вай-вай, сестричка! — глумливо протянул старший, еще сильнее прижав Динку к своему бедру. — Почему ты все еще здесь, в поле нашего зрения?

— Собака, — не глядя на него, сказал Асаф.

— Чего?

— Мне нужна собака.

Он не осмеливался поднять голову. Его голос вообще не проходил через связки, а вырывался откуда-то из другого места, примерно возле локтя.

Двое младших молча уставились на Асафа. Потом перевели взгляд на верзилу, скривив рты в ухмылках.

Старший издал долгий-предолгий тихий свист.

— Собачка, значит? И не кобель, похоже. Сучка нам даже сподручнее. — Он провел пальцем по ошейнику. — Вот спасибочки, уже и номерочек ей справила, меньше расходов.

— Мне нужна собака, — повторил Асаф.

Он просто высек эти слова из какой-то ледяной глыбы, заполнившей его живот. Динка посмотрела на него. Ее поджатый хвост неуверенно вильнул.

Парни уловили блеск в глазах своего жоака и загоготали. Они заливались смехом, радостно колотя себя по коленям. Герцль поднял даже не руку, а палец, и они мгновенно замолчали.

— Скажи-ка, ты, херанутая, не жалко тебе своей уродской хари? — спросил он с веселым недоумением. — Не жалко, если сейчас Кфир сделает тебе триктрак? Он ведь у нас еще маленький, получит условно...

— Ну давай... давай поборемся, — пробубнил Асаф, не понимая, откуда вылетают эти дурацкие слова, да он просто рехнулся.

Герцль сделал шаг вперед, приставив руку к уху.

— Не врубился мы, — сказал он, нежно улыбаясь.

— Ты и я, — прошептал Асаф побелевшими губами.

Он ощущал их белизну. И все остальное его тело сделалось белым.

— Кто победит — получит собаку.

Младшие снова захохотали, завопили, хлопнули друг друга по рукам. Они скакали вокруг него и визжали, напомнив Асафу детенышей леопарда или волчат, которых пахан учит раздирать на части живую добычу.

Герцль передал Динку Ави и приблизился к Асафу. Он был на голову выше и шире по крайней мере на целое плечо. Асаф уронил рубашку. Герцль стоял напротив, угрожающе выставив кулаки.

У Асафа едва шевелились ноги, но он все же заставил себя двигаться — какими-то куцыми нескладными кругами. Герцль поворачивался вслед за ним, и Асаф видел, как на длинных, мощных руках перекачиваются мускулы. Он надеялся, что это быстро закончится. Что бы ни случилось, лишь бы закончилось поскорее, не слишком больно и не слишком унижительно. Ему было неприятно, что он голый по пояс. И еще он

смутно помнил, что в моменты опасности организм выделяет адреналин, призванный укреплять мышцы и обострять реакцию. Но его организм, наверное, очень беден этим самым адреналином. Тело сделалось вялым, внимание рассеивалось, у Асафа возникло подозрение, что он вообще *усыпляет* себя, — быть может, для того, чтобы не почувствовать скорой боли, а главное — унижения.

Герцль сделал выпад, стремясь раздражить Асафа, вернуть его к жизни, тот отпрянул и чуть не упал. Парни взвыли от восторга. Они все вертелись вокруг, скакали, мелькали перед глазами. Один даже ударил его по затылку. Герцль тут же остановился, сделал свой коронный жест пальцем — вроде какого-то киношного крестного отца — и заявил, что если кто-нибудь из них еще раз вмешается, то он, Герцль, лично слепит из урода котлету. Сквозь парализующий его страх Асаф почувствовал, как странная справедливость этого парня наполняет его сердце благодарностью.

Но в следующий миг Герцль сделал рывок вперед, даже не слишком стремительный, скорее деловитый, и его рука ухватила Асафа за горло. Асаф, и сам парень крепкий, даже не подозревал, что на свете бывает такая силища. Герцль медленно гнул Асафа назад, опалая его жаром своего тела. Жар валил от него как от печи, а из подмышек несло серой, по крайней мере, так почувдилось Асафу. Хребет уже почти трещал, жизнь медленно вытекала из Асафа, в глазах потемнело.

И тут Герцль внезапно отпустил его. Асаф стоял, оглушенный болью, голова кружилась от удушья. Он чувствовал только, что противник осторожно поворачивает его к себе лицом — словно медсестра из

поликлиники, готовящая пациента к какой-то гнусности. Асаф сознавал все, но ничего не мог изменить — ни дернуться, ни убежать, и тут Герцль аккуратно саданул его коленом по яйцам. А когда Асаф с тяжелым стоном согнулся, то напоролся на то же самое колено, расплющившее ему нос.

Неведомо сколько времени спустя странный чертеж, качавшийся у Асафа перед глазами и поначалу казавшийся детскими каракулями на голубой бумаге, медленно сложился в единую картину и превратился в ветки куста.

— Какое там сдох, где сдох? — услышал он далекий голос. — Только рожа малость попортилась.

— Да не рожа, дефективный. Это из носа хлещет. Глянь, сколько кровищи напустил!

Асаф приподнял руку, одну из двух рук, которые лежали рядом с ним. Рука весила тонну. Медленно расцепил пальцы, торчавшие из руки (это тоже заняло какое-то время), и дотронулся до носа. Нос был очень мокрый и весь в каких-то незнакомых выпуклостях. Он ощупал ноздри и все прочее. Досталось и рту, челюсть гудела от боли. Один из верхних боковых зубов болтался как-то слишком свободно.

Но почему-то, вопреки всему, Асаф ощутил облегчение.

Может, потому, что всю жизнь боялся драки с таким вот отморозком? Для которого нет ни бога, ни черта, как говорит Носорог. И от этого страха появился страх перед остальной шпаной, даже перед теми, кто был меньше и слабее его. Он словно смирился с тем, что у него

заведомо нет против них никакого шанса, что он обречен на вечное унижение. И хотя Асаф неоднократно дрался с парнями из своего класса, он знал, что это ребята его племени, и они никогда не нарушат некоего неписаного закона. Но уличную шпану он всегда обходил стороной, держался от них, подальше в клубах, не отвечал, когда они оскорбляли его самого или его друзей, научился этой безразличной, не реагирующей ни на что походке, а однажды встал и вышел из автобуса, когда один придурок велел ему встать и выйти. Он даже не спорил. Встал и вышел. И навсегда запомнил то жгучее унижение.

Но сейчас, сломленный и покоренный, Асаф уже находился по другую сторону, где не было места унижению. Он не очень-то понимал, что именно произошло, сознавал лишь одно: что-то произошло. И он преодолел некое препятствие, отравлявшее его жизнь.

— Эй, — сказал верзила. — Чего сдрейфили? Почапали.

Все трое развернулись. Асаф поднялся, то есть подтянул верхнюю половину своего тела и почти сел. В его голове носился по кругу взбесившийся мотоциклист.

— Мне нужна собака, — сказал кто-то по соседству скрипучим и неестественным голосом, судя по всему, на иврите.

— Что я слышу? — остановился верзила.

Он медленно повернулся. Асаф попытался сфокусировать взгляд. Может, там уже двое громил? Оба громилы дрогнули и слились в одного. Асаф напрягся и увидел ошейник на шее Динки, в который вцепилась

огромная ручища. Голова собаки была словно прикручена к человеческой ноге.

— Давай-еще-подеремся-за-собаку, — сказал тот, кто говорил от имени Асафа, в полном противоречии с его волей.

Легкая усмешка расплзлась в широкую улыбку.

— Слыхали лилипуточку? — Герцль посмотрел на приятелей, и те угодливо разулыбались. — Лилипуточка хочет матч-реванш.

Асаф встал. Странно, как он оказался за пределом страха. Он совершенно не понимал, что с ним происходит. Внутри засело какое-то упрямство. Словно теперь, преодолев страх, он способен еще и еще раз прочувствовать, каково это — когда тебя уничтожают.

Герцль приблизился. Снова начался тот же танец, они снова бродили по кругу. Асаф слышал собственные хрипы, как слышат свое дыхание под водой. В голове носились обрывки мыслей. Что-то о талисманах, и как жаль, что у него нет ни одного. Есть очень действенное заклинание. Нужно сжать талисман и сосредоточиться на цели, и тогда талисман испустит магический луч, который доставит тебе то, что просишь. Например, Динку. И еще есть заклинание под названием «Сжатие», оно уменьшает твоего противника в два раза. Но куда они все подевались в самый нужный момент?

Внезапно что-то быстро мелькнуло. Асаф даже не увидел движения, он лишь почувствовал, как кулак воткнулся по соседству с солнечным сплетением, это был даже не удар, а так, дружеский тычок. Но Асафу его хватило. Он тяжело качнулся назад и упал. Так это было просто — упасть. Поддаться гравитации, закону

всемирного тяготения и закону природы, согласно которому такой, как Герцль, всегда побеждает такого, как Асаф.

Герцль ждал, когда Асаф поднимется. Наконец Асафу удалось собраться с силами и встать, но он тут же споткнулся о корягу и упал снова. Колени попросту подогнулись, и он ничего не мог с ними поделаться. Он лежал, тяжело дыша. Это начинало становиться смехотворным. Он лежал на спине и ждал удара. Пинка. Чего-то, что окончательно выведет его из игры. Прямо над носом жужжала муха. От паха к пояснице расходилась боль. Герцль шагнул к нему и, протянув руку, помог ему встать. На какой-то миг они встретились взглядами. В первый раз Асаф увидел его по-настоящему, а не сквозь завесу страха. Герцль был старше Асафа как минимум года на три. У него было вытянутое мрачное лицо, чеканные черты, точеный нос и очень тонкие губы.

— Как дела, сестричка? — спросил он. — Не попила сегодня какао? Было у мамки, да все вышло?

Асаф попытался ударить его коленом. Жалкая попытка! Он видел себя со стороны, видел, что двигается слишком медленно, ему требовалось невероятное количество энергии, чтобы слегка приподнять колено. А Герцль играючи поймал его ногу за лодыжку и без особого усилия дернул вверх. От удара о землю из него вышел почти весь воздух, кости хрустнули. Герцль бросился на него, перевернул лицом вниз, навалился и заломил руку. Асаф не мог ни вдохнуть ни выдохнуть. Он хрипел, глотал землю, вопил, быть может, даже плакал.

Герцль до странности тихо сказал ему прямо в ухо:

— Если ты сейчас не заткнешься — прощайся с рукой.

Асаф что-то прохрипел.

— Не слышу.

— Мне, — почти беззвучно произнес Асаф, — нужна собака.

Герцль подтянул руку Асафа вверх еще на сантиметр. Асаф ждал, когда раздастся треск рвущихся суставов, сухожилий и что там еще есть в руке...

— Заткнись, я сказал! — Голос превратился в хриплое рычание. — Даю тебе последний шанс.

Герцль тяжело дышал ему в ухо, и Асаф впервые почувствовал, что и он устал.

— Хоть убей, мне плевать. — Собственный голос показался ему густым и вязким, как на испорченной магнитофонной пленке. — Но... мне... нужна... эта... собака. Без... нее... я... никак... не могу...

Ответа не последовало. И вдруг стало очень легко. Асаф чуть не вспорхнул, чувствуя, что ничто более не мешает ему подняться в воздух.

В наступившей тишине он услышал странный смешок, и где-то в космосе кто-то сказал:

— Надо же...

Давление на руку тоже исчезло. Асаф подумал, что все кончено, что Герцль оторвал ее, а сам он сейчас находится в преддверии боли — через мгновение она достигнет мозга и накроет его.

Но рука была при нем, более того, даже держалась в суставе. И Асаф уже снова чувствовал ее — она

возвращалась к нему сквозь лавину муравьиных укусов. Он услышал разговор, кто-то спорил над ним, кричал, — наверное, как в кино, откуда ни возьмись, в самый последний момент появился спаситель. Потoki и волны боли, исходящие, казалось, из всех частей тела, сталкивались у основания черепа. Асаф закрыл глаза в покорном ожидании. Совсем рядом кто-то тупо болботал, что ему нужна какая-то собака.

— Потому что я так сказал! — раздался резкий вскрик. — Потому что так мне угодно, улавливаешь, дебил?

— Но чего мне теперь с ней делать? — заскулил другой голос. — Если я ее выпущу, она меня загрызет!

— Не загрызет, — спокойно сказал Герцль. — Она к нему бросится.

Асаф приподнялся на локтях. Динка уже была рядом, над ним, вот ее язык приближается к его лицу, нежно облизывает. Он упал на песок и отдался ее прикосновениям. По склону взбирались три человека — они уходили, похоже, забыв о нем. Младшие швырялись друг в друга камнями и весело орали. Старший шагал чуть впереди — прямой, задумчивый и безучастный.

Асаф обнял Динку, оперся на нее и поднялся. Дохромал до озерца и медленно обмыл лицо. Увидел в воде отражение и понадеялся, что до возвращения родителей у него успеет вырасти густая борода. Динка потерлась об него, издала какое-то утешающее, всхлипывающее ворчание, которого он раньше от нее не слышал. Асаф тяжело сел на берегу, Динка устроилась рядом. Он старался не обращать внимания на пульсирующую боль, но ничего не получалось. Через несколько минут, одновременно с новым приступом боли,

к нему вернулась память. Герцль его за что-то благодарил. За что? Асаф снова умылся и застонал. Рука, гладившая Динкину спину, вдруг замерла. Вот оно — Герцль сказал: «Вот спасибочки, уже и номерочек ей справила». Но ведь Данох говорил, что собаку опознать не удалось. Преодолевая туман боли, Асаф начал вспоминать. Его мысли прокладывали дорогу будто сквозь наполненную дымом комнату. Пальцы зарылись в шерсть, нащупали ошейник, коснулись металлической пластины. Он дотрагивался до этой пластины сто раз, но ему даже в голову не пришло, и если бы не этот Герцль...

Асаф высвободил ошейник, повернул пластиной к свету. Динка терпеливо стояла, отворотив голову в сторону и не мешая ему. Он сощурил один глаз, стараясь сфокусировать взгляд.

«"Эгед".<sup>[42]</sup> Камера хранения. 12988».

Он с изумлением уставился на Динку.

— И ты все это время молчала?!

Спрятавшись за колонной на центральной автобусной станции, Асаф следил за очередью. За длинным прилавком носились три парня; громко переговариваясь и перешучиваясь со стоящими в очереди людьми, они выдавали вещи по точно таким же номеркам, как у него. Один из парней, в фуражке билетного контролера, Асафа насторожил: он был самым серьезным из троицы и всякий раз, прежде чем вернуть багаж, просил предъявить удостоверение личности. После чего тщательно сверялся с записью в большой

---

<sup>42</sup> «Эгед» — автобусный кооператив.

конторской книге, перепачканной засохшими брызгами томатного сока. Двое других проявляли меньше служебного рвения: забирали номерок, шли к огромным стеллажам в другом конце помещения, вытаскивали нужный багаж и без лишних разговоров вручали владельцу.

Асаф занял очередь. Перед ним стояло семь человек. Очередь продвигалась быстро, и Асаф понимал, что, как ни верти, его забубённое счастье приведет его прямо в объятия парня в фуражке, и он понятия не имеет, что будет делать, когда тот потребует удостоверение личности и обнаружит, что оно не имеет никакого отношения к записанному в книге имени. О том, что случилось с ним у озера, Асаф предпочитал не думать, поскольку знал, что если он позволит себе вспомнить о драке, о пропавших деньгах, о заветном и теперь недостижимом телевике, то просто свихнется от отчаяния и бессильной злобы. Поэтому он приказал расслабиться всем лицевым мышцам, что ответственны за скорбные гримасы, и безжалостно отринул недавнее прошлое заодно с ближайшим будущим. Сейчас он при деле. У него есть задача.

Тем временем парни за прилавком громогласно обсуждали грядущее иерусалимское дерби. Парень в фуражке был болельщиком «Апоэля», а двое других — «Бейтара», и они изводили коллегу шутками и уверениями, что в эту субботу, как и на протяжении всего последнего тысячелетия, у «Апоэля» нет никаких шансов.

— Почему это нет шансов?! — возмущенно огрызался фуражечник. — Все зависит от того, будет ли

Данино здоров к субботе, кто следующий? Кто следующий?

— И еще удастся ли Данино удержать Абуксиса, — засмеялся второй парень.

— И не схлопочет ли он красную карточку, — присоединился третий. — Короче, забудь!

Перед Асафом в очереди оставались еще двое. Он быстро отошел к газетному киоску. В кармане бренчало несколько монет, жалкие остатки бывшего богатства. Асаф купил «Едиот», сунул основную часть в урну и быстро пробежал глазами спортивный раздел. Приятно было хоть на несколько минут спрятать за газетой распухшую физиономию. Асаф пожалел, что парни из камеры хранения не болеют за баскетбольный «Апоэль», потому что в баскетболе он разбирался гораздо лучше. Прочитав статью о матче, он зашел в туалет и долго плескал в лицо холодной водой.

Вернувшись к камере хранения, Асаф заново занял очередь. Он непрерывно тер бирку — на счастье, и думал, что все вокруг видят его напряжение. В его любимой игре «Пламя Драконов» имелось четыре героя: Маг, Воин, Рыцарь и Вор. Воином он в это утро уже побыл, а теперь собирался стать вором. Когда подошла его очередь, парень в фуражке протянул руку:

— Быстренько, заканчиваем — и по домам.

— Ясное дело! — воскликнул Асаф. — В два часа тренировка.

Рука с номерком замерла, парень подозрительно исследовал его травмированную физиономию:

— А ты за кого?

— За красных.<sup>[43]</sup> А ты?

— Кореш! — Он подмигнул Асафу. — А вдруг опять схлопочем, как в прошлый раз? Что мы с ними сделаем? А если Данино не выйдет на поле?

— Врачи в среду должны были решить, — с видом знатока сообщил Асаф. — Может, еще и выйдет. А вдруг?!

И Асаф постарался изобразить на лице крайнее воодушевление.

— Ну уж. — Парень поскреб затылок с таким видом, словно Данино лежал перед ним на прилавке, ожидая его приговора. — Если это сухожилие — дело дрянь.

Он взял номерок и повернулся к стеллажам. Пять, десять, пятнадцать шагов. Асаф барабанил пальцами по прилавку, а парень все искал и искал, двигал сумки и чемоданы. Асаф положил руку на Динкину голову. Маг, Воин, Рыцарь, Вор. Вор делает ставку на ловкость, изворотливость и хитрость. *Выберите Вора, если вы хотите воспользоваться хитростью и смекалкой, чтобы увести вашего героя от неприятностей.*

— Ты когда это здесь оставил? — донесся крик с другого конца помещения.

— Э-э... это моя сестра сдала. Давно уже...

Не очень хороший ответ. Но лучшего у него не было.

— Нашел! — Парень вытащил большой серый рюкзак, с трудом выудив его из-за двух чемоданов. —

---

<sup>43</sup> Цвет спортклуба «Апоэль» («Рабочий»).

Месяц здесь уже валяется. Забыли его, что ли? Покажи паспорт.

Асаф сладко улыбнулся, покосился по сторонам, проверяя, куда можно смыться. Рюкзак лежал на прилавке, в десяти сантиметрах от него. Тамар была на расстоянии вытянутой руки. Он вытащил свой последний козырь:

— Кстати, Шандор из «Бейтара» тоже может не выйти сегодня.

— Что? Что ты сказал? — Глаза парня вспыхнули человеколюбивой надеждой. — Он что, поломался?

— А ты не знал?

— Ха, съели?! Слыхали, гады?! — заорал он во весь голос, толкнув рюкзак к Асафу. — Шандор сегодня не играет!

— Шандор? — рассмеялся один из парней. — С чего ты взял? Вчера еще тренировался, я собственными глазами видел!

— Мышцу потянул, — важно объявил Асаф, делая шаг назад вместе с рюкзаком. — После тренировки. В газете почитайте.

Болельщик «Апоэля», светясь счастливой улыбкой, уже переключился на следующего клиента. По правде говоря, Асаф понятия не имел, кто там из игроков «Бейтара» потянул мышцу после вчерашней тренировки. Но кто-то точно потянул, черным по белому написано, так почему бы не порадовать человека?

Прижимая к себе рюкзак, он поспешил ретироваться. В последний час его преследовал страх, ну, может, не страх, а опасение, что за ним следят.

Никаких причин думать так не было, но то ли из-за разговора с тем русским мальчишкой, то ли из-за понимания, что Тамар по уши увязла в чем-то действительно опасном, но Асаф чувствовал в затылке неприятное покалывание, чей-то внимательный взгляд, а иногда сзади раздавались осторожные шаги, однако сколько Асаф ни оборачивался, никого так и не увидел.

На площади его ждал белый от пыли велосипед. Асаф отстегнул замок, с трудом взобрался на седло и принялся медленно, страдая от каждого движения, крутить педали. Рюкзак оттягивал плечи, и Асаф, дабы забыть про боль, представлял, что тащит на спине Тамар, бесчувственную и беспомощную. Динка бежала позади, впереди, со всех сторон. Добравшись до парка Сакер, Асаф слез с велосипеда, осмотрелся, тщательно просканировав взглядом изумрудные поляны. Никого. Тем не менее он выждал, притворяясь, будто любуется красавцем-удодом, парящим над лужайкой. Динка глядела на него с недоумением, склонив голову набок, будто удивляясь, кто научил его этим шпионским уловкам. Асаф бочком отступил в кусты, положил на траву велосипед и забрался еще глубже, в самую чащу.

Он не спешил. Он хотел выбрать правильный момент, ведь это все-таки что-то вроде первого свидания. Сначала прочитал квитанцию на рюкзаке — на ней значилась дата, когда его сдали в камеру хранения. Асаф подсчитал: чуть меньше месяца назад. Похоже, Тамар сдала рюкзак и после этого исчезла. Но почему она не оставила рюкзак дома? Может, там нечто такое, что не должно попасться на глаза ее родителям? Асаф вспомнил, как поморщилась Теодора, когда упомянула родителей Тамар. Что же она сказала? Он закрыл глаза, пошарил в памяти и через мгновение выудил оттуда

слово за словом: «Нуждается она во деньгах, а за последнее время — во многих деньгах. А у родителей своих она, вестимо, не берет». Асаф перебрал в мозгу все, что слышал о Тамар, но ничего дельного не придумал.

Затем он попытался вспомнить, где сам находился в тот день, когда она сдала рюкзак. Забавно, неужели когда-то он даже не слышал о Тамар? Это как папа с мамой, которые жили в одном городе, не зная о существовании друг друга, возможно, даже сталкивались на улице, в кино, не подозревая, что наступит время, когда у них будет трое общих детей.

Но что же он делал в тот день? Асаф еще раз высчитал дату. В самом начале каникул. Что он мог тогда делать? Сейчас его жизнь казалась ему такой пустой в сравнении с двумя последними днями, наэлектризованными Тамар.

И не просто пустой. Асафу подумалось, что до того, как Тамар вошла в его жизнь, он все делал механически, не задумываясь над своими поступками и ничего по-настоящему не чувствуя. А со вчерашнего дня все, что с ним происходит, каждый встреченный человек, каждая мысль — все связано и направлено к некоему единому центру, пульсирующему жизнью.

Асаф очень медленно, волнуясь, расстегнул молнии на рюкзаке — это ведь она их застегнула. Еще миг — и какая-то часть ее жизни окажется перед ним. Это было уже слишком. Все было слишком.

У Динки иссякло терпение. Она принюхивалась и пыхла, и тыкалась в рюкзак носом, и суетилась, и рыла лапами землю. Асаф сунул руку внутрь, ощутил чуть шероховатое прикосновение ткани. Внезапно он осознал,

что делает, и в смущении замер. Что же это такое, ведь он вторгается в ее самое сокровенно-личное, в самое интимное...

Быстро, прежде чем сомнения взяли верх, Асаф вытащил джинсы «Ливайс», мятую индийскую рубашку, маленькие сандалии. Тщательно разложил вещи на траве и уставился как загипнотизированный: эта одежда прикасалась к ее телу, впитала ее запах. Если бы не Динка, то он понюхал бы одежду — как это делала собака, тоскливо поскуливая.

А почему, собственно, и нет?

Асаф понял: она действительно маленькая. Метр шестьдесят — сказал тот полицейский. Да, так он и думал: ему примерно по плечо. Он выпрямился, не сводя глаз с одежды. И вдруг почувствовал, как его заполняет радость — до самых кончиков ушей, как говорит мама.

Руки осторожно нырнули в рюкзак, вытащили еще одежду, снова нырнули, наткнулись на бумажный пакет. Асаф извлек его, отложил в сторону. Снова порылся в рюкзаке и достал изящный серебряный браслет. Провел по нему пальцем. Будь у него чуть побольше опыта в сыском деле или в девушках, он бы наверняка поискал на нем какую-нибудь метку среди цветочного орнамента, вившегося по всей поверхности. А уж будучи братом такого аса по части ювелирного дела, как Релли, он просто был обязан как следует рассмотреть браслет. Но кто знает, может быть, именно из-за Релли он немедленно сунул браслет обратно в рюкзак, так и не углядев выгравированное на нем полное имя Тамар.

Позже, много недель спустя, пытаясь восстановить в памяти свои удивительные странствия по ее следам — сплошные «а если бы да кабы», — Асаф решил, что ему

крупно повезло, что он не обнаружил в тот момент ее фамилию на браслете. Потому что если бы обнаружил, то отыскал бы адрес ее родителей в телефонной книге и поехал к ним. И родители забрали бы у него Динку, заплатили штраф, и на том бы все и закончилось.

Но в тот момент Асаф думал только об одном — о запечатанном бумажном пакете. Он все не решался вскрыть пакет, поскольку чувствовал, догадывался, а может, и надеялся, что внутри находится нечто чрезвычайно важное. Он пощупал. Может, книги? Или альбомы с ее фотографиями? Динка заскулила громче, торопя его. Асаф вскрыл пакет и, судорожно вздохнув, заглянул внутрь. Тетради. Пять. Некоторые толстые, некоторые тонкие. Маленькая плотная стопка. Он пальцами пробежался по обреза́м. Сунул в пакет руку. Вытащил одну тетрадку. Быстро пролистнул, не осмеливаясь читать. Страницы были исписаны мелким, плотным, извилистым, неразборчивым почерком.

Он достал остальные тетрадки. «Дневник», — было написано на обложке первой тетради, среди веселеньких наклеек с Бэмби, нарисованных сердечек и кривоватых птичек. Буквы немного детские; ниже три строки, выведенные красным цветом, вопили: «Не читать! Личное!! Пожалуйста!!!»

— Как ты думаешь, — спросил Асаф, — может, бывают ситуации, когда позволено читать чужой дневник?

Динка скосила глаза в сторону и разок облизнулась.

— Я знаю. Но вдруг тут написано, где она? У тебя есть идея получше?

Динка снова облизнулась, на сей раз позадумчивей.

Асаф раскрыл тетрадь. Увидел на первой странице двойную красную рамку и в ней настоящий вопль: «Папа и мама, пожалуйста, пожалуйста, даже если найдете эту тетрадь, не читайте!!!»

И внизу — крупными буквами: «Я знаю, что вы уже несколько раз читали мои тетради. У меня есть доказательства. Но я просто умоляю, чтобы эту тетрадь вы не трогали, не открывайте, пожалуйста! Я прошу, чтобы раз в жизни вы не вмешивались в мою личную жизнь! Тamar».

Асаф захлопнул тетрадь. Просьба была такой трогательной, не просьба, а мольба, что он не решился послушаться. К тому же его возмущала мысль, что родители посмели заглядывать в ее дневник. У нас дома, подумал он не без гордости, я мог бы оставить свой дневник открытым на столе, и родители никогда не стали бы его читать.

Его мать тоже вела дневник. Он иногда спрашивал ее (в последнее время все реже и реже), что она там пишет, о чем можно так много писать, что такого происходит в ее жизни? И мама отвечала, что записывает мысли и сны, а также беды и радости. Когда он был поменьше, то беспрестанно приставал, а можно ли и ему почитать. А мама улыбалась, прижимала тетрадку к груди и говорила, что дневник — это дело личное, касается только ее самой. Как, изумлялся Асаф, она и папе не разрешает читать? Представь себе, даже папе. Асаф вспомнил, что загадка маминого дневника занимала его несколько лет: что за секреты она прячет от них? А может, она пишет там и про него? Он, конечно же, спрашивал, пишет ли мама про него. Она смеялась своим раскатистым смехом, слегка запрокинув голову и тряся

блестящими локонами, и отвечала, что он может не беспокоиться — все, что она о нем пишет, он и так знает. Ну так зачем же тогда это писать? — рассердившись, кричал Асаф. Чтобы этому поверить, отвечала мама, поверить своему счастью.

А под «своим счастьем» она всегда подразумевала Релли, Асафа и Муки. Потому что замуж она вышла в солидном возрасте (по крайней мере, с ее точки зрения, в солидном) и, когда встретила его отца, успела убедить себя, что так и останется старой девой, — и вдруг, благодаря короткому замыканию и перегоревшим пробкам, она встретила этого симпатягу, этого круглого улыбчивого монтера, который без лишних разговоров согласился прийти на ночь глядя и все-все починил, а она, дабы как-то отблагодарить его, начала расспрашивать о том о сем и страшно удивилась, когда он тут же принялся рассказывать про свою мамочку, которая буквально вцепилась в него руками и ногами и заставляет его, взрослого мужика, жить у нее под боком. И пока рассказывал, он все возился с пробками, и мама, решившая было, что монтер очень застенчив и не очень опытен по части женщин, оказалась сметена этим потоком откровенностей. Она стояла рядом, держала свечу и чувствовала — тут подавался знак Асафу и Релли, а в последний год и Муки, завопить всем вместе: «Как все ее пробки выскакивают ему навстречу!»

С годами Асаф перестал размышлять над загадкой маминого дневника. Он приучил себя о нем не думать. Привык к тому, что вечерами мама уходит в маленькую комнатку, в свой «кабинет», устраивается на стареньком диване, облакачивается о высокую подушку — «как

истинная восточная ханума» — и, по-детски покусывая ручку, принимается писать.

В Асафе поднялась волна знакомого с детства возмущения: может, мама записывала и то, что Релли рассказывала ей под великим секретом из своей Америки? Может, ее дневник узнал о новом друге Релли раньше, чем у них с Носорогом появились первые подозрения?

Асаф снова раскрыл тетрадь. Динка бросила на него быстрый взгляд. Ему почудилось угрожающее рычание, и он захлопнул дневник.

— Я же не ее родители, — объяснил Асаф. — И я с ней не знаком. Для нее ничего ведь не изменится, если я прочитаю. Понимаешь?

Молчание. Динка смотрела в небо.

— В сущности, я делаю ей одолжение, чтобы привести тебя к ней, верно?

Молчание. Но уже не такое враждебное. Да-да, вполне разумно. Стоит продолжить в этом направлении.

— Поэтому я обязан использовать все, всякий намек, всякую информацию, чтобы узнать, где она!

На этот раз Динка чуть пискнула, когти слегка заскребли землю. Воспользовавшись ее замешательством, Асаф с жаром продолжал:

— Она даже не узнает, что я читал. Я ее найду, отдам ей тебя — и все! — Он пришел в восторг от собственного хитроумия. — Более того, ей больше никогда в жизни не придется меня видеть, мы же совсем чужие и останемся чужими!

Динка прекратила рыть землю. Развернулась и встала прямо напротив Асафа. Ее карие глаза глубоко-глубоко проникли в глаза Асафа. Он не шевелился. Никогда еще собаки на него так не смотрели. «Как же!» — говорили этот взгляд и эта собачья ухмылка. Асаф моргнул.

— Я читаю! — объявил он, демонстративно раскрывая тетрадь.

Сперва он быстро листал страницы — дабы привыкнуть к тому, что делает. Ему казалось, что от бумаги исходит легкий запах крема для рук. Потом пробежал глазами несколько строк. Не вникая в смысл — просто складывая буквы в слова. Он рассматривал детский почерк, карандашные рисунки на полях. Улитки и загогулины.

И вдруг разом окунулся в текст:

*... Но как Мор, Лиат и все точно знают, что будут делать, где работать и за кого выйдут замуж, а она все время погружена в свои глупости и фантазии, представления не имея о том, как сделать так, чтобы ее будущее уже наконец началось! Сейчас она боится, что женщина во сне была права, что каждый лентяй и мечтатель вроде нее проживет ошибочную жизнь, ошибочную жизнь!!!*

Асаф опустил тетрадь на колени, ничего не поняв. О ком это она? Но все вместе — сами слова, их напор, вопль в конце — потрясло его. Он еще полистал тетрадь, полную коротеньких абзацев. Описание сумасшедшего, повстречавшегося на улице, брошенного котенка,

которого усыновила Динка. Страница с одной-единственной строчкой:

*Как вообще можно жить, узнав, что случилось в холокост?*

Взгляд наткнулся на буквы неведомого языка. Он пригляделся и понял, что это иврит, но в зеркальном отражении. Времени на расшифровку у него не было. Асаф перевернул страницу и подумал, что, должно быть, у нее имелась особая причина зашифровать записи. И тогда он перелистнул страницу обратно и терпеливо расшифровал: *Иногда она думает, что, может быть, существует такой мир...* Господи, с такой скоростью он потратит на страницу не один час! Асаф встал, подошел к велосипеду. Маленькой отверткой, которая всегда была при нем, отвинтил зеркальце. Вернулся к дневнику и быстро прочел:

*...что, может быть, существует такой мир, где люди выходят утром на работу или в школу, а вечером каждый возвращается в другой дом, и там, в этом другом доме, исполняют свою роль, роль папы, или мамы, или сына, или бабушки и т. д. И они там целый вечер разговаривают, смеются, едят, спорят, вместе смотрят телевизор, и каждый ведет себя точно по роли. А потом они идут спать, и утром встают и опять идут па работу и в школу, и вечером возвращаются, но уже в другой дом, и там все начинается сначала. Папа — отец другой семьи, и дочка тоже из другой семьи, и из-за того, что за день они забывают, что было предыдущим вечером, им всегда кажется, что они у себя дома, в настоящем, правильном доме. И так всю жизнь.*

Асаф медленно выпустил тетрадь из рук. Ему было не по себе. Он подумал о своем доме. А что, если все так и есть? Что, если он действительно каждый вечер идет в другой дом и встречает других людей, совершенно чужих, и называет их «папа» и «мама»? Нет. Он опомнился — быть такого не может. Запах своей мамы он узнает среди запахов тысячи чужих мам. И прикосновение папиной руки к своей щеке, и его вечные шуточки, не говоря уже о Муки, которую он узнает с закрытыми глазами среди тысячи шестилетних девочек.

Асаф раскрыл другую тетрадь, более позднего периода. Полистал и закрыл. Странная идея не оставляла его в покое. А может, она все-таки где-то права? Потому что если она ошибается целиком и полностью, то почему же он почувствовал легкое, но вполне ощутимое жжение в сердце? Он перевернул страницу.

*Но она некрасива. Некрасива. Неважно, что все кругом говорят. С какой стати им морочить ей голову? Лиат однажды сказала ей, около двух лет назад: «Сегодня ты почти красавица». И для нее это был самый большой комплимент, который она когда-либо получала, потому что «почти» доказывало, что это правда. Но когда она сейчас об этом думает, ей хочется реветь из-за того, что внешняя красота должна решать ее судьбу!!!*

Но ведь она действительно красивая, запротестовал Асаф, он же помнит, какой ее описала Теодора. И ощутил смесь из жалости и облегчения: может, она все же не такая потрясающая красотка, какой он ее себе навоображал.

*После школы она пошла в кафе «Атара». Там была одна пожилая женщина, лет примерно сорока,*

*с гладкими короткими волосами, в черных очках с толстыми стеклами и совсем не модных, с просто ужасной кожей. Сидела и помешивала ложечкой кофе целых полчаса и даже не думала его пить. Но при этом она не предавалась грезам, потому что взгляд у нее был раздосадованный. Потом она достала книгу и стала читать, но когда я прошла рядом с пей и глянула, то увидела, что книга вообще-то на иврите! А она читает ее шиворот-навыворот.*

*Я продолжаю убеждаться, что мир вокруг полон тайн. И я уже не так наивна, как когда-то в детстве, и знаю, что у всех на свете есть свои секретные игры. И еще одна мысль пришла мне в голову сегодня на уроке физкультуры: в мире произошла какая-то мутация, в результате которой вся одежда исчезла, испарилась, и с приветом — нет больше одежды. И всем пришлось ходить голыми повсюду — в рестораны, в школу, на концерты. Брр!*

*Кстати, по поводу той женщины в кафе, она показалась ей журналисткой или судьей. И ей стало ясно, что она сама будет так выглядеть примерно через двадцать пять лет, как умная и печальная юристка, рядом с которой никто не садится.*

Асаф сидел в смущении. Одно дело — открыть чей-нибудь дневник, чтобы найти какие-то указания, способные привести тебя к нему. И совсем другое — вот так заглянуть в чужую душу. Но он уже заглянул туда, и сделанного уже не вернешь. Было нечто такое в прочитанных словах, в их горечи, в их одиночестве, от

чего Асаф не мог уже отмахнуться. Он открыл следующую тетрадь, потолще. Если бы в его распоряжении имелось несколько спокойных дней, он сел бы и прочитал все, от начала до конца, чтобы пропитаться ее жизнью. Но Динка снова забеспокоилась, да и его самого переполняло нетерпение. Асаф быстро перелистал тетрадь, взял другую и заметил, что почерк изменился, стал более взрослым, а с полей исчезли загогулины. Вот еще одна страница, исписанная зеркальным шифром.

*3.3.98. А. и И. смеются все время и надо всем. В них есть такая легкость, которой нет в ней. Когда-то и у нее была эта легкость. Когда она была маленькая, она почти уверена, что была. Да и А. и И. не всегда были такими весельчаками. Но они как бы умеют исполнять роль довольных. Может, у них это действительно иначе, потому что у них нет того, что есть у нее. Сегодня ее мысли особенно мрачны. Всюду крысы. Что случилось? Да ничего. Разве нужна причина? Вчера она навещала Тео, и они говорили про «Небо над Берлином». Какой чудесный фильм! Если она вырастет, то станет снимать сюрреалистические фильмы, в которых может произойти все, что угодно. А эта идея, что ангелы могут ходить рядом с людьми и слушать их мысли! Ужас, как здорово! (И вообще: ужас.) Был великий спор, есть ли жизнь после смерти или нет. Т. не верит в Бога, но она убеждена, что смысл в ее жизни «в юдоли плача» есть, только если существует жизнь после смерти. Я сидела тихо и воспитанно, пока она не закончила говорить, а потом объявила ей, что со мной все как раз наоборот! То есть мне обязательно нужно знать,*

*что жизнь — это только тут, и не дай бог, чтобы было переселение душ!!! Только подумать, что мне придется еще раз все это перенести!*

Асаф захлопнул тетрадь. У него было такое ощущение, будто он заглянул в разверстую рану. Его уже ни на минуту не обманывали эти перескоки с «я» на «она». В этом вся Тamar, она такая... Как бы лучше сказать? Такая умная, конечно. И такая грустная, и такая... без иллюзий. Хватается руками за оголенные провода. Ее грусть не была обычной, знакомой ему самому грустью — из-за поражения «Апоэля», например, или из-за плохой оценки. Это была грусть совсем иного плана, вроде грусти очень старых людей, которые уже все знают про эту жизнь. Асаф иногда тоже чувствовал такую грусть, наплывами, но не мог выразить ее словами и предпочитал даже не пытаться, поскольку если ты выражаешь что-то словами, то это остается с тобой навсегда, это — как приговор. Но если бы Тamar была здесь, он заговорил бы с ней об этой грусти — без страха заговорил и постарался бы найти имя тому, что подстерегает за тонкой завесой жизни, повседневности и семьи, за самым крепким маминым объятием. Асафу не нравились эти мысли, они накатывали на него, когда он сидел один в своей комнате или в странные мгновения между явью и сном. Вдруг цепляла такая вот ледяная мысль и утягивала в бездонную пасть непонятного.

А Тamar... Асаф чувствовал, что она пишет именно об этих самых вещах. И что она — первый, кто так ясно и трезво высказался об ускользающих и пугающих тенях. Он вдруг понял, что раскачивается из стороны в сторону, тербит тетрадь, открывая и закрывая ее — словно шлюз, чтобы как-то отрегулировать подступающую

волну, выплескивавшуюся на него из этих тетрадей. И хотя ничего вокруг него не изменилось — в том мире, что находился за стеной из кустов, — Асаф вдруг ощутил страшное одиночество: маленький человек, потерявшийся в открытом космосе и отчаянно надеющийся, что где-то во Вселенной болтается еще один человек — по имени Тamar.

И еще он знал, ни на миг не обманывая себя, что они разные, он и Тamar, что она не боится этих жутких мыслей или, по крайней мере, не бежит от них, в отличие от него — вечно убегающего, едва коснувшись, вечно забывающего, едва вспомнив. Она рассуждала о своих черных мыслях, об их крысиной стае, иногда даже с улыбкой, как будто о старых знакомых, иногда, вероятно, испытывая странное удовольствие от их компании. И когда он увидел страницу, на которой Тamar, словно в наказание, написала сто раз слово «ненормальная», ему захотелось перечеркнуть все это крест-накрест, а сверху начертать крупными буквами: «Исключительная». Как она обрадуется, подумал Асаф с восторгом, если я приведу ей Динку!

Он встал. Сел. Закрыл, раскрыл. Все тело горело и зудело. Динка следила за ним. Ему казалось, что она ищет его взгляд: «Теперь-то ты понимаешь, о чем я все время толкую?» Ему захотелось пробежаться. Разогнать скопившееся в крови брожение. В голове пенилось слишком много слов. Ведь Тamar... она была еще чем-то... она была больше, чем умной, больше, чем грустной, больше, чем исключительной. Она была *потрясающей*. Вот то слово, которое он искал и которое вдруг нашлось. Посмотрев классное кино, его мама часто восклицала: «Ах-х-х! Это было потрясающе!» И мамин восторг трогал его всегда — даже когда он и не понимал всего смысла

этого чуточку нелепого слова. От дневников Тamar он почувствовал именно это — то самое *потрясение*, словно явился кто-то и как следует потряс содержимое его сердца, головы, потрохов.

Динка залаяла. Нет времени, нет! Асаф продолжал лихорадочно листать тетради, страдая, что не успеет прочесть всё. Он добрался до пятнадцатилетней Тamar, и тут многое неожиданно прояснилось. Грусть и тоска исчезли, и он вдруг столкнулся с радостной, даже ликующей девушкой. Вот здорово, обрадовался Асаф, но тут же остыл: это все благодаря ее дружбе с Иданом и Ади. Их именами наполнились страницы, особенно именем этого парня: Идан сказал то, сделал это, Идан заявил, что... Идан решил, что... Так это тот самый гитарист, которого она ищет, догадался Асаф. Совершенно очевидно, что Тamar втюрилась в него. Асаф продолжал читать, и чем больше читал, тем отчетливее понимал, что этот Идан тот еще фрукт, что он откровенно играет и Тamar, и неизвестной Ади. И уж если кого-то Идан и любит, так лишь себя. Асаф изумился, как Тamar этого не чувствует, как не распознает вещей, которые сама же описывает! Скажи, Динка, как она, со всем ее умом и проницательностью, может млеть от этого козлина Идана?!

Асаф взглянул на дату в конце последней тетради — дневник заканчивался ровно год назад. Быстро проверил даты других тетрадей. Сложил их по порядку и понял, что если и была еще одна тетрадка, описывающая последний год и способная открыть ему, из-за чего отправилась Тamar в путь, то здесь ее нет.

Минуту он сидел разочарованный, сбитый с толку противоречивыми мыслями. Но сейчас не время

предаваться разочарованию. Нужно бежать. Странно, почему он так торопится, ведь вроде бы ничего не произошло. И тем не менее Асаф чувствовал, что песок стремительной струйкой утекает в огромных песочных часах, что где-то там все начинает раскручиваться быстрее и быстрее, стремясь к развязке.

Асаф аккуратно сложил вещи обратно в рюкзак: одежду, сандалии, тетради. Он не знал, куда теперь идти. Может, на улицу Бен-Иегуда, поискать гитариста, о котором говорил Сергей? Но у него не было ни малейшего желания встречаться с этим парнем. А еще не было желания выходить на бойкую улицу, наткаться на незнакомых людей, разговаривать словами, которыми все пользуются. Асафа не покидало ощущение, что за то короткое время, что он сидел в кустах, случилось что-то неожиданное, что-то хорошее. Не только с ним, но и вообще — в мире. Не может быть, чтобы все продолжалось в том же духе, как и час назад. Ему вдруг до боли захотелось немедленно увидеть ее и рассказать о своем ощущении. Возможно, ему даже не придется ничего рассказывать, возможно, в эту самую минуту она уже все поняла — не ведая, кто он такой, не зная о нем ничего. Возможно, она уже почувствовала...

# Ну как звезда посмела в одиночку

*Ну как звезда  
посмела в одиночку...*

Она не знала, когда снова увидит Шая. На следующий день после их первой встречи он не явился на ужин. В Иерусалиме он, или остался ночевать в каком-нибудь отдаленном городе, или нарочно избегает встречи с ней? Она ела опостылевшее пюре, и взгляд ее беспрестанно устремлялся к двери.

Еще через день Шай появился — вошел в столовую, сел и не поднимал головы до конца ужина, не замечая ни ее настойчивых взглядов, ни криков, посылаемых ее пальцами. Закончил есть и ушел, а назавтра опять не появился.

Зато появился Пейсах — сел со всеми вместе, явно пребывая в отличном расположении духа. Шорты его чуть не трескались по швам на ляжках, Тамар подумала, что он, похоже, никогда не меняет и не стирает свою майку-сетку. Пейсах шутил, сыпал анекдотами и байками из своего армейского прошлого (он подвизался в качестве завхоза какого-то армейского ансамбля), хвастался борцовскими успехами. Тамар наблюдала за ним и думала, что если она станет дожидаться, пока Шай соберется с духом, если не предпримет чего-нибудь немедленно, то попросту сойдет с ума.

Она украдкой вглядывалась в грубое лицо Пейсаха, и резкие контрасты этого лица помимо ее воли произвели на нее впечатление. Мясистые губы выдавали

абсолютную распущенность, граничащую со скотством, в его мертвых глазах и в толще плоти пряталась равнодушная жестокость, и вместе с тем в этом лице читалось и неуклюжее добродушие, и неприкрытое желание нравиться и быть любимым. Пейсах встал, похлопал по карманам шортов и сказал, что забыл сигареты в машине, кто угостит его сигареткой? И тут же со всех сторон к нему потянулись открытые пачки, и Тамар стало противно от всеобщего подхалимства, но тут ее как током стукнуло: перед глазами еще раз мелькнул его жест — как Пейсах похлопал себя по карманам. Сердце ее заколотилось: пустые карманы и сетчатая майка без карманов. Сейчас или никогда.

Тамар дождалась, пока какому-то везунчику не привалила великая честь оделить Пейсаха куревом и тот жадно не всосал первую порцию дыма. Тогда она встала, громко сказала Шели, что только на минутку в туалет и пусть не убирают ее тарелку, вышла из столовой и рванула со всех ног.

Коридор был пуст. Единственная лампочка, висевшая на шнуре, раскачивала на стенах тени. Тамар повернула ручку, уверенная, что дверь заперта. Вся эта затея была безумной и безнадежной игрой.

Дверь открылась.

В кабинете Пейсаха было темно. Тамар пробралась на ощупь. Обошла один стул, наткнулась на другой, нашла наконец стол. На него, к счастью, падала полоска лунного света. Она выдвинула верхний ящик. Папки и бумаги были навалены беспорядочными грудями, но Тамар знала, что ищет — красный блокнот. До этого вечера она ни разу не видела Пейсаха без красного блокнота. Она быстро перебирала содержимое ящика,

стараясь по возможности не нарушать первозданность хаоса. Блокнота не было. А ты как думала? Он наверняка держит его в потайном кармане, где-нибудь в трусах. Тамар открыла второй ящик. Старые кляссеры, тетради, пачки парковочных талонов из разных городов.

В коридоре слышались голоса. Кто-то направлялся к двери. Даже двое! Шаги были быстрыми. Тамар пригнулась, попытавшись спрятаться за столом. Боже, подумала она, хоть я в тебя и не верю, и пусть Тео сколько угодно дразнится, что в страшный момент я все же обратилась к тебе, Боже, умоляю тебя, сделай так, чтобы они сюда не зашли!

— Вот увидишь, в конце концов я его уломаю продать. — Она узнала Шишако. — Такое охеренное аудио в аккурат для моей тачки.

— Накинь штуку — падлой буду, продаст, — ответил другой, незнакомый голос. — Как миленький продаст. Факт, продаст!

Шаги начали удаляться.

Тамар еще немножко подождала, парализованная ужасом. Взгляд ее наткнулся на замок, висевший на нижнем ящике. А то как же! Потому-то он и не взял с собой блокнот. Тамар потянула ящик, ни на что не надеясь. И не поверила своим глазам: впервые в жизни удача была на ее стороне.

Блокнот лежал там, красный и пухлый, с исцарапанной и засаленной пальцами Пейсаха обложкой.

Сначала она ничего не понимала. Страницы были плотно исписаны столбцами и строчками, сокращениями, именами и цифрами. И все миниатюрнейшим почерком, особенно контрастировавшим с размерами лапы, которая

выводила эти букочки. Тамар придвинулась к окну, стараясь уловить хоть чуточку света. Взгляд скользил по строчкам, и лицо ее вытягивалось: эти каракули чрезвычайно походили на шифр, но у нее просто нет времени, чтобы разбираться с ним. Тамар закрыла блокнот. Зажмурилась, собралась с мыслями. Открыв глаза, обнаружила, что строчки — названия городов, а столбцы — даты выступлений. Строчки и столбцы образовывали сетку. Кровь пульсировала в висках, на шее и даже где-то внутри глаз. Тамар поискала столбец с сегодняшней датой. Нашла, потом отыскала пересечение со строчкой «Тель-Авив», и в той клетке, где они пересекались, обнаружила свое имя. Сокращения сделались понятны: ПД значило площадь Дизенгоф, где она выступала сегодня утром, а СД — Центр Сюзан Далаль.

Блокнот дрожал у нее в руках. Тамар постаралась забыть все, что находилось по ту сторону двери, всех, кто мог зайти в эту комнату. Только сейчас она смогла оценить смелость Шая, решившегося позвонить отсюда. Или глубину его отчаяния. Это случилось в десять вечера, и родителей не было дома, а она чуть не упала в обморок, услышав его после столь долгого отсутствия. Он говорил сдавленным голосом, едва сдерживая истерику. Рассказал о какой-то аварии. Она с трудом понимала его. Умолял, чтобы они забрали его, спасли, только без полиции. Если они приведут полицию, то ему крышка. Она сидела на кухне, зубрила тригонометрию, по которой на следующий день был экзамен, и ей потребовалось какое-то время, чтобы понять, что Шай говорит. У него был совсем другой голос, и мелодия и ритм совершенно изменились. Шай был чужим. Сказал, что это ужасное место, что-то вроде тюрьмы, что все

остальные здесь наполовину свободны и только он в пожизненном заключении, и на одном дыхании выпалил, чтобы она от его имени попросила прощения у папы, что драка вышла из-за какого-то минутного помешательства и что здешний босс — это такой тип, про которого он полгода не мог решить, дьявол он или ангел, что-то абсолютно замороженное, абсолютно нездоровое...

И тут она услышала скрип двери. У себя дома, на кухне, услышала, а Шай — нет. Он произнес еще несколько слов, и вдруг замолчал, и начал задыхаться, бормотать: «Нет... нет... нет...» Потом зазвучал другой, нечеловеческий голос, больше похожий на рык разъяренного хищника, что-то утробное. А дальше удары — один за другим, точно кто-то выбивал пыльный мешок о стену. Еще и еще, и вопль, и плач. В первый момент она не поняла, кто вопит — человек или животное.

Здесь, в этой самой комнате.

Только не думать об этом.

Тамар перелистнула дальше, отыскивая строки с Иерусалимом. Потом стала искать имена: его и свое. И не находила, не находила. Сверху доносился звон вилок и топанье. Начинают убирать посуду. У нее есть еще минута, может, полторы. Она быстро водила пальцем по числам, остановилась на ближайшем воскресенье. В строчке с Иерусалимом нашла только свое имя. Шай будет в Тверии. Палец пробежал по всей строчке и уткнулся в следующий четверг. Ее глаза расширились: его и ее имя, одно рядом с другим. Шай появлялся в месте, обозначенном ПМ, а она значилась в СП. Оба запланированы с десяти до одиннадцати утра. Она захлопнула блокнот, сунула его в ящик и замерла на миг, дрожа всем телом. Через девять дней. Неделя и еще два

дня. Он будет на площади перед «Машбиром», а она — на Сионской площади. Всего несколько сот метров. Как ей устроить встречу? Никогда ей это не удастся! Через девять дней она его отсюда вытащит!

А теперь — убирайся, кричали все ее чувства. Прошло почти пять минут с того момента, как она вышла из столовой, и ее тарелка оставалась на столе, так что Пейсах запросто может послать кого-нибудь проверить, куда она подевалась. Но она еще не закончила. Она скользнула к двери, слегка приоткрыла ее и выглянула. Коридор был пуст. Голая лампочка все так же раскачивалась на сквозняке, отсвечивая тоскливой желтизной. Тамар тихо закрыла дверь и вернулась к столу. Пальцы так дрожали, что ей не удалось набрать правильный номер. Еще раз. В телефоне зазвучали длинные гудки. Только бы она была дома, только бы она была дома!

Лея сняла трубку. Голос был таким напряженным и деловым, как будто она стояла и ждала этого звонка.

— Лея, — прошептала Тамар.

— Тамочка, ласточка! Где ты, девочка, что с тобой? Прийти?

— Лея, не сейчас. Слушай: в следующий четверг, между десятью и одиннадцатью, жди с машиной...

— Постой, не так быстро. Мне надо записать...

— Нет, времени нет. Запомни: в следующий четверг.

— Между десятью и одиннадцатью. Где?

— Где? Погоди...

Желтый «фольксваген» Леи промелькнул у нее перед глазами. Она постаралась представить узкие

улочки в центре Иерусалима. Тамар не знала, какая из них открыта для проезда, какая — односторонняя и какая ближе всего к Шаю.

— Тамар? Ты слушаешь?

— Я думаю. Секунду.

— Можно тебе кое-что сказать, пока ты думаешь?

— Я так рада тебя слышать! — Тамар поцеловала трубку.

— А я-то тут сижу — не нахожу себе места. Уже почти три недели, как тебя ни видно ни слышно! А Нойка мне покою не дает: «Где Тами-мами, где Тами-мами?» Ты только скажи мне, родная, удалось тебе? Ты попала туда?

— Лея, мне пора.

В коридоре раздались шаги. Она положила трубку и сжалась в комочек за столом. Подождала еще несколько ударов пульса. Тишина. Видно, померещилось от страха. По крайней мере, удалось передать Лее сообщение. Теперь бы выбраться отсюда.

Но, подойдя на цыпочках к двери, Тамар вдруг ощутила непреодолимое желание позвонить еще. Это было безумием, бессмысленным слаломом между разумом и чувствами. Но желание поговорить с еще одним человеком из прежней жизни жгло все нещаднее. Тамар дотронулась до дверной ручки и надолго замерла, разрываемая противоречивыми чувствами. Ей нужно отсюда убраться. Да и кому звонить? Родителям? Нет, нельзя. Разговор с ними выбьет ее из колеи. А Идан и Ади сейчас в Турине, да если бы и вернулись, о чем с ними говорить? Кто же остается? Лея, Алина и Тео. Три

ее подружки. Три ее матери. «Тео — мать разума, Лея — сердца, а Алина — голоса» — так когда-то написала она в дневнике. Не помня себя, Тамар шагнула обратно к столу, подняла трубку, в которой визжала сирена, но у нее больше не оставалось сил противиться. Разговор с Леей пробудил то, что она отодвигала и прятала в глубинах своей души. И Тамар подхватил мощный поток воспоминаний о прошлой жизни, ее обыденности, свободе, о том, что это значит — не обдумывать сто раз каждый поступок, не страшиться слезки и проверок, не бояться говорить все, что приходит в голову. И точно во сне, в дурмане, отчаянно стремясь к теплу и любви, Тамар набрала номер.

Гудки. Тамар увидела старинный черный аппарат с круглым диском, услышала мягкий торопливый шорох веревочных сандалий.

— Да? — раздался резковатый голос с гулким акцентом. — Да, кто здесь? Это Тамар? Моя Тамар?

Тяжелая красная рука с черным квадратным перстнем на пальце легла на телефон.

— Ни в жисть на тебя не подумал бы, — сказал Пейсах и зажег лампу, залившую комнату ровным светом. — Чтоб именно ты? Частные разговоры? И по ком же звонил колокол? По кому-нибудь, с кем мы знакомы? По папе-маме? Или по кому-то еще? Сядь! — рявкнул он, с силой пихнул Тамар на стул и начал прохаживаться у нее за спиной.

У Тамар заледенел затылок. Это провал! Она провалилась в точности как Шай. И в той же самой комнате.

— Теперича у нас есть две возможности. Или ты по-хорошему сама скажешь, с кем лясы точила, или мы тебя заставим. Чего выбираешь, милая?

Пейсах всем телом навалился на стол. Мощными жаркими волнами от него исходила грубая сила, бицепсы перекатывались, точно штормовые валы. Тamar сглотнула.

— Я бабушке звонила, — прошептала она.

— Значит, бабушке, а? Так, снова две возможности, — медленно произнес Пейсах.

Тамар потрясенно смотрела, как весь жир на его лице, все эти складки-ямочки всосались куда-то внутрь и наружу выступили кости, обтянутые упругими мышцами.

— Или я попрошу у тебя тот номер, который ты набрала, и ты даешь его по-хорошему...

Тамар молчала.

— Или я нажимаю на кнопку повторного набора.

Тамар глядела на него без всякого выражения. Только не показывать, что она боится. Этого удовольствия он не дождется.

Телефон пискнул, автоматически набирая номер. Пейсах прижал трубку к уху. Тишина, потом гудок. Сквозь руку Пейсаха Тамар услышала скрипучий голос Теодоры, звучащий встревоженно и напуганно. Пейсах молчал. Теодора снова закричала:

— Да? Да! Кто это? Тамар? Тами? Это ты?

Пейсах повесил трубку. Рот его слегка скривился в сомнении.

— Ну-с, — наконец сказал он, брезгливо морщась, — совершенно случайно она звучит как бабуся.

Тамар с облегчением распрямилась. Удивительно, как такая глупейшая ошибка может обернуться спасательным кругом. Черт, черт, черт, тут же подумала она, впиваясь ногтями в ладони, я ведь забыла сказать Лее название улицы! День и час сказала, а название улицы — нет. Какой ужасный прокол...

Пейсах задумчиво вышагивал по комнате. Потом снова навалился перед ней на стол:

— Вставай. На сей раз ты из этого выкрутилась. Носом чую — чем-то от всего этого несет, но ты кое-как выкрутилась. А щас получше прочисти уши...

Тамар не шевелилась, с тоской вспоминая, как она с первой же минуты подгадила себе, спев «Не называй меня милой», а потом еще добавила — обозвала Миком вором и отдала деньги той русской. Где был ее рассудок, почему позволил чувствам взять верх...

— Еще разок щекотнешь мне залупу — и тебе кранты. Даже пой ты, как Хава Альберштейн и Иорам Гаон вместе взятые, выйдешь отсюда таковской, что больше никогда петь не сможешь, вот тебе мое слово. И слушай сюда хорошенечко, милая...

Милая, как же!

— Я еще не совсем просек твои заморочки, ясно? От тебя точно чем-то таким несет, а я в этих вещах еще ни разу не ошибался.

Тамар внезапно ощутила, как в ней с каждой секундой тает то самое загадочное вещество, которое

связывает между собой кости, мышцы, руки, ноги, черты лица.

— Так что заруби себе хорошенечко на носу: еще не родился тот, кто вздрючит Пейсаха Бейт Галеви. Мы друга друга поняли?

Тамар кивнула.

— А теперь сваливай отсюда!

И Тамар свалила.

Когда она допела последнюю песню, люди зааплодировали, закричали «браво». Некоторые подходили, хвалили, благодарили, спрашивали о песнях. Тамар, против обыкновения, отвечала подробно, затягивая разговор. Краешком глаза она увидела, что Мико топчется у ближайшего прилавка с шаурмой. Быстрым взглядом скользнула по людским лицам: кому довериться? Две молодые туристки из какой-то северной страны, говорившие по-английски с раскатистым «р», не в счет. К ней склонился высокий и худой человек с бородкой и чуть китайским лицом.

— Такая чистота! Когда ты начала петь, я был на другом конце улицы и подумал, что слышу флейту, — все нахваливал он ее голос.

Но что-то в нем показалось Тамар чуточку фальшивым, а может, ее оттолкнуло то, что он напомнил ей о ее собственной фальши.

Хрупкая дама с прозрачной кожей, ломая в плохо сдерживаемом волнении руки, прочирикала, что она должна поведать ей что-то чудесное-чудесное, но лучше подождет, когда все разойдутся. Рядом с дамой стоял

пожилой пухлый коротышка, державший в руке потрепанную коричневую сумку. Тамар решила, что он из маленьких чиновников — исполнительный трудяга. У толстячка были добрые глаза, большие и круглые за стеклами очков, обвислые усы, широкий галстук, давным-давно вышедший из моды, и рубашка, вылезавшая из брюк. Коротышка явно стеснялся. Тамар взглянула на него, улыбнулась самой сияющей своей улыбкой. И он тут же откликнулся, заулыбался в ответ и забормотал, что он «хоть и полный профан в законах пения, но, услышав ее голос, вспомнил то, чего не испытывал уже многие годы». Глаза толстяка увлажнились, и он обеими руками сжал руку Тамар. И она быстро, прежде чем и он сладко заворковал о чистоте ее голоса, протянула ему вторую руку, а умоляющий взгляд ввинтился в его глаза. Изумление хлынуло из-за стареньких очков, мохнатые брови поползли вверх, когда он ощутил в ладони клочок бумаги.

За его спиной, метрах в двадцати, Мико, задрав голову, слизнул желтоватый соус, сочившийся из лепешки. С самого утра он не спускал с Тамар глаз, и она догадалась, что после вчерашнего происшествия Пейсах велел ему следить за ней в оба.

Коротышка наконец опомнился. Сжал бумажку в кулаке и напряженно улыбнулся.

— До свидания, — с ударением сказала Тамар и почти оттолкнула его.

Толстяк, похоже, что-то понял и быстро засеменял прочь. Тамар со страхом следила за ним. Хрупкая дама, дождавшаяся наконец своей очереди, нетерпеливо набросилась на нее:

— Ты просто обязана об этом узнать, девочка, вот послушай! Просто обязана! Жила когда-то величайшая певица. Роза Рейзе, она бежала из Белостока, звали ее тогда Розой Брухштейн, и не смейся, пожалуйста, многие считали ее самой великой певицей на свете после Карузо. Пуччини и Тосканини мечтали о такой...

Тамар машинально кивала, голова ее болталась вверх-вниз наподобие мячика на резинке. Толстенький коротышка удалялся энергичными шажками. Вот он уже прошел совсем рядом с Мико, они даже не взглянули друг на друга. Круглая лысина коротышки покраснелась — от жары, а может, и от волнения. Тамар молила, чтобы ее выбор оказался правильным, чтобы этот маленький человечек не подкачал.

Кто-то тоненько хохотнул рядом с ней. Хрупкая дама дрожала, наслаждаясь своей историей:

— И вот однажды Розе Рейзе довелось ехать по Мексике на поезде, и на поезд напал знаменитый разбойник Панчо Вилья. И Роза сказала грабителям, что она певица, но они ей не поверили. Но когда она открыла рот и запела — прямо в вагоне, в самый разгар пальбы, — они не только отпустили ее с богом, но и угостили своей знаменитой мексиканской текилой...

Тамар рассеянно улыбнулась, поблагодарила даму, подобрала деньги и магнитофон, позвала Динку и отправилась к условленному месту — встречаться с Мико. Краем глаза она успела заметить, что человечек с коричневой сумкой уже в самом конце улицы. Ей понравилось, что он не остановился тут же прочесть записку и ни разу не обернулся. У нее в кармане лежали еще две такие же записки, заготовленные накануне. Она собиралась передать их трем разным людям, но доверие

у нее вызывал лишь он один. У нее было такое чувство, что этот толстяк — именно тот, кто ей нужен.

Моше Хонигман, бывший судебный стенографист, а ныне одинокий пенсионер, вдовец с сорокалетним стажем, скрашивал однообразие профессиональной карьеры скромными увлечениями. Он был собирателем старинных географических карт, книг о путешествиях в Святую землю и пластинок с записями духовых оркестров. Еще Моше Хонигман играл в шахматы по переписке с любителями этой древней игры по всему миру, а кроме того, завел себе обычай разучивать ежегодно по одному новому языку на уровне незатейливой уличной беседы. Это был вечно воодушевленный и вечно чем-то растроганный человек, которого старость застукала где-то в разгаре детства. Вдобавок ко всем вышеперечисленным занятиям он был также запойным читателем детективов, что продаются по пять шекелей за штуку в маленьких букинистических лавках и помогают на пару часов заглушить невыносимое душевное томление.

Сейчас Моше Хонигман торопливо шагал по одной из отходящих от Бен-Йегуды пешеходных улочек. Его немолодое сердце отчаянно колотилось, но он не позволял себе задержаться и успокоиться. Он все еще видел перед собой умоляющие глаза девушки, которая — ясно как божий день — была в серьезной опасности. Моше Хонигман быстро шагал и лихорадочно, но более чем логично, размышлял: за девушкой кто-то следит, именно поэтому она так странно повела себя. От волнения ноги чуть ослабли в коленях, и он заставил себя замедлить шаг. Пятьдесят лет общения с

преступным миром (кроме сотен проглоченных детективов в счет шли и долгие годы, проведенные на судебных заседаниях) четко диктовали Моше Хонигману, что нужно предпринять. Он то и дело останавливался перед какой-нибудь витриной, поправлял последние волоски, прилипшие к вспотевшему лбу, и внимательно проверял, не отразится ли в стекле какая-нибудь подозрительная личность.

Мигом погрузившись в необычную историю, Моше Хонигман кружил по улицам, напряженно разрабатывая захватывающие дух сюжеты, достигавшие кульминации в тот момент, когда девушка обращалась к нему. И между этими фантазиями он благословлял свою звезду, сделавшую его внешность такой обыденной, такой неприметной, такой неподозрительной. И он постарался сделать еще обыденнее и неприметнее, изобразив на лице застывшую чудовищную улыбку, придававшую ему, по его мнению, обличье добродушного подслеповатого дедули.

Профланировав таким образом целый час, возбуждая самые тяжкие подозрения у всех попадавшихся на его пути прохожих, Моше Хонигман юркнул в кафе «Гранат», заказал себе тост с сыром и поменял свои уличные очки на очки для чтения. Из коричневой сумки он извлек газету «Маарив», торжественно расправил, с головой скрылся за ее страницами и только тогда наконец развернул заветную записку.

*Дорогие сударь или сударыня, меня зовут Тamar, и я очень-очень нуждаюсь в вашей помощи. Я знаю, это звучит странно, но вы должны мне поверить, что речь идет о жизни и смерти.*

*Пожалуйста, помогите мне. Не ждите ни минуты. Не откладывайте этого на завтра. Сейчас же, прямо сейчас позвоните, пожалуйста, по телефону 6255978. Если не отвечают, попробуйте позвонить попозже. Прошу вас, не теряйте эту записку! Попросите к телефону женщину по имени Лея. Расскажите ей, как к вам попала эта записка, а самое главное, пожалуйста, скажите ей, что Тamar просила сообщить: в назначенное время, в назначенный день, на улице Шамай, напротив стоянки такси. Потом, прошу вас, пожалуйста, уничтожьте эту записку.*

Из-за «Маарива» медленно всплыло изумленное круглое лицо Моше Хонигмана. И так, он был прав, черт побери! Малютка действительно угодила в страшную беду! Он еще и еще раз перечитал записку, стараясь угадать, откуда вырван листок. Потом посмотрел бумагу на просвет, пытаюсь найти какие-нибудь тайные знаки.

— Ваш тост, пожалуйста, — сказал официант.

Моше Хонигман ошалело уставился на него. Тост? Сейчас? В такой отчаянный момент? Схватил свою сумку, бросил на стол купюру и опрометью выскочил на улицу. Обнаружив на углу телефон-автомат, набрал номер.

— Да! — раздался грубоватый женский голос на фоне звона посуды, звука льющейся воды и людского гомона.

— Госпожа Лея? — с дрожью в голосе осведомился Моше Хонигман.

— Да. Кто это?

Он заговорил торопливым полусшепотом, тяжело задыхаясь:

— Это Моше Хонигман. Сейчас у меня, к сожалению, нет возможности представиться должным образом, но я имею рассказать вам некую исключительную в своем роде историю. Историю про... — он заглянул в записку, — про Тamar. Не найдется ли у вас для меня минуточки?

Очень скоро Моше Хонигман впорхнул обратно в кафе, заставил официанта вернуть его все еще теплый тост и откинулся на спинку стула с выражением мечтательной радости на лице. Голова кружилась от невероятных событий. Но не прошло и минуты, как он уже вовсю нервничал из-за того, что Леи до сих нет. Вскочил, выглянул на улицу, вернулся на свое место и громко вздохнул. Посмотрел на часы, потом еще раз, и еще. У него были старые часы — из тех, что выпускали в Эрец-Исраэль в эпоху британского мандата, — вместо цифр на них были обозначены имена двенадцати колен Израилевых. Было как раз Завулон и двадцать минут, и Моше Хонигман не знал, как ему убить время до без десяти Неффалима. Он без конца разворачивал записку, лаская ее взглядом, словно это был выигрышный лотерейный билет, перечитывая раз за разом последние слова:

*Я заранее благодарна вам за огромную помощь. Мне хотелось бы отплатить вам добром за добро или хотя бы оплатить телефонный разговор. Я надеюсь, что очень скоро с вами случится что-то хорошее и вам воздастся за вашу сердечную доброту. Спасибо, с глубоким уважением, Тamar.*

Всего шесть дней оставалось до побега, а она все еще не имела ни малейшего понятия, как сделать так, чтобы они с Шаем встретились на полпути между местами их выступлений. Тамар была до того напугана, что ей не удавалось подумать об этом ни во время кратких переездов, ни ночью, в постели. Это было глупо и безответственно, но она никак не могла смахнуть завесу из тумана, опускавшуюся перед ней всякий раз, как ее мысли приближались к опасной зоне.

В пятницу после ужина ребята расставили стулья в столовой вдоль стен. Пейсах с двумя бульдогами уселись в центре. Пришла даже жена Пейсаха, маленькая молчаливая женщина, взиравшая на мужа с восхищением и улыбавшаяся, не разжимая губ. Притащился и Шай, опустился на указанное ему место. Остальные тоже сели — этаким уютным кружком. Потекла легкая беседа. Орталъ, фокусница, сказала, что эти деревянные стулья в точности как школьные, те самые, от которых ноет спина, и начались разговоры об учителях, о занятиях, о турпоходах. На какую-то минуту Тамар пригрезилось, что она в летнем лагере или, как однажды сказала Шели, в доме творчества для одаренной молодежи.

Шай, погруженный в себя, упорно избегал смотреть на нее. Дряхлый старик восемнадцати лет. Тамар сидела напротив и по привычке, превратившейся во вторую натуру, впитывала его слабость. Уже через минуту ее совершенно развезло, тело осело в такой же, как у него, раздавленной позе. Они были в этот момент похожи друг на друга, как две одинаковые карты, и обрати кто-нибудь на них внимание, подозрения возникли бы неизбежно.

Тамар вспомнила домашние субботы — до того, как на них обрушилось несчастье с Шаем, вспомнила

тщетные мамины попытки хоть раз в неделю устроить спокойный ужин, без скандалов и споров, чтобы хоть раз в неделю они побыли *семьей*. Мама зажигала свечи и произносила благословения, более того, придумала некий «церемониал», чтобы каждый член семьи рассказал о чем-нибудь «трогательном», что он пережил за истекшую неделю... Впервые с тех пор, как она покинула дом, в Тамар пробудилась тоска по маме, по дурацкой ее восторженности, которую все они вечно давили, даже с какой-то жестокостью давили, по этим ее нелепым, душераздирающим уловкам... Мама, настолько не вписывающаяся в их колкую, угрюмую семейку. Жизнь с ними превратила ее в желчное и вздорное существо, а ведь когда-то она была совсем другой...

Ведь и правда, думала Тамар, разглядывая прошлое в новом свете, бедная мама всю жизнь прожила на вражеской территории, опасаясь, что станут потешаться над ее словами, надсаживаясь в безнадежной войне за то, чтобы пробиться сквозь броню отцовского сарказма, гениальность Шая и нежелание Тамар быть ей подругой, сестрой и домашней зверушкой... На миг Тамар погрузилась в свои мысли и забыла, где она находится. Ее захлестнула волна жалости и боли, сожалений о непоправимом крахе их семьи, о четырех людях, оставшихся посреди всего мира наедине с собой. Но вместе с тем ее захлестнуло еще и желание откровенно поговорить с кем-нибудь посторонним, не принадлежащим к их клану, передать ему хоть толику тяжести, надсаживающей ей сердце.

Шай вздохнул. Она услышала его легкий вздох в общем гуле, и у нее тоже вырвался вздох. Они посмотрели друг на друга. Кто знает, что сейчас делают родители, подумала Тамар. Одни в доме, по две стороны

огромного обеденного стола. Несколько дней назад они вернулись из отпуска.

— Именно в этом году мы от поездки не откажемся! — категорически заявил ее отец со свойственной ему нарочитой жесткостью. — Жизнь продолжается. И точка.

Сказал, как отрезал, и правая бровь у него судорожно дернулась, точно хвост у ящерицы, противореча маске непроницаемого равнодушия. А потом, конечно же, они начали получать письма, которые она оставила Лее. «Не ищите меня» — в конце самых скучнейших и успокоительных историй, которые она выдумала. И еще: «У меня все в порядке, правда. Не волнуйтесь. Дайте мне месяц, не больше. Тридцать дней. Когда я вернусь, то все объясню. Вот увидите, все будет хорошо. Поверьте мне, пожалуйста, я обещаю».

— Ну теперь держись, — шепнула ей Шели, выводя ее из полудремы. — Когда Ади здесь, уж торжественный спич обеспечен, готовь носовой платок.

— Дорогие юноши и девушки, — начал Пейсах, поднимая бокал с вином. — Вот и прошла-промчалась еще одна неделя, и мы рады снова собраться туточки все вместе, как одна большая и дружная семья, и в святости встретить царицу-субботу.

— А-амен! — шепнула Шели, и Тamar пихнула ее в бок, чтобы та прекратила смешить.

— Вот и на этой неделе каждый из нас делал свою работу, старался и трудился, заслужив по праву свой субботний отдых.

Тамар посмотрела на Пейсаха, и он снова показался ей другим, полным педагогического, если не сказать государственного, величия.

— Старожилы знают мой девиз: искусство — это максимум двадцать процентов таланта и восемьдесят процентов тяжелого труда.

— И еще пятьдесят процентов дохода, — шепнула Шели, и кто-то справа от нее прыснул.

Пейсах вонзил в нее возмущенный взгляд.

— И я хочу еще раз сказать вам, как я горд и счастлив быть тем, кто возвращает и пестует вас. Я знаю, что есть среди нас друзья, переживающие сейчас не самые легкие времена, и мы не лезем друг другу в душу и уважаем независимость каждого. Но, несмотря на все это, как ваш друг и наставник, я позволю себе сказать вам, что каждый здесь суперпрофи, и мы всегда помним наше железное правило, что шоу должно продолжаться, даже если ты встал не с той ноги, главное — чтобы публика ничего таковского не почувствовала.

— А теперь — Рубинштейн, и все свободны, — сквозь зубы процедила Шели.

— И как сказал один великий артист, Артур Рубинштейн...

— Да святится имя его, — продолжила Шели, и несколько голосов шепотом откликнулись:

— Амен...

— В конечном счете, именно искусство — главный источник человеческого счастья! — процитировал Пейсах. — И вы знаете, дорогие юноши и девушки, что для меня каждый из вас — кандидат на то, чтобы

когда-нибудь стать Рубинштейном, и Адиночка, моя супруга, может засвидетельствовать, что я каждый вечер и каждое утро говорю ей... — его невыразительная супруга энергично затрясла головой еще до того, как дослушала, — что, может быть, в один прекрасный день выяснится, что один из тех, кто сидит здесь сейчас, станет Рубинштейном двадцать первого века!

Кто-то заплодировал, кто-то крикнул «ура». Пейсах остановил восторги величественным взмахом руки:

— И я верю, что и тогда он вспомнит, что важнейшие основы, как выдать номер, как держать эту публику, как сохранять профессионализм любой ценой, любой ценой! — все эти базисы и фундаменталии он получил у нас здесь, в нашей скромной семейной артели артистов. Доброй субботы и ваше здоровье!

— И во славу государства Израиль, — подвела итог Шели, вздохнув с облегчением.

Пейсах опрокинул свой «Кондитон»<sup>[44]</sup> до дна, дернув кадыком. Несколько парней заплодировали с преувеличенным энтузиазмом и крикнули: «Лехаим!»

— Вот какой он у нас душевный, — прошептала Шели на ухо Тамар. — Не могу смотреть на него. На прошлой неделе я зашла к ним домой за халами на субботу. Так он с этакой гордостью повел меня глянуть на его комнату. Ты не поверишь, Тами, — комнатка подростка-семидесятника: гигантский постер с Джимми Хендриксом в полстены, и еще череп, не иначе как пластмассовый, с красными лампочками в глазницах, и какая-то длиннющая колючка в артиллерийской гильзе,

---

<sup>44</sup> Ароматизированное красное вино.

художественно — уссаться можно, и все эти его фотки и кубки с соревнований, и какая-то древняя гитарка — факт, заныкал ее в своем армейском ансамбле...

— А сейчас, — сказал Пейсах, вытерев отглаженным платочком вспотевшее лицо, — давайте немножко повеселимся. Вот ты, Тамар, ты новенькая...

Она замерла, как кролик, угодивший в лучи фар. Чего он от нее хочет? С того вечера, когда он застучал ее в своем кабинете, Пейсах не скрывал подозрительности.

— Спой-ка что-нибудь, ребятки тебя еще не слышали. Тамар сжалась, покраснела, пожала плечами. Ей было ясно, что это ловушка, дабы вывести ее на чистую воду. Несколько парней стали скандировать «Тамар! Тамар!» с ударением на первый слог и нарочито аплодировать.

Гуттаперчевая девочка со злым лицом прошипела ненавидяще:

— Отстаньте от этой задаваки, не пристало ей петь для нас.

Тамар окаменела, не в силах ответить. Она знала, что ее здесь не любят, считают зазнайкой, сторонящейся всех, и все же ее потрясла ненависть этой девчонки. Шели тут же бросилась на помощь.

— Эй ты, резинка! Ну-ка, чего наезжаешь?! — закричала она неожиданно грубым басом. — Чего, забыла, какая сама была, когда тут появилась? Как будто не сидела тут веник веником месяца два назад, боялась свою поганую пасть раззявить!

Гуттаперчевая девочка испуганно моргнула несколько раз. Тамар с благодарностью посмотрела на

Шели, но эта внезапная грубость лишь сильнее придавила ее.

Пейсах с улыбкой поднял огромную руку, призывая всех угомониться, вытянул ноги, обнял жену, тут же скособочившуюся под тяжестью его лапы, и сказал:

— Ну зачем же ругаться, тут все — одна семья. Спой что-нибудь, чтобы мы с тобой чуток познакомились.

Его маленькие хищные глазки хитро и неспешно изучали ее, будто выуживая из нее тайну.

— Ладно. — Тамар поднялась, стараясь не смотреть ему в глаза.

— «Цветок в моем саду!» — крикнул кто-то, и все рассмеялись.

— Давай что-нибудь Эйяля Голана! — крикнул другой.

— Я хочу спеть «Starry, starry night»,<sup>[45]</sup> — тихо сказала Тамар. — Это песня про Винсента Ван Гога.

— Ну что за наказание, — прошептал парень, сбежавший из ешивы, его поддержало чье-то хмыканье.

— Ш-ш-ш, — поднял палец Пейсах, излучая добродушие. — Дайте девочке спеть!

Это было очень тяжело, почти невыносимо. Кассеты с сопровождением, которую записал Шай, при ней не было, и Тамар чувствовала себя беззащитной под взглядом Пейсаха. А кругом фыркали, хихикали, и Тамар

---

<sup>45</sup> «Звездная, звездная ночь» — песня американского композитора и певца Дона Маклейна.

видела, что некоторые прячут лица в ладонях, а их плечи трясутся от смеха. Так было не раз, когда она начинала петь, меняя свой обычный, разговорный голос, так отличавшийся от певческого. Но через несколько секунд, как всегда, она полностью успокоилась и нашла нужный тон.

Она пела для одного-единственного человека, который уже долгое время не слышал, как она поет, который помнил ее непрофессиональное, неуверенное пение, помнил ее прежний, не оформившийся голос.

Во время пения она ни разу не взглянула в его сторону, но ей и не нужно было его видеть, чтобы знать, что он там, что он слушает ее каждой клеткой своего измученного тела. Она пела о Ван Гогe, о том, что этот мир не предназначен для таких, как он, а еще она рассказывала Шаю — нежными прикосновениями своего голоса, яркими и сочными оттенками — обо всем, через что она прошла за это время, о своем взрослении, которое он пропустил, о том, чему научилась со времени его исчезновения, о себе и о других. Слои за слоями она сбрасывала с себя шершавую кожу разочарований и прозрений, до тех пор, пока не осталась лишь незащищенная сердцевина, из которой выпорхнули последние отзвуки песни.

И он тоже не смотрел на нее. Сидел, уронив голову на одну руку, с закрытыми глазами и лицом, искаженным болью.

Когда Тamar закончила петь, воцарилась тишина. Ее голос еще какое-то мгновение парил над комнатой, словно живое существо. Пейсах бросил взгляд по сторонам, собираясь отчитать компанию за отсутствие аплодисментов, но даже он что-то понял и промолчал.

— Вау, спой еще, — мягко попросила Шели.

К ней присоединилось несколько приглушенных голосов.

Шай встал. Тамар перепугалась. Он уходит. Почему он уходит? Пейсах двинул бровью и стрельнул взглядом в сторону Мико, который устремился вслед за Шаем. Тот направился к двери, устало волоча ноги, и, проходя мимо, даже не посмотрел на нее.

Тамар расхотелось петь. Но если она откажется, то Пейсах может связать это с уходом Шая. Ей показалось, что он пристально следит за ее реакцией. Тамар выпрямилась. Как он сказал сегодня? Даже если ты горем убит, шоу должно продолжаться.

Она спела «Где-то в сердце распускается цветок». На этот раз никто уже не усмехался. Парни и девушки смотрели на нее во все глаза. Пейсах задумчиво жевал зубочистку и тоже не сводил с нее глаз.

Тамар пела:

Друзья всегда его хранят —

И стебелек, и все бутоны...

Ее боль разрасталась, наполняя каждое слово, потому что друзья не хранили цветка. Они только приветливо помахали на прощанье и улетели в Италию.

Друзья ему приносят свет,

А если нужно, то и тень,

И потому он все не вянет...

Она оплакивала себя, радость, исчезнувшую из жизни, и не чувствовала, что вся столовая принадлежит

ей и только ей. На миг шелуха повседневности слетела со всех, налет уличной грубости осыпался, глупые и раздраженные замечания прохожих развеялись, равнодушные, непонимание, унижение, рутина — «три песенки — и марш в дорогу», «три факела — и гоп в "субару"» — все это растворилось. Что-то в ее сосредоточенности, в самодостаточности напомнило им о том, что они почти бесповоротно забыли: ведь несмотря на ужас их нынешней жизни, они все-таки артисты. Это знание возвращалось к ним, лилось в их души, придавая тяготам новый, утешительный смысл, освобождая от страха, что жизнь — кошмарная ошибка, которую уже не исправить. Побег из дома, одиночество, вечная отверженность — все это начинало выглядеть иначе, преображалось, когда пела Тамар.

Она открыла глаза и увидела, что Шай вернулся. Привалившись к дверному косяку, он смотрел на нее. В руках он держал гитару.

Что ей теперь делать? Сесть или продолжать петь, позволив ему играть? Тамар ощутила неведомое прежде, напряженное возбуждение. Шели шепнула кому-то, что Шай никогда не играл на вечеринках.

— В жисть не растрчивался на нас.

Пейсах произнес слова, на которые Тамар так надеялась и которых так боялась:

— Может, сбцаете разок вместе?

Это была возможность, которую нельзя упускать, и в то же время — момент, когда могло вскрыться абсолютно

все. Тамар взглянула на Шая, молясь, чтобы голос не выдал ее:

— Что... что спеть?

Ну вот, она уже говорила с ним — на глазах у всех.

Он сел, с трудом приподнял голову над гитарой:

— Что хочешь. Я присоединюсь.

Присоединишься? Ко всему, что я спою? Ко всему, что я сделаю? Тебе хватит сил?

— Ты знаешь «Imagine» Леннона? — спросила Тамар и заметила, как его глаза ожили где-то в самой глубине. Легкая дрожь на дне двух серых потухших озер.

Шай провел пальцами по струнам, подстроил гитару, слегка склонив голову набок и едва улыбнувшись своей слабой лунатической улыбкой — самым краешком рта. словно он слышал звуки, не доступные никому, кроме него.

На миг она забылась. Шай скользнул по ней взглядом и заиграл. Тамар закашлялась. Простите, она еще не готова. Ее захлестнуло волнение от того, что она с ним, что просто смотрит на него. Это ведь он, и все в нем такое знакомое. Мальчик, родившийся без кожи, обаятельный, сияющий, с этим своим уникальным чувством юмора, задыхавшийся в любых рамках. Иногда он сам становился для себя такими рамками, из которых следовало вырваться с необъяснимой жестокостью. И эта его нежная мягкость по отношению к ней и приступы агрессии по отношению ко всем, и к ней опять же. И невыносимая заносчивость, которую он нарастил в последние годы, — подобие чешуйчатого панциря на бескожем теле, и его напряжение, дрожание гитарных

струн его души, которое она ощущала как непрерывный электрический гул.

Шай в недоумении поднял на нее глаза. Ты где? Что с тобой происходит? А Тамар плавала в грезах, прямо под подозрительным взглядом Пейсаха. Шай, на какой-то миг преодолев слабость, просигналил глазами ее тайное дружеское прозвище, и сердце Тамар метнулось к нему сквозь комбинезон.

Шай снова сыграл вступительные аккорды, открывая перед ней дверь и приглашая присоединиться. Тамар начала тихо, почти без голоса — тонкая ниточка звука, вплетающаяся в его мелодию. Словно ее голос — лишь еще одна струна под его пальцами. Ей следовало быть поосторожнее, чтобы никто не заметил, как переменилось ее лицо. Но она не хотела быть осторожной, да и не могла. Он играл, и она пела ему, и все новые и новые глыбы льда подтаивали в ней, срывались и тонули в море, разделявшем их, — все, что произошло с ними обоими, все, что на них обрушилось и что, быть может, с ними еще случится, если они только посмеют, если поверят, что это возможно.

Когда звуки растаяли, упала звенящая тишина, а потом грохнули аплодисменты. Тамар на миг закрыла глаза. Шай поднял голову и в изумлении обвел взглядом комнату, словно забыл, что в ней кто-то есть. Стыдливо улыбнулся. На его щеке появилась ямочка. Они с Тамар старались не смотреть друг на друга.

Пейсах, слегка растерянный, полный неясных подозрений и тем не менее очарованный услышанным, рассмеялся:

— Ну а теперь, по правде: сколько лет вы это репетировали?

И все тоже рассмеялись.

Шели воскликнула:

— Вы оба — высшая лига! Вот это класс, офигеть! Вам бы концерты давать.

И в наступившей смущенной тишине Пейсах сказал, чересчур громко, словно отгоняя от себя вину в том, что он посылает всех этих ребят выступать на улицах:

— А ну, давайте еще разок!

Только бы не «Свирель», подумала Тамар.

Шай, не глядя на нее, подтянул струну и мотнул головой таким знакомым движением, отбрасывая волосы с правого глаза. Волосы уже были не те, что прежде. Осталось только это движение, полное очарования. И тут он спросил, обращаясь в пространство:

— «Свирель» знаешь?

— Да.

Он склонил голову к гитаре и заиграл. Какие у него длинные пальцы! Она всегда считала, что у него на каждом пальце по крайней мере одна лишняя фаланга. Тамар сделала глубокий вдох. Как это спеть, не разревевшись?

О свирель,

Ты для всех и ничья,

И твой голос, как сердца призыв,

О свирель!

Как трель соловья,  
Как шелест ручья,  
Как ветра тихий порыв,  
О свирель!

Парни и девушки сидели притихшие, почти пришибленные. Когда Тамар замолчала, одна из девушек прошептала:

— Это самое лучшее, что я слышала в жизни...

Шели встала и обняла Тамар, и та на миг прижалась к ней. Уже почти месяц никто до нее так не дотрагивался — с того самого дня, как Лея обняла ее в глухом переулке.

Шели вытерла глаза:

— Вау, позор какой! Прямо разрыдалась!

А прыщавая девушка в красной шляпке, угрюмая виолончелистка, уверенно сказала:

— Вы должны выступать вместе. Хоть на улице, Пейсах.

Тамар и Шай не смотрели друг на друга.

— Может, это и неплохая идея, — ответил Пейсах. — Как тебе, Адина?

Он повернулся к жене. Старожилы знали, что она всегда лишь неопределенно пожимает плечами, испуганно улыбается, а вопрос означает, что на самом деле Пейсах уже все решил.

И действительно, он вынул из кармана красный блокнот. Полистал. Пожалуйста, пожалуйста, молча

умоляла Тamar. Пусть он согласится, пусть он согласится, пусть он согласится!

— В следующий четверг, — Пейсах черкнул в блокноте, — тут они как раз оба в Иерусалиме... Попробуем разок, почему бы и нет. Устроим вам дуэтец на Сионской площади?

Руки Тamar сами собой вытянулись по швам. Она пыталась проникнуть в мысли Пейсаха, прячущиеся за его широкой улыбкой добродушного мишутки. Вдруг он готовит ловушку, надеясь, что там, во время совместного выступления, она выдаст себя? Шай не реагировал, будто не слышал. Тamar заметила, что игра высосала из него последние капли жизни.

— Но я хочу, чтобы вы там душу выложили, — повысил голос Пейсах. — Так же, как сейчас, идет?

Снова раздались хлопки. Шай поднялся, пошатнулся. С трудом удержал гитару. Тamar не шевелилась. На нее смотрели, наверное ожидая, что она уйдет вместе с ним, это ведь просто само собой напрашивалось. Она стояла, напряженно выпрямившись. Шай вышел, и Мико поспешил за ним своими бесшумными тигриными шагами. Кто-то включил радио, комната наполнилась звуками джингла. Парень в красной пиратской бандане погасил свет. Пейсах встал, протянул руку жене:

— Идем, голубчик, молодежное время.

Он отдал какие-то распоряжения двум парням постарше, пошептался с Шишако и ушел.

Несколько пар уже танцевало. Угрюмая виолончелистка в красной шляпке вдруг вышла в центр комнаты и, обхватив себя за плечи, закружилась. Глядя

на нее, Тамар подумала, что хотела бы с ней познакомиться, наверное, эта девушка — умная и тонкая и для улицы подходит еще меньше, чем она сама. Шели танцевала с одним из своих постоянных ухажеров, долговязым маэстро пилы с чуть обезьяньей физиономией. Она протянула Тамар загорелую руку, приглашая ее присоединиться. Тамар посмотрела на них и увидела *свою* троицу. Странно, что она почти неделю не думала о них. Потом отрицательно мотнула головой, выдавив фальшивую улыбку.

Они никогда не танцевали втроем, потому что Идан презирает танцы и, вероятно, даже не умеет танцевать. Да и вообще они никогда по-настоящему не дотрагивались друг до друга. Ни единого объятия, даже на радостях. Было какое-то молчаливое соглашение, чтобы ни одна из них не оказалась обделенной вниманием Идана. Но кто знает, может, они уже две недели спят вместе в «номерах, из которых открывается величественный вид». Ну вот, снова это пробудилось в ней и снова гложет. Тамар налила себе «спрайта» и выдула полный стакан, стараясь загасить внезапно вспыхнувший пожар. Не помогло.

Она вспомнила последние недели, проведенные с ними. Ведь когда она стала понимать, что останется в Израиле из-за Шая, они уже с головой ушли в подготовку к поездке. Тогда-то она и начала медленно двигаться в направлении нового и чуждого для нее мира, крутиться в местах, где был хоть какой-то шанс увидеть его, заговаривать с незнакомыми мужчинами в парках, с игроками в нарды, в бильярд, с вышибалами клубов, а Идана и Ади с нею не было. Так странно. Она продолжала ходить на репетиции, ежедневно после обеда, пять раз в неделю, и весь хор уже трясся в

лихорадке перед поездкой, и угрозы Шароны, их дирижера, делались все более нервными, и все повторяли итальянские фразы из разговорника, который им выдали, ведь знание партий Керубино и Барбарины вряд ли помогло бы в кафе и на рынках.

И она тоже трудилась над своим любимым соло, и получила паспорт, и читала путеводители, и прилежно повторяла: «Рове си компрано и билети?» — но, в сущности, уже была очень далека от них. Шарона первая обратила внимание на то, что Тamar витает где-то в других сферах:

— Где твоя голова? И где, черт возьми, твоя диафрагма? Ты опять забываешь нижнюю поддержку? Как ты полагаешь, тебя услышат с шестого яруса?

А после репетиций, когда они шли пешком по Бен-Иегуде, она пыталась рассказать им, где побывала прошлой ночью, с кем беседовала, трудно даже вообразить, что за люди существуют в каких-нибудь ста метрах отсюда, что за отбросы, говорила она, пользуясь лексиконом их троицы, то есть Идана, но уже начав осознавать, что эти легкие издевательские выпады теперь направлены и в нее, словно и она уже чем-то таким заражена и от нее уже пахнет, потягивает неприятным душком. И вот настал день, после того как она побывала у русской компании в Лифте и познакомилась с пареньком, которого звали Сергей, с детским лицом и хрупким телом. Ей так хотелось поговорить с кем-нибудь близким, чтобы вместе ужаснуться тому, что она увидела, а Идан в самый разгар ее рассказа заметил, что ему не под силу одновременно изучать два языка: итальянский и торчальский. Ади усмехнулась и сказала, что это очень даже верно.

— В последнее время ты употребляешь много новых слов, иногда тебя трудно понять.

И тряхнула золотистыми волосами. Вот в ту минуту Тамар и осознала, что она уже не с ними, что она требует от них нечто такое, что они не могут, да и не хотят ей дать. Больше она не рассказывала, просто шла рядом, притихшая и словно побитая, а Идан и Ади возобновили разговор, который спокойно потек уже без нее, — неприятный порыв ветра пронесся над их головами и затих. Она продолжала шагать рядом, продолжала улыбаться их шуткам, а острые ледяные ножницы точно вырезали ее фигуру, изъясв ее из общей картинки.

Столовая опустела, зато двор заполнился танцующими. Музыка струилась по телам, в ночном воздухе плыли облачка дыма. Парень с длинной косой, заплетенной с цветными лентами, заиграл на гитаре и запел, и все присоединились к нему. Парень пел:

Звезда Давида раскололась...

А они, с тихим подвыванием:

Идеи Герцля померли давно...

А он:

И сгнили в яме под колючей саброй...

А они отозвались, покачиваясь с поднятыми руками:

Но все по плану точненько идет.

Тамар стояла у окна в пустой столовой и смотрела во двор. Они казались ей ломкими стебельками, когда раскачивались вот так по-детски.

Душа моя лишь отдохнуть мечтала,  
И не хотелось ей играть в войну,  
Но армия у нас — обязанность народа,  
Я так ужасно армию люблю!

Тут кто-то жутким голосом завопил: «Я  
такуж-ж-жасно армию люблю!!!»

Держать ружье, как свойственно мужчине,  
И, как мужчина, головы сносить,  
Шагать к могиле по-мужски, бесстрашно,  
И все по плану точненько идет...

И вдруг со всех сторон двора грянул отчаянный рев:

А пошел он на хрен, этот план!

Еще, и еще, и еще раз, и так десятки раз,  
долго-долго, может быть, полчаса — одно и то же, как  
молитва, отчаянная молитва наизусть. Под конец уже и  
Тамар мычала песенку, стояла и мычала вместе со всеми,  
как все: «А пошел он на хрен, этот план». И картина  
перевернулась, встав с ног на голову, и вдруг Тамар  
отчетливо поняла, что это именно они правы, они честны  
перед собой, это они решились восстать, возмутиться,  
заорать во все горло.

Ведь кто она такая по сравнению с ними? Хорошая  
домашняя девочка, голова два уха. А они, с каким  
отчаянием отказываются они быть частью этой  
циничной, лицемерной игры, построенной на наживе и  
грубой силе... На миг она позавидовала их свободе, их  
бесстрашной готовности все вокруг раздолбать, ухнуть в

бездонную тоску, отказаться от дома, родителей, семьи, которая все равно — не более чем иллюзия, еще одна разновидность приятного наркотика, утоляющего боль и снимающего стресс...

Тамар повернулась, чтобы уйти к себе в комнату, и наткнулась на группу парней и девушек, преградивших ей путь. Смеясь, они пританцовывали перед ней, кланялись в пояс, а один, кучерявый коротышка из трио акробатов, взмолился:

— Мать моя женщина, да ведь я тебя до сих пор вообще не видел, не знал, что ты существуешь! — У него было мрачноватое лицо и слегка свистящий голос. — Но после того, как ты запела, — да я тут же затащился! Останься, побазарим, а? Ну раскрой нам тайну: кто ты такая? Ну ты чего, а?

Тамар рассмеялась: нет-нет!

Уличный поэт преклонил перед ней колено:

О Тамар, Тамар,  
Твой бесценный дар  
Будит в сердце жар.  
Не бросай, Тамар,  
Как дурной товар!  
Я вокруг Тамар  
Буду виться, как комар.

Она снова рассмеялась: нет-нет!

Откуда ни возьмись выскочили две девушки — смуглые, таинственные красавицы, две близняшки-экстрасенсы.

— Ты не против минутку постоять тут между нами? Дашь нам ручку? Сразу обеим... постой, в чем дело?

Тамар затрясло. Только этого ей не хватало. Она с трудом улыбнулась, а вся компания толпилась вокруг нее, звала ее, манила. Тамар раздвинула их и ушла. Ей нужно было остаться одной.

Через два часа в комнату вернулась Шели, взбудораженная, пропахшая марихуаной. А возможно, и слегка под кайфом. Во всяком случае, в комнату она ворвалась с шумом, запуталась в платье, разбудила Тамар, чтобы та расстегнула ей застёжку сзади. Извинилась, что она в таком состоянии. Похвасталась, что лизнула марку. Сонная Тамар спросила — зачем. Шели чуть не лопнула со смеха.

— Месяц ты здесь и еще не знаешь?

Ни итальянского, ни торчальского.

— ЛСД. Кислота. Вот зачем. Слушай, между нами, ты с этим чуваком? С Шаем?

— Что с ним? — Тамар в мгновение ока очнулась.

— Да ты чего подпрыгиваешь? Я уже давно заприметила, что между вами чего-то есть.

— Между нами?!

— Точно! Взгляды. Все время. Ты чего думаешь, я не видела? Вы вместе, как под кайфом. Ты хватаешься за

свою рожу — и он за свою... Прямо танец такой! А сегодня, нет, как вы спелись!

— Я с ним вообще не знакома, — с преувеличенным возмущением сказала Тамар.

— Но может, раньше, а? В прежнем воплощении? Имей в виду, я верю во всякое такое.

— Ну разве что в прежнем воплощении, — согласилась Тамар.

— А видала ямочку у него? — пришла в восторг Шели. — Он тут, может, с год, а я ее в первый раз углядела!

— Да, — шепнула Тамар. — Он милый.

— Только смотри, не влюбись. Он парень конченный. Все время под кайфом. Без этого дела едва тянет.

Тамар постаралась облепить дрожащие струны своего голоса бетоном и цементом.

— А почему его так стерегут? Почему за ним всегда ходит кто-нибудь из этих? Ведь за ним одним так смотрят.

Шели сидела на кровати в одних трусиках. Она была совершенно равнодушна к своей наготе и совсем не стеснялась своего крупного, костлявого тела. Она рассмеялась:

— Ну ты вообще! На тебя посмотреть — с луны свалилась, а чего потом выясняется? Все на ус мотаешь... Бульдоги-то? Это потому... он пытался когти рвать.

— Когти рвать? А я-то думала, что если кто хочет уйти... то может и уйти... Разве нет?

Шели молчала, скобля лиловый лак на ногте правой ноги.

— Шели!

Тишина.

— Шели! Будь человеком, ей-богу!

— Ладно, — наконец вздохнула Шели. — Кто так, средненький, так Пейсах запросто позволяет ему свалить, если он ему все долги возвратил, ясное дело...

— Долги?

Тамар насторожилась, вспомнив, что Шай говорил по телефону что-то про деньги, которые он тут задолжал.

— Ну, этот его блокнот весь счетами исписан. Сколько мы ему должны за жилье, жрачку, электричество. Так если ты средненький, так себе, и хочешь отсюда свалить, то ты ему платишь, умасливаешь своих предков, от которых слинял, чтобы расплатились за тебя, стреляешь у приятелей, хапаешь у старушек на улице, у детишек, пока не выплатишь ему до копыя, и тогда он тебя не держит, свободен. — Она закурила, глубоко затянулась. — Но если ты стоящий, то отсюда так скоро не вылезешь. Ведь этот Пейсах... у него такие счета есть — тебя и адвокат от него не выцарапает. Он тебя с того света достанет. Были тут всякие истории...

Тот парень со сломанными пальцами, подумала Тамар.

— Ну а парень с гитарой, этот Шай, он ведь стоящий, да?

— Она мне тут лапшу на уши вешает: «Парень с гитарой!» — подмигнула Шели, но, увидев ее лицо, тут

же перестала ухмыляться. — Он самый клевый. Лучше всех. Он действительно крутой, даже сейчас, ты же сама слыхала! Но тут не так давно такое дело было... он пытался свистнуть пейсаховекую тачку, новую «мицубиси»...

— Чтобы убежать?

— Поди пойми. С ним одни шу-шу-шу. Болтают, что он врезался в стенку, в какой-то там забор, и расквасил эту «мицубиси», так что теперь он узник Сиона, пока не отмажется. — Она выпустила длинную струю дыма. — На том свете, это уж точно.

Тамар лежала, уставившись в потолок. Кто знает, где она была в день той аварии? Просто невероятно, что в тот момент, когда Шай врезался на машине в стену, она сидела, скажем, с Иданом и Ади в кафе «Арома» и громко высасывала через соломинку кофе глясе.

— Знаешь, чего я подумала, когда ты пела? — мягко спросила Шели. — Что у тебя все идет изнутри. Из самой-самой нутрехи. Не, ну правда, — я на тебя уже давно смотрю и я в тебя врубилась: у тебя... все, что ты делаешь или говоришь, даже как ты смотришь, все это — ты сама на все сто. А я — нет, ты глянь-ка на меня: концерт по заявкам! Нет, брось! Глянь — я делаю Риту, я делаю Уитни Хьюстон и Захаву Бен, кого угодно делаю, лишь бы не себя. — Она минутку помолчала. — Даже то, что я здесь... это не моя жизнь, — ее голос внезапно сорвался. — У меня нигде не записано, что я вот так кончу, в этой яме, что мне крышу снесет по полной...

Она вдруг разревелась. Тамар, изумленная столь стремительным переходом от смеха к рыданиям,

подскочила к ней, стала гладить жесткие крашенные волосы.

— Шели, — прошептала Тamar, но та прервала ее:

— И вот еще глянь: даже имя, да? — Она громко высморкалась. — Это мамочка меня так обозвала, чтобы каждую минуту напоминать мне, что я не своя, что я — ее.<sup>[46]</sup> Понимаешь?

Тamar гладила ее, обнимала, шептала, что она еще как своя собственная, что таких щедрых и добрых еще поискать. Но Шели не желала слушать.

— Ладно, чего это с нами? — внезапно сказала она. — Может, сделаем такой столик, как у Йоси Саяса,<sup>[47]</sup> для сбора подписей? Значит, договорились: ты и думать забыла в него влюбляться. Тут есть несколько кандидатов в тыщу раз более подходящих, можешь мне поверить. Некоторых я на себе опробовала.

— Не волнуйся, — улыбнулась Тamar. — Я в него не влюблена. Я с ним только пою.

— Ну да, — рассмеялась Шели сквозь слезы. — Это называется «петь».

— Если бы у меня тут была подушка, я бы в тебя швырнула!

Тamar ожидала в ответ раскатистого смеха, но сперва наступила короткая пауза, а потом Шели наставительно сказала:

---

<sup>46</sup> «Шели» на иврите означает «моя».

<sup>47</sup> Известный израильский радиожурналист, ведущий популярной «исповедальной» передачи.

— Всякие подушки — это вроде мамочкиной глазуни. Изъято из словаря.

После чего упала на матрас и заснула.

Тамар не могла спать. Не из-за того, что услышала про Шая, и не из-за того, что узнала о кабальной системе Пейсаха. Нет, резанула ее невинная фраза: «Я уже давно заприметила, что между вами чего-то есть», напомнила о том, чего она была лишена и от чего сама бежала, и ее сердце сжалось от боли, это самое сердце по-настоящему болело, так хотелось ей в эту минуту, чтобы был на свете кто-то один-единственный, может даже парень, да-да, парень, не шестидесятидвухлетняя монашка и не Лея, примерно ее возраста, чтобы можно было сказать о нем и о ней: «Я уже давно заприметила, что между вами чего-то есть».

«Выкинь ты из головы на фиг этого твоего Идана-Шмидана! — тут же произнесла у нее в голове Леи, будто только и ждала подходящего момента. — Забудь уже его, и дело с концом! Он мизинца твоего не стоит».

Тамар натянула на себя шерстяное одеяло, припомнила последний разговор с Леей о любви.

— Нет, не прерывай меня! Дай мне хоть раз в жизни сказать!

— Вообще-то ты беспрерывно говоришь, — улыбнулась Тамар.

— Ты, вот что... твоя ошибка в том, что ты ищешь себе парня, чтобы тоже был по части искусства, верно?

— Предположим.

— А зачем тебе еще один вроде тебя, скажи-ка мне? Что это за блажь такая? Тебе и взаправду нужен еще один чокнутый? Нет, тебе, наоборот, нужно... знаешь, кто тебе нужен?

— Кто?

Тамар едва не рассмеялась под одеялом.

— Тебе нужен мужик с сильными руками, — объявила Лея. — А знаешь почему?

— Почему?

— А чтобы не дрожали они у него. Чтобы поднял он свою сильную ручищу, а она не тряслась. Вроде как статуя Свободы, поняла? Но без этого мороженого американского, только раскрытая рука, и тогда ты... — Лея подняла свою квадратную, шершавую, с обгрызенными ногтями ладонь и поболтала ею в воздухе. — И тогда ты издали, из любого места на свете увидишь эту ручищу и поймешь, что можешь смело присесть и маленько отдохнуть. Поняла? — Ох, Лея...

На следующий день Шели не ночевала в их комнате. Не появилась она и через день. Ничего особенного в этом не было, Шели могла застрять в отдаленном городе. Но вечером Тамар вдруг так по ней соскучилась, что спросила кого-то в столовой, не видал ли он Шели. Тот взглянул на нее так, словно она прилетела с Марса.

— Ты что, не слыхала? Вчера утром она смылась с этим, с пилитьщиком. До сих пор не вернулась.

Новость Тамар потрясла. И не только новость, но и то, что Шели ни словом не намекнула ей об этом накануне.

Весь день курсировали самые разные слухи. Шели видели в Ришон ле-Ционе с этим парнем. Шели видели в баре «У негра» по дороге на Эйлат. Один из бульдогов, сопровождавший трио акробатов, видел ее, но она была в компании с эйлатской шпаной, и он побоялся сунуться к ним. У нее даже хватило наглости подойти к акробатам, похихикать с ними и передать привет Пейсаху и компании. Парни рассказали, что она выглядела совершенно обдолбанной. За ужином Тamar подседа к одному из акробатов, и он вспомнил, что Шели велела передать ей особый привет. Ей и Динке. Тamar попросила пересказать все подробно.

— Да чего говорить-то, — пожал он плечами. — Шели отрывается по полной...

Но Тamar упорствовала. Парень почесал грязную голову.

— Ну не знаю, сказала, что марок нализалась, что прибалдела, что шляется где хочет — у бедуинов, у шпаны, по клубнякам шарахается, сказала, что трахается со всеми подряд...

— И ты не остановил ее?! — закричала Тamar в отчаянии.

Парень озадаченно посмотрел на нее: ему-то какое дело, ну дает...

Тamar казалось, что она сходит с ума.

А на следующий день чуть свет приехала патрульная машина, и двое угрюмых полицейских ненадолго зашли в кабинет Пейсаха, после чего уехали. Пейсах вышел в коридор, бледный и напуганный. Таким его никто никогда не видел. На работу все разъехались в полном смятении, по общежитию курсировали ужасные

слухи. Тамар старалась ничего не слышать. Выступала она в тот день из рук вон плохо. У здания оперы ее даже наградили криками «Позор!» — и за дело. Тамар бросила петь, расплакалась и убежала. Вернувшись к полуночи в общежитие, она с ужасом обнаружила, что все вещи Шели из комнаты исчезли: книжки, желтые ботинки, рюкзак. Кровать Шели стояла не застеленная. Тамар выскочила в коридор, но здание тонуло в темноте и тишине, словно оно замкнулось в себе. Тамар открывала двери, вривалась в комнаты, включала свет. Никто даже не заорал на нее, чтобы она убиралась. Никто не сказал ни слова. Ни единого. Остаток ночи Тамар просидела на постели, прижимая к себе Динку, жалобно подвывая и дрожа всем телом.

В шесть утра Тамар обо всем узнала. А между двумя выступлениями в Ашдоде она увидела газету — фото улыбающейся Шели и коротенькая заметка. В Эйлате Шели спуталась с неким немолодым наркоториком, который пригласил ее провести время на его вилле на побережье. Что там произошло, понять было трудно. Газета цитировала комиссара полиции: «Похоже, что оба упились и решили испробовать что-то более сильнодействующее, чем обычно». Так или иначе, когда приехала неотложка, Шели откачать уже не смогли.

Тамар была сама не своя до конца дня, даже подумывала отменить побег. Она прекрасно понимала, что ни ей, ни Шаю нельзя там оставаться, но сил для побега не было.

На следующий день Шай в столовую не пришел. Ужин прошел тише обычного, никто ни словом не обмолвился про Шели. Утром в четверг Тамар опять не

увидела Шая, хотя это был день их совместного выступления. Все толпились в коридоре возле комнаты Пейсаха в ожидании «раскладки», и только Шай не появлялся. Тамар даже не пыталась скрыть своей нервозности, пребывая в уверенности, что из-за какой-нибудь случайности ее план обязательно рухнет. Или Шай не сможет преодолеть свой страх и отыщет предлог остаться сегодня в общежитии, или Пейсах в последний момент изменит свое решение и не позволит им выступить вместе. Или из-за гибели Шели весь порядок изменится, или...

Когда Тамар почти отчаялась, она увидела его длинные ноги, медленно спускающиеся по лестнице, и широкий ремень, сползший на бедра, и тощую изможденную фигуру. И со всей ясностью осознала, что в самый ответственный момент Шай сломается.

— Эй, вы там, парочка вундеркиндов! — крикнул Пейсах, удивительно быстро очухавшийся после визита полиции. — С Мико поедете и с Шишако. Слыхали, в рифму вышло! И смотрите, чтоб концерт по первому разряду, усекли?

Они скованно кивнули.

— Вы гляньте-ка! — Пейсах покатился со смеху. — Застеснялись! Как ешиботник с просватанной женушкой! Эй, посмотрите хоть друг на дружку. Ну, в чем дело, улыбнитесь разок! Публика любит влюбленные парочки!

Тамар выдавила из себя улыбку, с тревогой подумав: двое. Он к нам приставил двоих. Ничего не удастся.

В «субару» они сидели рядом и смотрели вперед. Мико и Шишако громко трепались о какой-то бар-мицве,<sup>[48]</sup> на которой пьянствовали накануне.

Шай нагнулся и погладил Динку, которая восторженно лизала его руку, и косилась на него полными любви глазами, и скулила, и вертелась в машине во все стороны, стараясь пристроить голову то к нему на колени, то на колени Тамар.

Тамар понадеялась, что эти двое впереди не особо удивляются возбуждению Динки.

Нога Шая чуть коснулась ноги Тамар. Ее словно током шибануло.

Она осторожно раскрыла ладонь, надеясь, что пот не размыл буквы.

Шишако говорил:

— А я всегда шведский стол предпочитаю, берешь себе чё хочешь. А то какой-нибудь сраный официант подходит и швыряет те — бах! — на стол всякую блевотину: вот те рис, вот те чипс!

Тамар сжала ладонь, разжала, еще и еще. Шай наконец сообразил, что там что-то написано. Напряженно вгляделся, и Тамар испугалась, не слишком ли мелкие буквы. Она подняла ладонь как можно выше.

*«Урок Родины», третий куплет, беги за мной.*

Тамар смотрела в окно на унылую улицу Яффо, способную испортить настроение одним своим видом. Послюнила палец и стерла чернильную надпись. Шай

---

<sup>48</sup> Бар-мицва — празднование совершеннолетия мальчика, достигшего тринадцати лет.

отвернулся к своему окошку. Тамар видела страх Шая, она почти обоняла его. Кадык у него непрерывно двигался. Пальцы теребили верхнюю пуговицу рубашки. Тамар уже слышала исходящий от него гул, в прежней жизни она могла по этому гулу отыскать брата в квартире. Иногда гул длился целыми днями, сводя с ума всех домашних, пока не превращался в конце концов в чудесную мелодию или новую песню или же не выливался приступом ужаса и ярости. Тогда Шай бросался на пол, колотился головой, руками и ногами, и только Тамар могла его успокоить — ласково нашептывая на ухо, обнимая.

Они уже были на Сионской площади, проехали до улицы Царицы Хелени. Мико показал им, где припаркует машину. Шишако вылез проверить территорию. Они наблюдали, как он прохаживается с безразличным видом, точно уличный кот. У Мико зазвонил мобильник — все чисто, сообщил Шишако.

— Работать! — приказал Мико. — Пейсах на вас виды имеет, чтоб врезали на всю катушку.

Шай вынул из багажника гитару.

Они шли рядом: ее плечо касалось его груди. Динка носилась вокруг, вне себя от радости. Тамар знала: у них есть лишь три минуты относительной свободы. В пределах круга, очерченного беготней Динки, они были действительно свободны, они были вместе, и можно даже пофантазировать, что вот брат с сестрой вышли погулять в город, прихватив собаку.

Кривя уголок рта, Шай процедил:

— Ничего не выйдет, нас поймают.

Тамар ответила, так же стараясь не шевелить губами:

— Через четверть часа нас будут ждать на улице Шамай. Моя подруга с машиной.

Шай отрицательно качнул головой:

— Они меня повсюду достанут.

— У меня есть место, где тебя не найдут.

— И сколько мне там прятаться? Всю жизнь? — Его голос сделался плаксивым. — Он меня все равно найдет. Он меня на краю света найдет.

Тамар знала этот жалостный тон, всегда вызывавший в ней брезгливость. Он мог так вот ныть поутру, не обнаружив свои любимые кукурузные хлопья или чистые трусы.

— Я тебе говорю: он меня убьет. Подумай...

Тамар не знала, что ответить. Еще один ужасный пробел в ее плане.

— Ты спятила, да? Ты что, Джеймс Бонд? Ты всего лишь девчонка, а это — жизнь, понимаешь? Очнись, это не кино про операцию «Энтеббе».<sup>[49]</sup> Это тебе не книжки. Оставь меня в покое...

У Шая иссякли силы, он остановился, тяжело глотая воздух. Когда он заговорил снова, голос его звучал иначе.

---

<sup>49</sup> Израильская вооруженная операция по освобождению заложников в аэропорту Уганды в 1976 г.

— Ты не видишь, в каком я состоянии? Не понимаешь, что я теперь? Я без дозы не проживу, Ватсон. Со мной все кончено.

Тамар тихо ответила:

— Я купила на первые дни. Чтобы ты был в порядке, пока мы не возьмемся за это по-настоящему.

— Ты... что?

Шай в ужасе уставился на нее. Плечи его обвисли, словно на них взвалили тяжеленный мешок. Несколько метров они прошли в молчании. Свернули на улицу Яффо. Двигались они заторможенно, словно в замедленной съемке. Оставалась еще лишь минута свободы, не более.

— А это твое убежище, — заговорил снова Шай, — сколько времени мне придется пробыть в нем?

— Пока не очистишься.

— Очищусь?

От изумления он резко остановился. Гитара издала глухой гул.

— Но ведь ты сказал! Ты сам просил! — вдруг разозлилась Тамар, совершенно забыв про Шишако, который наверняка наблюдал за ними. — По телефону! Ты тогда сказал!

— Ну да, сказал, конечно, сказал... — Шай усмехнулся и двинулся дальше, тяжело волоча ноги.

Вот теперь он узнал свою сестрицу. Ничуть не изменилась. Он вспомнил, как Тамар, когда ей было восемь, вышла за хлебом, но в ближайшем магазине его не оказалось, и она отправилась в другую лавку, и вдруг

повалил снег, которого они так долго ждали. В соседней лавке хлеба тоже не было, и она пошла дальше, а снег валил стеной, неправдоподобно большими хлопьями, заносил улицы, и Тамар шла и шла, наверное, километра три прошагала, а потом еще столько же обратно — уже почти по колено в снегу. Вернулась она вечером, вся мокрая, заледеневшая. Шай вспомнил, как она возникла в дверях, посиневшая от холода, в хлюпающих сапогах, но с хлебом в руках.

— Ты... не сможешь... это нельзя сделать в одиночку. Есть специальные клиники... — Шай задохнулся. — А в клинику я не пойду! Забудь об этом. Там он меня мигом найдет. У него связи повсюду.

Судороги рыдания пробежали по его лицу, и Тамар подумала, что всегда, сколько себя помнит, это она была старшей в их семье.

— Проехали, Ватсон... Беги одна. Прямо сейчас. Убегай, пока еще можешь. Тебя он оставит в покое. С тобой у него нет ничего общего.

— Но почему не выйдет? — страстно зашептала Тамар. — Я все рассчитала. Я кучу книг прочла об этом. Я уже несколько месяцев готовлюсь. Кучу людей расспросила. Я вообще... Шай, милый, это трудно, ужасно трудно, просто кошмарно, но это возможно. Другим же удавалось, и нам удастся. Ты из этого выберешься. Только не сдавайся. Пожалуйста!

Они вышли на площадь. Им следовало замолчать, но они были чересчур взбудоражены. Не глядя на Тамар, Шай качнул головой:

— Ты рехнулась, ты просто не понимаешь, во что нас втягиваешь! Это не экзамен. Здесь зубрежка не

поможет. Ты понятия не имеешь, что такое ломка. Ведь я... я убить могу.

Тамар остановилась, схватила его за плечо, развернула к себе лицом:

— Ты убьешь меня?

Он долго смотрел на нее, и лицо его тряслось от усилий не разрыдаться.

— Вот так, Тами... Я не тот, кого ты знала...

На площади они нашли место в тени, возле банка. Шай вынул гитару, раскрытый футляр положил на землю. Потом уселся на маленькую каменную скамью, настроил инструмент.

Когда он заиграл, ее душа, вопреки всему, наполнилась радостью.

Люди останавливались. Кое-кто даже помнил Тамар по прошлым выступлениям. Другие узнавали Шая. И прежде, чем она начала петь, вокруг собралась немалая толпа. Поодаль, у барьера, стояли двое рослых полицейских, которых можно было принять за близнецов, так они были похожи в своей униформе. Тамар обрадовалась им, улыбнулась глазами, и полицейские отозвались улыбками. Один легонько ткнул другого локтем, и оба неторопливо двинулись в их сторону. Тамар решила, что споет «Сюзанну», с которой начала свою недолгую карьеру уличной певицы. И как всегда, стоило зазвучать ее голосу, толпа начала расти, и вскоре их с Шаем уже обступали кругом пять слушателей.

Взгляд Тамар зацепил клетчатую рубашку Мико, мелькавшую в двух задних рядах. Шишако она не видела, и это ее встревожило.

Тамар закончила петь и раскланялась под аплодисменты. Люди подходили поближе, монетки летели в футляр. Супружеская пара отравила бросить пять шекелей своего сынишку — малыша в коротеньких штанишках, мальчик подошел к музыкантам, засмутился и кинулся обратно к родителям, те вытолкнули его вперед, и он рискнул — под веселые хлопки. Тамар заставила себя сладко улыбнуться, но все ее душевные силы сосредоточились на предстоящем. Шай никак не реагировал. Ей казалось, что он отключился, забыл обо всем, то ли вручив ей свою судьбу, то ли наплевав на нее.

Мазнув по нему взглядом, Тамар с отчаянием подумала: я одна. Динка встала, потянулась всем телом и снова улеглась. Но тут же опять вскочила, словно ощущая нервозность Тамар.

— «Урок Ро...» — начала Тамар и запнулась. — «Урок Родины».

Шай сыграл вступление. Тамар почувствовала, как сжался в горле голос, закашлялась. Шай опять заиграл вступление. Она запела про крестьянина, который идет за плугом на старенькой картинке, висящей в классе на стене. А позади — кипарисы, и бледное знойное небо, и земля...

Тамар допела первый куплет и стала слушать гитару, даже не заметив, когда Шай отошел от известной мелодии и пару минут импровизировал, словно шептал что-то, предназначенное только для нее. Это была тихая и ласковая музыка, что-то вроде его собственного плача, проникшего в ностальгическую песенку о наивной стране, которой уже нет, которой, быть может, никогда и не было. И потом так же осторожно Шай вернулся к

мелодии песни. Тамар подняла голову и облизала губы, увидев Мико, стоявшего за спиной пожилой женщины. Со странной мечтательностью Тамар смотрела на нее и думала, как она красива: стройная, серебряные волосы собраны в узел, точеное лицо слегка подернуто морщинами, выдающими сильный характер, голубые глаза сияют. Тамар представила пальцы Мико, проворно открывающие застежку ее сумочки и хозяйничающие внутри. Газета, которую тот держал в другой руке, скрывала его ладонь от стоявших рядом. Тамар в отчаянии повернула голову, ища взглядом Шишако. Где он прячется? Где затаился?

И в воображенье

Множество чудес:

Молоты играют,

Плуг пустился в пляс,

Землепашцы, виноделы,

Пастухи в краю родном —

Так нам в детстве рисовалось,

В детстве золо...

Тамар прервалась на полуслове и закричала:

— Вор! Вор! Клетчатый! Полиция!

В глазах Мико мелькнули, сменяя друг друга, изумление, ненависть и лютая издевка. Хватать его никто не рискнул, но люди сдвинулись, зажав его в ловушку из своих тел. Полицейские рванулись в его направлении. Люди закричали, началась толкотня. Тамар схватила Шая за руку и дернула. Он тяжело поднялся. Динка, сбитая с

толку, металась между ногами в толпе. Тамар крикнула, чтобы Шай бежал. Он послушался, но двигался так медленно, словно хотел, чтобы его схватили. Динка заливалась лаем, Тамар, не оглядываясь, позвала ее, понадеявшись, что собака кинется следом. Площадь вокруг них неистовствовала. Люди бестолково метались из стороны в сторону. Тамар услышала трель полицейского свистка, затем и сирену. Они побежали. Точнее, Тамар побежала, а Шай сделал с два десятка быстрых шагов и задохнулся. Тамар отобрала у него гитару. Ей казалось, что за ними уже устремилась погоня, она молилась, чтобы ее сообщение дошло до Леи, чтобы тот милый коротышка не подвел. Она посмотрела на Шая и поняла, что он не доберется даже до начала улицы. Его мокрое от пота лицо пожелтело.

— Не стой, Шай, уже близко, еще чуть-чуть, несколько метров...

Но Шай не мог. Он застонал и сплюнул темной слюной, ноги у него подкашивались.

— Беги! — прохрипел он. — Мне крышка... беги!

— Нет, не крышка! — заорала Тамар.

Люди оглядывались на странную пару: маленькая девочка с ежиком волос и высокий, до предела изможденный длинноволосый парень.

Тамар прислонила гитару к одному из стульев открытого кафе — черт с ней. Обхватила Шая за талию и потащила прочь. Нет выбора, пульсировало ее сердце, выбора нет. У нее нет выбора. Она тащила его, толкала, шептала, чтобы он держался, проклинала, до крови кусая губу. Глаза застилал пот, но она издали увидела маленькое желтое пятно — «жучок» Леи! Она приехала,

Лея здесь, она получила ее сообщение! Глаза Тamar наполнились слезами, но она уже могла различить Лею, сидящую в машине, — руки на руле, лицо решительное и мрачное, и мотор порывивает с такой знакомой хрипотцой, секунда, еще секунда, и они коснутся краешка свободы...

— Эй, никак лиять собрались, что ли?

Шишако. Прислонился к стене, почему-то тяжело отдувается.

— Да еще Мико кинули? Нехорошо. Друзья так не поступают. — Лицо его вытянулось, заострилось от ненависти. — Вам песец. Поиграли — и будет. По-тихому валите в машину. Пейсах вас отблагодарит. Мало не покажется. Пожалеете, что из мамки вылезли.

Силы покинули Тamar. Это несправедливо, подумала она, несправедливо проигрывать на последней секунде. Шай плакал, не сдерживаясь, словно наблюдал свой собственный конец.

И вдруг время останавливается и события начинают происходить в каком-то другом, невероятном измерении: Шишако внезапно дергается вперед и чуть не сбивает их с ног, в остервенении поворачивает голову, собираясь ринуться в драку, и глаза его едва не вылезают из орбит от изумления.

— Прочь с дороги, мистер Герой-Портки-С-Дырой, победитель малышей! — вопит какой-то незнакомый человек. — Прочь с дороги, хулиган и негодяй! Твоя песенка спета!

Шишако отшатывается, потому что хотя голос человечка дрожит и дает петуха, но в руках у него совершенно невозможная штука — старинное длинноствольное ружье, из тех, какие Шишако видел только в кино. Шишако вжимается в стену, нервно ерошит свою прическу под Элвиса, выжидая подходящий момент, чтобы броситься на этого шизанутого и вырвать оружие. Но как раз нелепый вид коротышки и смехотворные выкрики сбивают его с толку, Шишако подозревает, что тут кроется какая-то ловушка: кто-то выпустил это гнома в качестве отвлекающего маневра. Поэтому он мешкает несколько мгновений, и этого оказывается достаточно, чтобы Тамар успела втолкнуть Шая в подкравшуюся машину и влезть самой. Внутри сидит малышка Ноа, которая не признает ее. Толстенький человечек кажется Тамар странно знакомым, но она никак не может вспомнить, откуда его знает. Человечек залезает в машину, на переднее сиденье, и устраивается — неторопливо и величественно, словно у него тьма-тьмущая времени. Его ружье нацелено точно в сердце Шишако.

— Э, слышь, ты, поосторожней, — криво ухмыляется Шишако. — Брось пушку...

— Вы будете говорить, только когда вас спросят, — важно произносит человечек, и его лысина краснеет. — Тронулись, Леечка! — командует он с наслаждением, и машина срывается с места, оставив позади ошарашенного и разъяренного Шишако.

Тот озирается в поисках хитрых сообщников этого престарелого карапуза или, на худой конец, телевизионного придурка со скрытой камерой.

— Мами! — внезапно вопит Ноа и тянет к Тамар ручки. — Мами, я так соскучилась! Где волосы?

— Я тоже, любимая, — шепчет Тамар и зарывается носом в шею девочки, с наслаждением вдыхает ее запах.

— Нянька подкачала, — объясняет Лея. — В последний момент. Пришлось взять с собой. Ты в порядке, Тами?

Лея так дергает машину, что всех бросает вперед и тут же швыряет назад.

— Я жива, — бормочет Тамар и ласкается к Нойке, прижимается к ее чудной чистой коже, вбирает глазами ее простодушный, смешливый взгляд.

Она думает про Шели — когда-то Шели тоже была вот такой малышкой и ее тоже кто-то любил. Шай смотрит на девочку без выражения, даже на выражение у него не осталось сил. Слезы еще висят на длинных ресницах. Ноа бросает на него настороженные взгляды. Что-то в нем ей не нравится. Девочка отворачивается от Шая. Лея видит в зеркальце реакцию дочери. Она безоглядно верит в магическую способность этого ребенка проникать в душу человека, и потому ее лоб бороздят морщины. Тамар крепко целует правый глазик, левый глазик, маленький носик и наконец откидывается на сиденье. Она чувствует запах собственного пота, мысли перескакивают на душ в сарайчике Леи, на мягкую, чистую постель. Все произошло так быстро, она еще не осознала, что план сработал, но ее переполняет радость. Она ищет в зеркальце глаза Леи, нуждаясь в подтверждении: кто-то должен сказать ей, что это произошло на самом деле, в жизни, а не в мечтах, что ее

фантазии слились с действительностью... Но Лея сосредоточена на дороге.

Почему Тamar чувствует, что еще не все завершено? Что за чесотка пробудилась где-то в глубине ее памяти — будто кто-то пытается сказать ей что-то важное?

— Куда едем? — спрашивает Лея.

— К тебе, — говорит Тamar. — Побудем у тебя два-три дня, чуть успокоимся, окрепнем, а потом отправимся на новое место.

— Куда именно? — интересуется человек с ружьем.

— Познакомьтесь, — Лея впервые улыбается, — это Моше Хонигман. Он принес мне твою записку и сказал, что останется помогать до конца. — Она ласково хлопает Моше Хонигмана по пухлой коленке. — Наш Сталлоне малость зануда, но очень милый, — и подмигивает Тamar в зеркальце.

Моше Хонигман не слушает. Он все еще в роли телохранителя. Бдительный взгляд зорко прочесывает окрестности, губы непрерывно что-то бормочут в кулак, словно там у него зажат микропередатчик.

Тamar наблюдает за его странными жестами, потом потрясенно смотрит на Лею.

Та пожимает плечами: «Мы тут все крутые командос, а?»

— Где Динка? — спрашивает Ноа.

— Динка! — подскакивает Тamar. — Мы забыли Динку!

В толчее, в гуще ног... Динка лаяла, запуталась, потеряла их.

Нужно вернуться, лихорадочно думает Тамар, я не могу ее бросить. Динка не сумеет добраться до дома. Немедленно! Но, взглянув на безжизненного Шая, голова которого бессильно свесилась набок, она понимает, что она не вернется, никогда не вернется. Тяжелая рука стискивает ей горло, давит изо всех сил. Как она могла забыть собаку? Как могла предать ее?

Воцаряется тяжелая тишина. Даже Нойка, что-то почувствовав, молчит. Лея оглядывается на Тамар.

— Мы ее найдем, не волнуйся, — шепчет она, сама себе не веря.

— Теперь уже не найдем, — говорит Тамар.

Она откидывается назад и закрывает глаза. Динка, ее верная и лучшая подруга с семилетнего возраста, ее вторая половина, пропала. Ее больше нет. Мозг Тамар сверлит мысль, что судьба потребовала жертву за спасение Шая. И этой жертвой стала Динка.

Чья-то рука пробирается в ее ладонь. Шай тяжело дышит, не открывая глаз. Он слегка притягивает ее к себе. Ее ухо приближается к его губам, и он с трудом шепчет:

— Прости, Тами. Прости...

Моше Хонигман оборачивается:

— Твоему другу надо к врачу.

— Я им займусь, — кратко отвечает Тамар.

И вдруг Шай из последних сил произносит:

— Я не друг... она моя сестра.

Голова падает к Тамар на плечо, и он шепчет:

— Единст... ный у меня... на свете... че... ек...

И его пальцы бессильно цепляются за ее пальцы.

# Любимая, я всех кочевников спросил...

*Любимая, я всех  
кочевников спросил...*

Через четыре дня после того, как Тamar убежала с Шаем и потеряла Динку, Асаф быстро шагал по пешеходной улице Бен-Йегуда. Он почти бежал, пытаясь, без особой надежды на успех, найти того самого гитариста. Рюкзак Тamar, висевший у него за спиной, налился тяжестью, он был как живой, как будто нашептывал что-то: неясные слова, туманные мысли, мольбы о помощи. Асаф прошел мимо кружка людей, наблюдавших за выступлением девушки-фокусницы, задержался на минутку, чтобы послушать игру совсем юного паренька, почти мальчишки, а потом увидел еще одного — парень сидел, привалясь к стене банка, и извлекал монотонные мелодии из чего-то вроде ситара при помощи смычка, зажатого между большими пальцами ног. Асаф и не знал, что на улице выступает столько народу, он подивился их молодости — большинство его сверстники. Асаф смотрел на них, гадая, связаны ли все эти музыканты и фокусники с той мафией, о которой говорил Сергей.

А в конце мидрахов он наткнулся на еще один тесный кружок: люди толпились вокруг девушки, игравшей на виолончели. Асаф ничего не понимал в музыке, но тем не менее страшно удивился, что кому-то стукнуло в голову играть на таком вот инструменте на улице. Виолончелистка была невысокой, в круглых

очечках и красной шляпке, Асаф догадался, что людей привлекает не грустная мелодия, а сама диковинная девчонка с огромным инструментом.

Асаф и Динка почти прошли мимо виолончелистки, как вдруг собака резко остановилась, развернулась, сосредоточенно принюхалась и внезапно рванулась в самую гущу толпы. Асаф двинулся следом, прокладывая дорогу среди слушателей, пока не оказался рядом с виолончелисткой, в самом центре круга.

Девушка играла, закрыв глаза, по лицу ее временами пробегала рябь, словно ей что-то снилось. Динка гавкнула. Девушка открыла глаза и изумленно уставилась на собаку. Асафу показалось, что она даже побледнела. Потом выпрямилась на стуле, глаза нервно пробежались по толпе, но играть она не прекратила, правда, теперь просто водила смычком по струнам. Динка натянула поводок, Асаф дернул ее назад. Слушатели недовольно загалдели, требуя, чтобы он убирался со своей собакой. Асаф испугался, осознав, что сейчас они с Динкой — уличное представление.

Первой опомнилась виолончелистка. Она перестала играть, быстро нагнулась и торопливо зашептала:

— Где она? Передай ей, что она дико крутая, все ребята у нас говорят, что она супер! Су-пер! Беги! Беги же!

Она снова распрямилась, откинулась на спинку стула, крепко зажмурилась, словно стирая в памяти минувшее мгновение, и заиграла, вновь наводя на публику свои странные меланхолические чары.

Асаф ничего не понял. Самое главное — он не понял, почему ему надо бежать. Динка сообразила

скорее. Ринулась прочь, волоча Асафа за собой. Он догадался, что она его спасает от чего-то неведомого, и тут же пришел в себя. Они вырвались из толпы. Асафу показалось, что кто-то кричит, чтобы он остановился, и он побежал еще быстрее. Если бы Асаф глянул назад, то увидел бы, как коренастый человек торопится следом, прижимая к уху мобильный телефон.

Асаф бежал и лихорадочно соображал. Эта девчонка знает Тamar, как пить дать знает. Она увидела Динку и просила передать Тamar, что та дико крутая. Думай, думай скорее! «И ребята у нас говорят, что она супер»? Что она такого сделала? И где это «у нас»? Он бежал, и мозг его бурлил, выбирал, сортировал, комбинировал. Асаф знал и не знал.

Сердце подсказывало, что он на правильном пути, что теперь он в своей стихии — на своей любимой пятикилометровой дистанции. Асаф прислушивался к вызревавшей внутри него версии и бежал. А рядом бежала Динка. Не глядя друг на друга, они синхронно лавировали между людьми, перебежали улицы, срезали углы — как раньше, как в самом начале их дружбы (неужели вчера? Господи помилуй, изумился Асаф, да не может быть, чтобы это было только вчера), только теперь без повода — сейчас их связывали лишь быстрые одобрительные взгляды. Я с тобой, я с тобой, хороший поворот, спасибо, где ты, в десяти шагах от тебя, между нами несколько человек, но не волнуйся, полный вперед, я ориентируюсь, я слышу, кто-то за нами бежит, я не слышу, но лучше сверни в этот переулок, нет, сюда я не сверну, я что-то чую, продолжай бежать, я приближаюсь к чему-то хорошему, только не останавливайся, ну ты меня насмешила, хватит болтать, не мешай сосредоточиться, надеюсь, ты знаешь, куда ты меня

ведешь, конечно, знаю, да и ты вот-вот узнаешь, эй, Динка, это кажется мне знакомым, мы, похоже, уже были здесь, вон у этой высокой стены, раскрой глаза, Асаф, только вчера мы тут были, верно, верно, это... ну наконец узнал, за мной...

Динка опрометью кинулась к зеленой калитке, встала на задние лапы и передними нажала на ручку. Асаф с собакой ввалились внутрь. Асаф оглянулся, сзади никого не было, преследователи отставали. Он пересек двор: мимо колодца, мимо тесаных камней, между согнувшихся под тяжестью плодов ветвей фруктовых деревьев, сквозь глубокую, уже знакомую ему тишину.

Но еще не успев обогнуть дом и устремиться к задней стене, к обращенному на запад окну, навстречу корзинке, которая должна спуститься к нему с ключом, Асаф почувствовал что-то странное, словно вдруг воздух внезапно похолодел вокруг него: дверь дома была нараспашку и слегка покачивалась.

Он ворвался внутрь. Динка следом. Остановились они одновременно.

Все было разгромлено. Прихожая выглядела так, словно над ней пронесся ураган. Пол устилала книги, сотни книг, раскрытых, разодранных, растоптанных. Высокие шкафы перевернуты и изуродованы, точно кто-то рубил их топором. Даже алтарь был сдвинут с места — на полу светлел прямоугольник. Казалось, алтарь двигали, проверяя, не прячется ли за ним кто-нибудь.

«Теодора», — подумал Асаф и на секунду окаменел, не решаясь бежать вверх, ведь для этого пришлось бы ступать по книгам. Но уже через мгновение он бежал, топча книги, догадываясь, что случившееся здесь как-то

связано с ним и его вчерашним визитом. Весь во власти этой ужасной догадки, он мчался по круговому коридору, и воображение рисовало ему кошмары, ожидающие его в конце, — все те кошмары, что он видел в триллерах или с какими сталкивался в самых страшных компьютерных играх. Перепуганный ребенок уже заливался плачем в его голове, и Асаф изо всех сил старался не поддаться ему. Теодора такая маленькая, думал он, настоящий цыпленок, как она выжила после такого погрома? На бегу он заглянул в опочивальню. Кровати были перевернуты, матрасы вспороты ножами. В воздухе до сих пор чувствовалась ненависть, переполнявшая тех, кто это сделал. Одним махом Асаф перелетел через шесть последних ступенек, распахнул синюю дверь и заставил себя не зажмуриться от страха.

В первый момент он не заметил ее среди хаоса, царившего в комнате. Потом обнаружил: в кресле-качалке, с открытыми глазами. Она выглядела как тряпичная кукла, которую кто-то забыл в кресле. В глазах не было ни искры жизни. Затем, целую вечность спустя, ее губы приоткрылись.

— Асаф, — почти беззвучно прошептала Теодора. — Это ты, Панагия му! Беги отсель. Скоро!

— Что случилось, Теодора? Что с вами сделали?

— Беги, прежде чем они воротятся! Ступай, сыщи ее, храни ее!

Ее глаза закрылись.

Асаф подскочил к Теодоре, опустился на колени, взял ее за руку. И тут увидел открытую рану, тянущуюся от виска к уголку рта.

— Кто вас так?

Теодора медленно вздохнула и вытянула три сухоньких пальца:

— Троица. — Ее рука вдруг с силой сжала его плечо. — Звери дикие. А более всех — самый великий, Асмодей.

Теодора замолчала, но рука ее продолжала впиваться в его плечо, словно там сосредоточилось все ее естество.

— Помни: он плешив... ох, Сатанас! И коса позади, да повесят его на той косе, аминь!

Глаза Теодоры снова закрылись, будто она потеряла сознание, но ярость ее никуда не делась, и Асаф с облегчением обнаружил, что речь монашки пострадала не слишком сильно.

— Про Тamar пытал он, вурдалак, бык бодучий, зверь лютый, а когда я молчала — трах! По щеке ударил! Но не волнуйся, милый... — Слабый намек на знакомую улыбку своевольной девчонки обозначился на ее губах. — Его я кусала так, что вовек не забудет сладость уст моих.

— Но чего они хотели?

Теодора открыла глаза и устало улыбнулась:

— Ее.

— Но как они додумались явиться сюда?

— Не ты ли нам речешь?

Его длинные ресницы дрогнули и на миг сомкнулись от боли. Значит, это он привел их сюда. Но как? Похоже,

кто-то видел его, когда он выходил отсюда вчера, узнал Динку и решил, что Тамар скрывается в этом доме.

Теодора застонала и сделала ему знак, что хочет встать. Асаф не поверил, что у нее хватит на это сил. Но Теодора встала, ухватившись за него и покачиваясь, словно крошечное пламя воли. Несколько секунд оба не двигались. Постепенно краски вернулись на ее лицо.

— Ныне лучше. Ночью было вестимо плохо. Мнилось — не ожить мне...

— От побоев?

— Нет. Лишь один удар нанес. Но от отчаяния.

Асаф понял. Она пальцем коснулась его запястья:

— Или снова зрели тебя по дороге?

— Зрели, — признался Асаф. — Гнались за мной. А я убежал. Но они могут быть поблизости.

И тут он осознал то, что прежде осознавать попросту не смел: те, кто за ним гнался, уверены, что он сообщник Тамар.

— Коли так, — сказала Теодора, — через минуту-другую они поразмыслят, а не явился ли ты снова сюда, и ныне тебя искать станут, не меня. И с тобою не будут деликатны. Ты должен идти, дорогой.

— Но если я сейчас выйду, они меня схватят.

— А ежели останешься, они схватят тебя тем паче.

Они испуганно помолчали. Стук собственных сердец чудился им грохотом шагов в коридоре. Динка смотрела на них блестящими глазами, дрожа от нетерпения.

— Разве только лишь... — проговорила Теодора.

— Разве только — что?

— Разве только нечто отвлечет их внимание.

Асаф непонимающе смотрел на нее.

— Ну что может...

— Молчание! Не мешай.

Теодора заходила по комнате, пробираясь среди книжных груд, сломанных полок, наступая на осколки посуды, на пачки писем, перетянутые широкими желтыми резинками. Асаф не понимал, откуда у нее вдруг взялись силы двигаться, думать, волноваться за него, ведь вся ее жизнь лежит тут, разбитая вдребезги.

У входа в кухоньку валялся маленький деревянный шкафчик. Теодора открыла дверцу, достала белый матерчатый зонтик с тонкими деревянными спицами.

— На Ликсосе, — задумчиво объяснила она, — жгучее солнце.

Асаф напрягся. Она сошла с ума, подумал он, потрясение все-таки доконало ее.

Теодора посмотрела на него и прочла его мысли:

— Прошу, не тревожься попусту, милый. Не обезумела я.

Она попыталась раскрыть зонтик. Деревянные спицы жалобно заскрипели, белая тонкая ткань расползлась и осыпалась хлопьями снега.

— Похоже, велено мне отринуть мой щит. Но где же...

У Теодоры вдруг прорезался странный деловитый тон. Из потайного ящичка она достала пару малюсеньких черных башмачков, завернутых в пожелтевшую газету и

выглядевших совершенно детскими, сдула с них пыль и рукавом рясы навела блеск. Потом присела на краешек кровати и попыталась обуться. Асаф заметил, как старческие пальцы путаются в шнурках.

— Что за глупая старуха новая твоя подружка, — Теодора смущенно посмотрела на него. — Пятьдесят лет не завязывала шнура — и уже запомнила!

Асаф опустился перед ней на колени и с трепетом, точно принц, надевающий Золушке туфельку, завязал шнурки на допотопных ботиночках.

— Зри же, сколь не изменилась нога моя с тех пор! — похвасталась Теодора, даже вытянула ножку, на секунду забыв об ужасе их положения.

Лицо Асафа находилось на уровне ее лица, на щеке монашки алела длинная ссадина. Теодора поймала его испуганный взгляд.

— Дивны пути мира сего, — вздохнула она. — Пятьдесят лет не касался муж лица моего, и вот — сразу побои.

Короткая судорога плача исказила ее лицо и тут же исчезла.

— Довольно! — вскричала Теодора. — Будет! Теперь поведай-ка скорее, как все там зримо?

— Ужасно зримо, — вздохнул Асаф. — Нужна перевязка.

— Нет, не там! Там! — и Теодора ткнула через плечо, в сторону улицы.

— Там?..

Асаф замялся. Что же сказать? Как описать мир за полминуты?

— Нужно увидеть, чтобы понять, — прошептал он.

Ее испуганный взгляд проник в глубь его глаз. Они помолчали. Асаф знал, что пройдет еще много времени, прежде чем он переварит то, чему является сейчас свидетелем.

— Я выйду за ворота со стороны вот этой моей руки, — сказала Теодора, и Асаф догадался, что она даже не знает, где лево, где право. — А ты ожидай еще минуту-другую изнутри дома. Коли они стерегут там, не поспешат ли за мною, узреть, что старуха затевает...

— А если вас схватят?

— Именно, именно. И я желаю сего пуще жизни, пусть хватают меня, а не тебя.

— А если снова ударят?

— И что сделают мне, чего не делали прежде?

Асаф смотрел на Теодору, потрясенный ее смелостью.

— Вы не боитесь?

— Боюсь, непременно боюсь, но ужели их? Лишь неведомое страшит.

Теодора опустила голову и продолжала, обращаясь к нитке, выглядывающей из рукава рясы:

— Ну-ка, молви, когда я выйду, когда пройду наружные врата, что узрю? Что там самое первое снаружи ожидает?

Асаф припомнил. Улочка, на которой стояла обитель Теодоры, была малолюдной и тихой. Днем там полно

машин — водители используют проулок в качестве парковки. На углу отделение банка и магазин электротоваров, в витрине которого вечно работает телевизор.

— Ничего особенного, — пробормотал он и замолчал, понимая глупость своих слов.

— А шум, а? Поболее опасаясь я шума и света там. Быть может, есть у тебя солнечные очки ради меня?

Очков у Асафа не было.

— Это может оказаться тяжеловато в самом начале, — сказал он, чувствуя желание завернуть Теодору в вату. — Только будьте осторожны на проезжей части, всегда смотрите сначала налево, потом — направо и снова — налево. И когда красный свет, нельзя переходить...

Чем больше он говорил, тем с большим ужасом сознавал, сколь много Теодоре нужно узнать и понять, чтобы уцелеть в городской суете хотя бы минут пять.

Они вышли из комнаты. Теодора шла с трудом, опираясь на плечо Асафа. Потихоньку преодолели длинный круговой коридор. Асаф чувствовал, что для Теодоры это еще и траурное шествие, и прощание с чем-то невозвратимым.

Она изумленно, будто сама себе, сказала:

— Когда пали стены Старого града, я не вышла. Не вышла и тогда, когда бомбы падали на улице и на рынке, хотя и весьма желала дать кров страждущим. И не вышла, когда убиен был Ицхак Рабин, блаженной памяти, и ведомо мне было, что весь народ проходит пред гробом его. А ныне, вот... Христос ке апостолос! — пробормотала

она, когда ее глазам открылась разруха в прихожей, и замолчала.

Асаф подумал, что сейчас Теодора упадет в обморок, но она, напротив, отпустила его плечо и выпрямилась во весь свой крохотный рост. И, глядя на ее упрямое лицо, он понял, что эту маленькую старушку никому не одолеть. Он хотел расчистить для Теодоры путь среди разоренных книг, но она заявила, что на это нет времени, и с достоинством проследовала к выходу, ступая по изуродованным страницам, почти не касаясь их, словно паря.

У двери, ведущей во двор, Теодора остановилась, нервно потирая руки.

— Слушайте, — выпалил Асаф, — может, не надо? Я справлюсь. Я быстро бегаю, они меня не поймают.

— Молчание! — приказала она. — Теперь делай и послушай:<sup>[50]</sup> к Лее иди. Возможно, сумеет она помочь. Слыхал ты о Лее?

Асаф замялся. В дневнике это имя встречалось несколько раз. Он вспомнил, что была там какая-то таинственная история, полная недоговорок, что-то с младенцем, страхами, нерешительностью, поездкой во Вьетнам... Но конечно, он не мог сказать Теодоре, что заглядывал в дневник.

Он спросил, где ему искать Лею, и Теодора сердито развела руками:

— Да то и горе, что она ничего не говорит, Тamar! Однажды говорит мне: «Есть Лея». Прекрасно, сказала я. Спустя, верно, половину года добавляет: «И у Леи есть

---

<sup>50</sup> Парафраз из Библии, кн. Исход, 24:7.

ресторан». Кушайте на здоровье, сказала я, но где же сея ресторация? И кто такая сея Лея, и что между вами? А она молчит. А что ныне? Что нам остается?

Она горестно посмотрела на него, потом наклонилась к Динке, погладила ее уши и что-то прошептала. Асаф уловил:

— Лея... в ресторан... разумеешь? И как стрела из лука, одна лапа здесь...

Динка внимательно посмотрела на нее. Асаф подумал, что Теодора все-таки слегка сошла с ума, если надеется, что Динка поймет ее.

Вдруг Теодора схватила его руку обеими ладонями:

— А ты, понятно, поведай Тамар, что я вышла отсюда, истинно? А она не поверит, вестимо! — И Теодора радостно хихикнула. — Она убоится! Тамар! Только, внемли, не скажи ей, что ради нее вышла, чтоб не убивалась, есть у нее и без меня муки многие. Хо-хо! Даже у слова этого «вышла» совершенно особый вкус на устах моих! Я выхожу. Сейчас выйду. И вот я выхожу.

Теодора распахнула дверь и посмотрела на широкий двор.

— Эту сторону я чуть знаю. Когда Назарян несет белье от прачки или покупки с рынка, я стою тут изнутри и зрю чрез открытую дверцу. Но ежели стоять здесь... — Теодора сделала один шаг через порог, и ее душа воспарила. — Какая краса! Так широко... Зри, зри, — пробормотала она и вдруг быстро-быстро заговорила по-гречески.

Слова накатывались одно на другое, Теодора схватилась руками за голову, будто голова могла

лопнуть. А в следующий миг ноги понесли ее вперед. Асаф подумал, что нужно побежать за ней, но побоялся: что, если на него действительно устроили засаду у ворот? Он вспомнил первые шаги маленькой Муки, и как он за нее волновался, и что это было за чудо, когда она дошла от кровати до стола.

А Теодора уже отдалилась от него, точно рыбацкая лодчонка, подхваченная мощным течением. Она открыла калитку, ведущую на улицу, посмотрела направо и налево. Казалось, что там никого нет, потому что она обернулась к Асафу с широкой, чуть ошалелой улыбкой. В сущности, подумал он, если там никого нет, ей вовсе не обязательно выходить! погоди! Пстой! Ты можешь вернуться!

Но никакая сила на свете уже не могла остановить Теодору, и калитка со стуком захлопнулась за ней. Асаф остался один в пустом дворе. Он представил, как она шагает по улице, и подумал, что через минуту увидит, как Теодора бежит назад, удирает со всех ног и запирается в своей комнате еще на пятьдесят лет. Но в самых своих невероятных видениях он не мог представить себе то счастье, которое захлестнуло ее вместе с приливом хлынувшей на нее внешней жизни.

Всю слабость Теодоры как рукой сняло. Ноги сами понесли к улице Яффо. Пятьдесят лет назад, душной ночью, она приехала сюда на стареньком автобусе, а потом еще тряслась в колыхаге бухарского возницы, который высадил ее перед воротами ее тюрьмы. И сейчас она стояла, всеми чувствами раскрытая навстречу чуду улицы. Лицо ее пульсировало тысячью выражений и оттенков. В груди билась тысяча сердец. Все запахи, все цвета, все звуки и шумы... у нее не было названий для

всего того, что она видела, не было названий для новых чувств, известные слова лопались одно за другим, и если можно умереть от обилия жизни, то это была та самая минута.

Теодора отрешилась от машин, от уличной толпы, от двух прихвостней Пейсаха, наткнувшихся на нее, когда она вышла на большую улицу.

— Глянь, Шишако, вот твоя бешеная монашка, звони скорее Пейсаху и топай за ней всюду!

Она шагнула прямо на проезжую часть, опьяненная счастьем, совершенно равнодушная к гудкам, раздающимся вокруг нее, к скрипу тормозов, упала на колени посреди улицы Яффо, сложила маленькие ладони и впервые за пятьдесят лет от всего сердца вознесла благодарную молитву Господу.

Пять минут спустя Асаф уже бежал во весь дух, перепуганный до смерти. Его руки беспорядочно молотили воздух, глаза почти ничего не видели. Впервые с тех пор, как он отправился в путь, Асаф не мог справиться с дыханием. Динка, моментально почувствовав произошедшую в нем перемену, то и дело с тревогой оборачивалась. Он и не представлял, сколь ужасным образом обернется это приключение. Каждая устремленная на него пара глаз вызывала в Асафе новый приступ паники. У него было ощущение, что по всему городу рассеяны люди, подстерегающие его. И он был совершенно прав: вот уже четыре дня бульдоги Пейсаха были заняты исключительно погоней за Тамар, а со вчерашнего дня — и за Асафом. Отменили выступления во всех городах, кроме Иерусалима. Артистам было велено смотреть в оба и докладывать, в общежитии

распространился слух о награде в две тысячи шекелей — для того, кто сообщит важную информацию, а бульдоги Пейсаха получили приказ оставить свое обычное занятие, прочесывать улицы и искать Тамар и незнакомого высокого парнишку, который взялся неведомо откуда, вертится по городу с ее собакой, сует во все свой нос и вечно опережает Пейсаха с его людьми на один шаг.

Случилось так, что Асаф, выйдя из дома Теодоры и стараясь двигаться только по боковым улицам, тотчас привлек к себе повышенное внимание. Он бежал за Динкой, вручив свою судьбу в ее лапы, и ему было неважно, куда она мчится, главное — уводит их прочь от опасной теперь обители. Он так мечтал исчезнуть, скрыться, что от его внимания ускользало даже то, что буквально бросалось в глаза. Так он прозевал коренастого типа, торчавшего на углу Кинг Джордж и Агриппас, около лотка с фалафелью, и пытавшегося починить «субару», капот которой был открыт уже второй день. У коренастого зазвонил мобильный телефон. Однорукий торговец лотерейными билетами с улицы Гистадрут сообщил, что видел сейчас паренька с собакой, подходящих под описание. Коренастый, не сказав ни слова, отключился и набрал номер. Ответили ему тотчас, не выждав и одного звонка. Коренастый передал сообщение. И в следующую секунду мимо его собеседника мелькнул парень с собакой. Асаф не обратил внимания и на этого человека, тощего субъекта с густыми бачками, шустро припустившего за ним следом и на ходу бубнившего что-то в телефонную трубку.

— Они рядом с гуттаперчевой девкой, собака остановилась, что такое? Секунду! — Тощий говорил очень быстро, ощущая себя, разумеется, спортивным

комментатором. — Лезут в толпу, отсюда их не видно, скажи всем, чтобы валили сюда, и тачку подгони, они у меня под колпаком, понял, слышали, не ори, стоп, что это? Что еще за хрень?

А случилось то, что гуттаперчевая девочка увидела собаку. Это произошло на секунду раньше, чем ей удалось упаковать свое гибкое тело в большой аквариум. Пустой и отрешенный взгляд внезапно сфокусировался, желчное лицо напряглось, и она с упругой легкостью принялась расплетать тело, узел за узлом, проворно выпростала ногу из подмышки, освободила руку, обернувшись вокруг лодыжки, поднялась и закричала:

— Шишако! Собака! Собака!

Началась свалка. Люди метались во все стороны, пихались, наталкивались друг на друга, а еще — на четырех молодчиков с тяжелыми взглядами, которые вынырнули из четырех переулков. Асаф и Динка умудрились выскользнуть из людской неразберихи и улизнуть, разделившись и снова встретившись тремя улицами дальше, обнаружив друг друга только благодаря какой-то интуиции, до смерти напуганные накинувшимся на них целым миром. Город стал охотничьим угодьем, каждый встречный был замаскированным охотником. Сейчас все зависело только от Динки, потому что Асаф ничего не соображал от страха, в одиночку у него не было ни единого шанса спастись. Динка вела его за собой, стремясь вперед с поразительной силой. Она была упряжной собакой, сенбернаром, поводырем и овчаркой одновременно.

Из узкого тупичка Асаф с Динкой нырнули через дыру в заборе в крошечный дворик, где обнялись, прижались друг к другу, замерли в напряженном

ожидании, наблюдая за тощим типом с бачками, который напомнил Асафу подвяленного Элвиса Пресли. Тощий заглянул в тупичок и двинулся дальше. Динка зарычала. Асаф зажал ей пасть рукой. Через минуту они выскользнули из дворика и понеслись в обратную сторону, задыхаясь от отчаянного бега. Безнадежно, подумал Асаф, в следующем переулке они меня схватят. И тут раздался короткий радостный лай, и перед его глазами мелькнула вывеска «У Леи». Асаф издал изумленный вскрик. Динка с налета прыгнула на калитку, Асаф бросил последний взгляд назад и ввалился во двор со стоном облегчения.

В середине двора росла молодая пальма, стояли накрытые столики. За одним из столиков сидела пожилая пара и тихо беседовала, Асафа с Динкой парочка словно и не замегила. Они пересекли двор, поднялись на три ступеньки и ворвались в просторный зал. Там тоже стояли накрытые столы, почти за каждым сидели люди, и Асаф остановился в растерянности. Посетители ресторана смотрели на него во все глаза, и он мигом почувствовал себя грязным, растрепанным и расхристанным, но Динка уже тащила его куда-то, толкнула двустворчатую дверь на пружинах, и они оказались на кухне.

Асаф обвел глазами помещение: повар в белом колпаке, в большой кастрюле что-то энергично булькает, сильно пахнет чем-то незнакомым, плюется жиром раскаленная сковородка, кто-то кричит снаружи в маленькое окошечко: «Листья цикория с рокфором!», парнишка нарезает помидоры, приземистый толстячок неловко замер в уголке, высокая женщина с лицом,

изуродованным длинными, плохо зарубцевавшимися порезами...

Женщина шагнула к нему, с угрозой скрестив руки на груди. И тут увидела собаку.

— Динка! Динкуш! — заорала она во весь голос, шмякнулась перед собакой на колени, стиснула в объятиях и прижала к себе.

Точно так же обнимала собаку Теодора, подумал Асаф, переводя дух.

— Динка, мамочка, радость моя! Где ты была четыре дня? Я тебя по всему городу искала! Цион, дай ей скорее воды! Глянь, как бедняжка пить хочет!

Асаф воспользовался моментом, чтобы покоситься на двустворчатую дверь — не ворвались ли еще в ресторан те самые типы.

Женщина медленно поднялась, встала перед ним:

— А ты кто такой?

Ее глаза показались ему двумя заостренными клинками. Асаф молчал. Он понятия не имел, как объяснить, кто он такой, откуда взялся и почему ворвался на кухню ее ресторана. Все находившиеся на кухне работники — двое официантов, резчик помидоров, повар, его помощник — точно окаменели.

Асаф смущенно посмотрел по сторонам, а потом попытался спрятаться за броней госслужащего.

— Вы не знакомы с хозяевами этой собаки? — спросил он самым официальным голосом, на какой был только способен, голосом бланка № 76.

— Я, кажется, спросила, кто *ты* такой?

Ее голос был резок и колюч, очень такой безапелляционный голосочек, да и смотрела она с таким явным подозрением, что Асаф оскорбился и едва не разразился гневной речью, которая варилась в нем уже два дня («Как это понимать, кто я такой? Я — тот самый, кто носится с этой собакой по всему городу, чтобы вернуть ее законным хозяевам, я — тот, на кого все подряд норовят наброситься, кого все преследуют!» — и так далее и тому подобное). Но вместо этого он сказал:

— Я работаю в мэрии и ищу хозяев этой собаки.

— Ну так можешь ее оставить, — решительно сказала женщина со шрамами. — И привет. Мы здесь, к твоему сведению, не развлекаемся.

И, положив ему на плечо тяжелую руку, подтолкнула его к двери. И вся кухня пришла в движение: парнишка продолжил кромсать помидоры, повар дружески потрепал по щеке помощника.

— Нет, — сказал Асаф. — Я не могу ее оставить.

Женщина со шрамами снова замерла, а вслед за ней и все остальные.

— Почему нет? Что за проблема?

— Потому... потому что вы не хозяйка.

— Правда?

Это ее «правда?» впилося в Асафа, как колючая проволока. — И откуда ты взял, что я не хозяйка?

Динка, шумно лакавшая воду, вдруг перестала пить, твякнула, подошла к Лее и залилась необычайно решительным лаем. Вода капала с ее пасти. Стоя между

Асафом и Леей, Динка сердито лаяла, с очевидным намерением нетерпеливо топнуть лапой.

— Хватит, Динка, — смущенно попросил Асаф. — Это же Лея. Что с тобой?

Но та не успокоилась. Она обошла Асафа кругом, словно обводя его линией, а потом уселась спиной к нему и носом к Лее и гавкнула еще раз, особенно отчетливо.

— Гляньте-ка, — тихонько сказала Лея.

Что-то ткнулось Асафу в спину, пониже рюкзака Тamar. Он хотел обернуться, но нажим усилился.

— Ответьте, сударь, на вопрос, заданный вам госпожой, — раздался за его спиной старческий голос, — если не хотите, чтобы вас разнесло разрывными пулями, которые разлетятся по всему вашему телу, поразив все мышцы и ткани.

— Моше! — выпалила Лея в сердцах. — Вовсе ни к чему такие подробности. Здесь люди кушают, между прочим!

Я схожу с ума, подумал Асаф. Ружье? На меня теперь охотятся с ружьем? Они что все — спятили? Что такого натворила эта Тamar, что все из-за нее лишаются рассудка?

— Считаю до трех, — стоял на своем голос. — А после этого мой палец нажмет на спусковой крючок.

— Ни на что ты не нажмешь! — разъярилась Лея. — Немедленно убери от него свою штуквинку. Самир, иди накрой столик на двоих и дай Динке поесть. А ты... как тебя звать?

— Асаф.

— Идем со мной.

Она провела его в маленькую комнатку, где было всего два столика, оба свободные, и уселась напротив.

— А теперь объясни-ка, с начала и до конца. Только предупреждаю, что этот вот нос, — она слегка дотронулась до кончика своего носа, — вранье завсегда чует.

Асаф показал ей бланк и объяснил систему Даноха по выявлению хозяев пропавших собак. Но Лея не взглянула на бланк. Она внимательно изучала лицо Асафа, будто впитывала его подлинную сущность.

— Между прочим, — вспомнила она посреди его рассуждений, — я — Лея.

Она протянула ему большую мужскую руку и подивилась его рукопожатию, едва не раздавившему ее сильную ладонь.

— Ну а это где схлопотал? — она указала на его синяки.

Он рассказал.

— Не пойму, что ты там делал? Как туда попал?

Он рассказал. И о Сергее тоже.

— А это откуда? — Лея указала на длинную царапину на лбу, про которую Асаф уже успел забыть.

— Это? Откуда это... а, это вчера. От сыщика одного.

И он рассказал.

А Лея слушала.

И еще о том, как за ним гнались по городу.

— А это вот ее, — сказал Асаф, наконец сбросив рюкзак. Он поведал, как вызволил его из камеры хранения.

Лея молчала. Только сидела, смотрела на него, и две продольные складки на ее лбу стали еще глубже. Внезапно она словно очнулась:

— А ведь со всей этой беготней ты сегодня еще не кушал, факт? Поешь, а потом продолжим.

У Асафа в животе буквально резануло.

— Но что же с Тамар? — пробормотал он, сглотнув. — Надо же спешить.

Лея увидела, как дернулся у парня кадык, и что-то в ней неожиданно всколыхнулось. Она держала ресторан уже более двенадцати лет и ни разу еще не встречала человека, который бы отказался от ее стряпни.

— Тамар в надежном месте, — сказала она неожиданно для себя. — Ты давай покушай.

— Но у меня нет денег, — пробормотал Асаф. — У меня украли.

— Заведение угощает, — рассмеялась Лея. — Ты что любишь?

— Все, — улыбнулся в ответ Асаф, сообразив, что наконец-то угодил в хорошие руки.

— Вот все и получишь, — решила Лея и встала. — Я пошла на кухню, но не волнуйся, я тебя не бросаю.

Асаф с наслаждением накинулся на целую батарею прибывших вскоре блюд. Еда была изысканной и пряной, просто дух захватывало от этих вкусовых волн, дурманящих и круживших голову, но совершенно

однозначно свидетельствовавших: здесь ему желают добра.

Лея время от времени задумчиво поглядывала на него через кухонное окошко и довольно улыбалась столь здоровому и основательному аппетиту. Внезапно она напряглась, замерла, затем подозвала Самира и тихо попросила сбегать к ней домой, отпустить няньку и привести Нойку. Как можно скорее. Самир изумленно уставился на нее:

— Сюда? Прямо сейчас? Вы уверены?

Да, да, она уверена. Скорее. Она должна выяснить что-то очень важное.

— Я знаю, что она исчезла, — сказал Асаф, понимая, что настало время поговорить о деле.

Лея сидела напротив, помешивая кофе.

— И еще я знаю, что она в беде. Я хочу ее найти. Вы мне поможете?

— Хотелось бы, — просто ответила она, — но не могу.

— А, — разочарованно протянул Асаф. — Вот и Теодора не могла.

Воцарилось долгое молчание, какое-то напряжение повисло в воздухе.

Лея с изумлением думала: «Ну и ну, ты и до Теодоры добрался?» Что-то в этом мальчишке цепляло ее. Она не могла сказать, что именно, но что-то точно цепляло. Асаф молчал и думал, что это несправедливо,

ведь кто-то же должен ему сейчас помочь, потому что один он не справится.

— А ты знаешь, я в жизни не встречала эту Теодору. — Лея пожала плечами. — Иногда я даже думала, честное слово, может, она всего-навсего фантазия Тамар? Ну... ты ведь уже знаешь, что у нее случаются фантазии и всякие идеи, верно?

Асаф вспомнил Мацлиаха, представил девочку на бочке и улыбнулся.

— И еще... — Лея чувствовала, что она ступает на очень скользкую дорожку, рассуждая про Тамар с незнакомым мальчишкой, но интуиция подсказывала, что она делает это ради девочки. — Для Тамар ужасно важно, чтобы ее друзья не встретились между собой. Она... с каждым ей надо быть одной, будто только в ее и в его мире.

А у парня вдобавок ко всему еще и обалденная улыбка.

— Когда я ее спрашиваю, почему это так, знаешь, что она мне отвечает? «Разделяй и властвуй!» Что ты про это думаешь?

— Что я думаю? — Асафу вдруг стало необыкновенно приятно, что его считают экспертом по Тамар, словно в своих странствиях по ее следам он накопил немалый опыт и теперь понимает мотивы ее поступков. — Может... может быть, так у нее больше свободы, я имею в виду, что у нее... больше простора, — внезапно выскочило из него любимое словцо Релли.

— Именно! — в полном восторге выкрикнула Лея. — Сдается мне, что она с этим своим «разделяй и властвуй» может с каждым быть совершенно другим человеком, да?

— Ага, я тоже так думаю, — согласился Асаф. — Свобода. Это самое важное для нее...

Он растерянно замолчал. Получается, что Релли не так уж и не права, но как же тогда Носорог...

Лея, подперев голову большой ладонью, задумчиво смотрела на Асафа, точнее, сквозь него, захваченная какой-то мыслью.

— Слушай, ты... как бы это сказать... кроме школы-то ты еще чем-нибудь занимаешься? Искусство там какое?..

— Нет, — рассмеялся Асаф. — Что это вы вдруг?

— Так... подумалось. — Удовлетворенная улыбка скользнула по ее лицу.

Но фотография ведь тоже искусство, опомнился Асаф. Его учитель в студии считает именно так. И на выставку в конце прошлого года взяли пять его работ... Вот только почему-то он никогда не думал о себе как о «художнике». Да и не хочется ему быть художником. Наверное, потому, что Релли вечно корчила из себя творческую личность, а его это всегда раздражало. Ну да, есть, конечно, и Картье-Брессон, и Дайан Арбус, и прочие, но куда ему до них...

Внезапно перед ним возникло нечто извивающееся, исходящее криком. Это вернулся Самир и со вздохом облегчения передал Лее маленькую девочку,

заходившуюся в оре. Он выдернул Ноа из кровати, и всю дорогу она изводила его разгневанными воплями.

Асаф решил, что малышке года два или три. Она была совсем крошечной, с кожей цвета слоновой кости, очень прямыми черными волосами и черными раскосыми глазами. Он перевел взгляд на Лею, потом снова на девочку, пытаюсь отыскать связь между этой большой смуглой женщиной и девочкой с раскосыми глазами, и вдруг все понял. Так просто!

— Лея, — крикнули из кухни, — что там с маринадом?

Лея встала, подхватила девочку, шагнула к двери, помешкала, развернулась и сунула ребенка Асафу. И вот он держит почти невесомое существо, размером в половину его сестренки Муки, и очень симпатичное существо — если, конечно, как следует взглядеться в это яростное мельтешение маленьких кулачков и перекошенное от плача личико. Асаф улыбнулся девочке. Она завопила сильнее. Тогда он показал ей язык — в точности передразнив Динку. Девочка с силой лягнула его в грудь. Тогда он громко гавкнул. И девочка замолчала. Удивленно посмотрела на него, ожидая, что будет дальше. Асаф снова гавкнул и пошевелил ушами. Девочка скосила глаза на Динку. Асаф поднял вверх палец, и она тоже вытянула пальчик. Она еще немного похлопала, но уже улыбаясь. Асаф кивнул, и девочка тоже кивнула, он отрицательно замотал головой, и она следом. Так они и продолжали: без слов, только взгляды, подмигивания, гримасы. Асаф вдруг понял, что страшно соскучился по Муки. Ноа потянулась к его лицу, провела пальчиками по глазам, по распухшему носу, коснулась

синяков. Асаф не двигался, позволяя ей все это, тая от нежности.

Вернулась Лея, он хотел передать ей девочку, но та явно не желала расставаться с ним.

— Гляжу, ты ей понравился, — задумчиво сказала Лея. — Ну а теперь...

Но Ноа не собиралась делить его ни с кем. Она схватила его голову обеими ручками, повернула к себе и возбужденно стала рассказывать про хомячка, который живет у них в яслях, как он порезался стеклом до крови... Асаф повторял ее слова, расшифровывая их одно за другим.

Когда Муки была маленькая и ограничивалась лишь одним слогом от каждого слова, Асаф составил специальный словарь, чтобы воспитательница в яслях могла ее понимать. Лея сидела в сторонке и с потрясенным видом слушала их беседу.

— А сейчас слушай-ка, — сказала она наконец, когда Ноа согласилась расстаться с Асафом и занялась Динкой. — Я хочу тебе кой-чего рассказать.

Асаф немедленно посерьезнел. Глаза Леи сузились.

— Но имей в виду, если ты чего дурного сделаешь ей, я тебя из-под земли достану и задую вот этими руками. Ты меня понял?

Асаф что-то пробормотал в ответ, вспомнив, что и Теодора сказала нечто в таком же духе, но Лея явно собиралась осуществить свою угрозу.

— Может, я и не самая умная баба на свете, — начала Лея с торжественностью записного оратора, — и Господь Бог один ведает, сколько глупостей натворила я

в своей жизни... — Ее пальцы непроизвольно погладили шрамы. — Да и университетов я не то чтобы не кончала, всего-то за пятый класс сдала экстерном. Но немного в людях понимаю, и я тебя вижу уже целый час, и что мне надо знать — уже знаю.

Асаф не понимал, к чему она клонит, но перебивать не стал.

— Вот такие дела, — Лея пристукнула ладонью по столу. — Тамар в кое-что влипла.

Наркотики, с тоской подумал Асаф.

— В кое-что очень гнусное, со всякими сомнительными типами. Я бы даже сказала, с уголовниками.

Асаф молчал. До сих пор ничего из услышанного его не удивило, поразился он лишь одному: что он способен легко и естественно беседовать с совершенно незнакомым человеком, преодолев свой страх и настороженность, чувствуя себя так, как будто невзначай разучил затейливый танец.

— И вот гнались за ней, в точности как за тобой сегодня, — говорила Лея. — Вот предположим, только предположим, что я скажу тебе, где она сейчас прячется, и предположим, что ты туда пошел, — так ведь не успеешь глазом моргнуть, они тебя сцапают. И, как ни старайся, тебе от них не удрать. Эти гады посноровистее тебя будут. Теперь понимаешь, почему я беспокоюсь?

Асаф молчал.

— Вот почему я предлагаю тебе оставить собаку здесь.

— Почему же?

— Я что думаю: они ищут парня с собакой, верно? Если ты пойдешь без собаки, бьюсь об заклад — на тебя никто и не глянет. Знаю я этих придурков.

Асаф молчал.

— Ну, что скажешь?

— Что я беру Динку и продолжаю искать Тamar.

Лея вздохнула, глянув на его помятое лицо.

— Скажи-ка, — пятнадцать лет назад вот примерно так же приставали к ней самой, — скажи мне, ты ничего не боишься?

— Конечно, боюсь, — рассмеялся Асаф. Видела бы она, как он барахтался в пруду и как потом чуть не обмочился, как трясся, пока бежал сюда. — Но я ее найду.

Не понимая, откуда у него такая уверенность, Асаф чувствовал, что говорит сейчас как тот смешной старикан с ружьем — точно герой старомодного вестерна.

— Нет, это факт, — пробормотал он. — Я ее найду...

Лея смотрела на него со странным удовольствием: как он сидит на стуле, слегка подавшись вперед, коленки сдвинуты, разлапистые ступни чуть расставлены, растопыренные пальцы сцеплены в мальчишеском жесте, словно он просит о чем-то. Смущенная улыбка, прятанная в уголках рта, всплыла на поверхность и сразила Лею.

— Да... — прошептала она с непривычной для себя слабостью, будто отвечала на его мысли.

— Я столько уже бегаю за ней, что почти знаю ее, — прошептал Асаф и подивился своей откровенности.

— Вот и мне так чудится, — тихо ответила Лея.

— Что? — встрепенулся он, изумленный этим сомнамбулическим разговором.

— Пошли. — Она решительно встала. — Пошли, чуток прогуляемся.

— Куда?

— Увидишь. — И уже на ходу, самой себе: — Мы, девочки, должны помогать друг дружке.

Лея отдала распоряжения повару, приготовила для малышки бутылочку с водой, написала какую-то записку и сунула ее в конверт. Асаф ни о чем не спрашивал. Когда они вышли на улицу, он быстро огляделся — направо, налево. Улочка была безлюдна. Асаф заметил, что Лея тоже озирается, да и Динка настороженно вертела головой. На автостоянке Лея представила его старенькому желтому автомобильчику и пристегнула Нойку к ультрасовременному детскому сиденью, стоившему на вид не меньше самого автомобиля. Какое-то время они крутились по узким улочкам старого города, иногда Лея останавливалась и долго выжидала. Однажды она резко затормозила, когда улица выглядела совершенно пустой, завернула на маленькую стоянку и выключила мотор. Несколько минут спустя мимо прошли два типа, одного из них Асаф узнал — тот самый тощий Элвис, что гнался за ним. Он изумленно посмотрел на Лею. Как это она вычислила их?

— Рыбак рыбака видит издалека, — усмехнулась Лея, трогая машину.

Они еще долго уютжили улицы, то останавливаясь, то двигаясь дальше — следуя ее чутью. Асаф обратил

внимание, что Лея больше смотрит в зеркальце, чем на дорогу.

— Слышь, — сказала она чуть погодя, — не обижайся, но я хочу, чтоб ты закрыл глаза. Лучше чтоб ты не видел, где мы едем.

Асаф все понял и зажмурился.

— Если они даже, боже упаси, тебя поймают, чтоб ты им не мог показать дорогу.

— Если нужно, я могу завязать.

— Нет, — рассмеялась Лея. — Я тебе верю.

Ему даже понравилось ехать с зажмуренными глазами: покачиваться в темноте, успокаиваясь после утренней погони, перед тем, что ждет его впереди. Ноа на заднем сиденье мирно посапывала, и Асаф подумал, что и он не прочь малость вздремнуть.

— Включить музыку?

— Нет.

— А историю хочешь послушать? Не открывай глаза!

— Да.

И Лея рассказала ему про свой ресторан и про те тяжкие годы во Франции, когда она обучалась поварскому искусству. Несколькими намеками она даже обозначила прежнюю свою жизнь и покосилась на Асафа, проверяя, не напугала ли мальчишку. Не напугала. Лея глубоко вздохнула, потянулась, не отпуская руля, и продолжала тихо рассказывать. Она так разговаривала лишь с Тамар — не пытаясь бороться с внезапно накатившим желанием выговориться. На какой-то миг Лее даже захотелось рассказать про Шая, но она вовремя

опомнилась — и так слишком много наговорила, теперь достанется от Тamar, пусть уж парень сам все выяснит. Время от времени она поглядывала на Асафа. Вот странно, а ведь она в точности знает, как этот мальчик будет выглядеть через десять лет, и через двадцать, и через тридцать. Иногда Лее казалось, что он заснул, и тогда она замолкала, но он издавал легкое мычание, и она снова продолжала рассказывать. Про Нойку, что малышка — самый большой подарок, который она получила от жизни, и что этим подарком она во многом обязана Тamar, убедившей ее решиться на этот шаг.

Тут Лея внезапно рассмеялась:

— Не знаю, чего это я разболталась. Ты, верно, думаешь, что я каждому встречному выкладываю все о себе?

— Ага. Расскажите еще!

Дорога убегала назад. Ноа тихонько вздыхала во сне. Лея продолжала говорить. И вдруг замолчала. Даже не открывая глаз, Асаф ощутил ее напряжение. Теперь машина медленно тряслась на ухабах. Сквозь сомкнутые веки пробивался рыжий свет предвечернего солнца.

Машина остановилась.

— Если б ты меня спросил, — вдруг произнесла Лея совсем другим голосом, — я бы тебе сказала.

— Что?

— Что здесь я высадила Тamar. Позавчера.

Асаф резко открыл глаза и увидел, что они стоят у пустой автобусной остановки. Рядом на электрическом столбе раскачивался кусок картона с надписью «На свадьбу Сиги и Моти» и стрелкой, указывающей в небо.

Лея подняла на лоб солнцезащитные очки, огляделась, внимательно посмотрела в зеркальце. Захныкала проснувшаяся Ноа, но, увидев Асафа, заулыбалась. Он провел по ее щеке, она схватила его за палец и позвала по имени.

Асаф осторожно отнял руку и вылез из машины. Динка, всю дорогу крепко спавшая, выпрыгнула следом и отряхнулась. Лея протянула Асафу конверт:

— Вот, передай Тамар. Объяснительная записка, чтоб она меня не возненавидела. И береги себя! — Она послала ему воздушный поцелуй. — Счастливо, Асаф, береги ее!

Желтый автомобильчик развернулся и быстро скрылся из виду.

Асаф спустился с шоссе, спрятался за огромным валуном и подождал несколько минут, прислушиваясь и пытаясь уловить звук мотора. Тишина — ни гула двигателя, ни шагов. Теперь он был один, никто его больше не преследовал, тем не менее на душе было тревожно. Помимо прочего, он не знал, где находится.

Асаф начал спускаться по тропинке, вьющейся между камней. Динка то и дело останавливалась и принюхивалась, Асаф поминутно подгонял ее. Возле скрюченного дуба он опустился на колени и прошептал собаке на ухо:

— Нам нужно подойти потихоньку. Не надо лаять, хорошо? Ни звука, пока мы не увидим, что там происходит. Обещаешь?

Они продолжили спуск. Долина оказалась гораздо глубже, чем выглядела сверху. Вскоре они добрались до узкой расщелины, преодолели подъем, спустились,

очутились перед новой горкой. И тут слышались голоса.

Асаф не понимал, откуда они доносятся, эти голоса, звуки борьбы, крики и стоны. Какой-то парень, возможно даже мальчишка, истерично кричал:

— Это не поможет! Ты меня здесь не удержишь! Я тебе не заложник!

В ответ — умоляющий девичий голос.

Динка рванулась из рук Асафа, и только у вершины пыльного бугра ему удалось нагнать ее и навалиться на нее всем телом. Оба задыхались. Асаф умоляюще зашептал:

— Тише! Тише, Динка, рано еще...

Он не знал, что теперь делать, и, наверное, от испуга и неуверенности стянул с себя ремень, одним концом пристегнул его к Динкиному ошейнику, а другой обвязал вокруг тонкого деревца. Собака так обиженно посмотрела на него, что он с трудом преодолел желание тут же отвязать ее. Потом Асаф бесшумно заполз на вершину холма. Внизу, за раскидистым невысоким деревом, он увидел какое-то темное пятно, почему-то напомнившее ему раззявленный рот, приглядевшись, Асаф понял, что это вход в пещеру. У провала стоял молодой парень, он был весь мокрый от пота, тяжело дышал, и руки у него сильно тряслись. Парень был высоким, очень худым и едва держался на ногах. Мгновение спустя Асаф разглядел вторую фигуру — распростершуюся в пыли, у ног парня. Это был совсем юный мальчишка с очень коротким ежиком волос. Асаф недоуменно таращился на странную пару. Что это за ребята? И где Тamar? Но тут тощий парень увидел Асафа,

лицо его исказилось от страха, и он кинулся прочь. Ничего не понимая, Асаф припустил следом. Погоня продолжалась считанные секунды. Парень бежал медленно, но всякий раз, когда Асаф почти дотягивался до него, страх бросал беглеца еще на несколько шагов вперед вверх по склону. У зарослей кустарника Асаф повалил его и заломил руку за спину — примерно так, как с ним самим поступали в последние дни. Парень плакал в голос, умоляя не убивать его. Асаф был как в тумане, происходило что-то странное и бессмысленное. Ну разве может вот такой до смерти перепуганный, такой слабый чувак быть из тех, кто преследует Тamar? Парень попытался дернуться. Асаф прижал его к земле и крикнул, чтобы тот не двигался, и тут услышал торопливые шаги. Он повернулся, увидел, как что-то опускается на него сверху, и небо разламывается пополам, и рассыпается. Мгновение спустя его пронзила боль. А потом все исчезло.

# Словно ты, когда крылья расправишь...

*Словно ты,  
когда крылья  
расправишь...*

— Не двигайся! Шевельнешься — и...

И все же Асафу позарез надо было шевельнуться. Он боялся, что если останется лежать, то все его мозги вытекут через ухо. Боль, пульсировавшая в голове после утренней драки у озера и начавшая было утихать, разыгралась по новой. Она скакала в черепной коробке, словно приветствуя появление новой боли.

— Кто ты такой? — закричала Тamar. — Чего тебе надо?

Асаф смотрел на нее, стараясь сфокусировать взгляд, но ежик волос отказывался соединяться с голосом, который он слышал. В тумане, заполнявшем его несчастную голову, тускло блеснула мысль: «Это девчонка, а не парень. Кто она?» И тут же еще один пронзительный укол: это она! Но где ее волосы? Где черная грива, о которой он слышал?

Из-за вершины холма донесся лай. Тamar, сосредоточенная на Асафе, ничего не услышала. Он хотел сказать ей, что это Динка, но прежде надо было попытаться сесть. Асаф приподнялся, и Тamar тут же замахнулась здоровенной палкой. Подняв взгляд

(глазные яблоки отозвались адской болью), Асаф увидел целый ряд ржавых гвоздей, торчавших из дубины, и понадеялся, что ему врезали не этими гвоздями. Он пощупал голову чуть выше уха. Крови не было, только еще одна большая раскаленная шишка — для коллекции. Тощий парень сидел с закрытыми глазами неподалеку от него, привалившись к скале.

— Ты кто? — От напряжения и страха голос ее звучал сдавленно. — Чего тебе надо?

До Асафа наконец дошло: она думает, что он — из тех, кто ее преследует. Нужно объяснить. Он снова попытался приподняться.

— Только встань!

Асаф не знал, что делать. Она металась прямо перед ним, с этой своей дубиной, то подскакивала вплотную, то отскакивала на пару шагов, до смерти напуганная, взбешенная и до жути опасная. Асаф смотрел на нее и думал, что вот такая, почти лысая, с перекошенным от злобы лицом, с дубиной в руке, в перепачканном рваном комбинезоне, — даже такая она гораздо красивее, чем он думал или, по крайней мере, чем она писала о себе в дневнике. Он сидел и смотрел на нее, стараясь подогнать ее внешность к тому, что о ней узнал, и к тому, что себе нафантазировал. Надо признать, она изрядно отличалась и от того, и от другого. Вот, например, глаза... Теодора сказала, что у нее очень открытый, даже вызывающий взгляд, но ничего не сказала о поразительном цвете этих глаз — синева, отдающая сталью. Однажды он сфотографировал похожий цвет — осенний туман над горой Скопус на восходе. И еще Теодора ничего не говорила о том, как

широко расставлены эти небесно-стальные глаза, словно между ними этот самый...простор.

Ему надо было так много сказать ей, а он сидит как глухонемой. И вовсе не потому, что боится, а просто у него всегда так с девчонками. Со всеми. А уж если рядом девчонка, которая ему нравится, то его точно клинит, он буквально видит, как стремительно скатывается вниз по эволюционной лестнице.

Тощий парень по-прежнему раскачивался вперед и назад, не открывая глаз, и оба они казались ее пленниками. И чем дольше длилось молчание, тем сильнее Асаф злился на себя. У него ведь была надежда, что если доберется до нее в конце концов, то не будет сидеть таким вот бессловесным овощем, он даже с Леей разговаривал как нормальный человек, а тут... Что же получается? А то получается, что он самое настоящее трусливое убоище, не способное рта раскрыть.

Вдруг тощий парень неуверенно спросил:

— Это не Динка?

— Динка? — Тамар вздрогнула, услышав наконец лай.

— Я ее привел к тебе, — промямлил Асаф.

— Тьее привел? Но как... откуда?

— Неважно. Я должен был привести к тебе ее, вот и привел.

Он сунул руку в карман рубашки, нащупал там бумажку, бланк № 76, на котором нельзя было разобрать уже ни слова.

— Неважно, — пробормотал он, смял листок, скатал его в шарик и затолкал поглубже в карман.

На сто пятьдесят шекелей больше, на сто пятьдесят меньше... Телевик ему в этом году все равно не светит.

Не сводя глаз с Асафа, Тамар быстро попятилась вверх по склону. Она закричала: «Динка!» — и собака бросилась к ней, порвав ремешок. Там, где они встретились, поднялось облако пыли. Из облака неслись вскрики изумления, возбужденный лай и всхлипывания. Асаф смотрел на клубы пыли и улыбался — вопреки боли.

Он тяжело поднялся и постоял, приходя в себя, проникаясь сознанием, что вот сейчас он просто уйдет, вернется домой и всю оставшуюся жизнь будет ненавидеть себя за трусость и недотепистость. Но изменить он ничего не мог. Вот будь на его месте Рои, он бы уже давно разливался соловьем, обольщая ее рассказами о своих приключениях и подвигах, а главное — смешил. Да она бы у него каталась от смеха!

Как только Асаф двинулся с места, Тамар тут же оторвалась от Динки и вскинула свое оружие. Асаф сделал два шага вперед, пожал плечами, показал, что в руках у него ничего нет, — пусть только даст ему пройти, и он уберется восвояси. Его миссия здесь закончена, а завтра предстоит еще один рабочий день в мэрии. Тамар с удивлением смотрела на него, потому что весь этот внутренний спор был написан у Асафа на физиономии. Она наблюдала за гримасами страдания, пробежавшими по лицу этого парня, и терялась в догадках. Кто он? Откуда взялся? На какой-то миг ей даже показалось, что он не очень опасен, но когда он сделал еще шаг в ее сторону, опомнилась и заорала:

— Динка, фас!

Асаф в изумлении уставился на нее. Он, конечно, не мог знать, что девять лет назад отец Тамар согласился купить ей собаку только при условии, что та пройдет курс спецобучения, дабы уметь защитить Тамар в случае необходимости. И вот девять лет спустя Тамар внезапно вспомнила об умениях Динки.

Динка приподняла уши, но с места не двинулась.

— Фас, Динка, фас! — в отчаянии кричала Тамар, невольно подражая южноамериканскому акценту дрессировщика.

Динка сделала несколько шагов, подошла к Асафу, потерлась головой о колено и ткнулась носом в ладонь. Тамар стояла как громом пораженная. Динка никогда не вела себя так ни с кем посторонним.

Асаф сказал:

— Она бегала по городу, ее нашли, привели в мэрию, а я там работаю на каникулах...

— В мэрии?

— Да, мой папа там знаком с... неважно. Ну вот я с ней немного покрутился... мы тебя искали.

Тамар посмотрела на Динку, словно требуя подтверждения. Динка глянула направо, глянула налево, облизнулась, а потом легко встала на задние лапы и положила передние Асафу на грудь.

Тамар выпустила из рук палку.

— А когда ты крутился по городу, тебе как следует врезали, — сказала она.

Асаф пробежался пальцами по экспозиции своих ушибов.

— Обычно я так не выгляжу, — смущенно пробормотал он.

— Обычно я не бью людей.

Асаф молчал, переминаясь с ноги на ногу. Почесал одной ногой другую, повыше лодыжки.

— А, тебе передавали привет, — вдруг вспомнил он. — Теодора и торговец пиццей. И еще Мацлиах. И Лея. И Нойка... да, и какой-то Моше Хонигман.

С каждым именем глаза Тamar делались все больше.

— И еще из брошенной деревни, от парня... Сергея, и от одного сыщика, который однажды тебя чуть не схватил. И еще от одной девчонки, она играет на виолончели на Бен-Иегуде, в красной шляпке.

Тамар шагнула вперед. Асаф подумал, что у нее тоскливые глаза загнанной волчицы.

— Ты всех их встречал?

Он смущенно погладил Динку:

— Она водила меня.

В стороне все покачивался и что-то мычал Шай. Они его не видели. Весь мир для каждого сосредоточился в глазах напротив. Тамар приблизилась к Асафу, она вглядывалась в него, забыв обо всем на свете, — словно надеялась вытянуть что-то из его глаз, из лица, из большой, немного нескладной фигуры. Асаф не двигался. Раньше столь пристальный взгляд заставил бы его ежиться от смущения. Но сейчас он чувствовал только легкую слабость в ногах.

— Меня зовут Тamar.

— Я знаю.

Секунду спустя он вспомнил:

— А меня — Асаф.

Минутное замешательство. Что делать? Обменяться рукопожатием? Слишком официально. Их отношения давно уже переросли официальное рукопожатие.

Тамар опомнилась первой:

— А это — мой брат Шай.

— Твой брат?

— Брат. А что? Ты не знал?

— Просто я все время думал, что он... то есть что вы с ним... но я вообще не знал...

Она сообразила:

— Ты думал, что он мой друг?

Асаф хмыкнул, покраснел, пожал плечами. В мозгу его одна шестеренка закружилась быстрее прочих, щебеча что-то вроде «Ну тогда, значит, а?». И вообще внутри Асафа творилось что-то неладное — будто все там сбилось с единого ритма. Будто туда вломился новый квартирант и с ходу принялся хозяйничать: сдвигать тяжеленные столы, выбрасывать старые заплесневелые шкафы, втаскивать невесомую, воздушную мебель, ну что-то типа бамбуковой. Асаф почувствовал, что обязан прямо сейчас, немедленно объяснить нечто очень важное, что стояло между ними. Он скинул рюкзак и протянул Тamar. Она выхватила рюкзак из его рук, прижала к груди, уставилась на Асафа взглядом, полным изумления и подозрения.

— Даже это?..

Он напрягся, собираясь нанести ей удар.

— Слушай, э-э... я тут у тебя почитал. В тетрадках то есть. У меня не было выбора.

— Ты читал *дневник*?! — Она отпрянула.

Лицо Асафа перекопилось от боли.

— Мой *дневник*?! — Ее глаза потемнели от возмущения, знамя войны за независимость стремительно взлетело вверх.

Асаф понял, что потерял ее, не успев найти. Но возмущение в глазах сменилось горечью и разочарованием. Она смотрела на него, ожидая объяснения.

— Я только немножко почитал, — промямлил Асаф. — Так, несколько страничек... там-сям. Я думал, что, может, узнаю... понимаешь? Что мне удастся тебя найти...

Тамар молчала. Слегка округлила в задумчивости губы. Поразительно, что он ей в этом признался, прямо так сразу и выложил, не успели они сказать друг другу и двух слов. Ведь мог бы и смолчать, и она никогда бы не узнала. А он... как будто хотел поскорее избавиться от тяжелого груза, как будто не хотел, чтобы между ними была ложь.

— Значит, почитал, — медленно повторила Тамар, отворачиваясь.

Она старалась разобраться в своих чувствах.

Он прочел ее тайный *дневник*. Ничего страшнее в жизни и быть не может. Теперь он про нее знает все.

Знает ее так же, как она сама. Она искоса глянула на Асафа. Не похоже, что она ему противна. Тамар растерянно моргнула. Странно все это.

Асаф неправильно истолковал ее молчание:

— Да я уже даже забыл все.

Тамар кольнуло разочарование.

— Нет-нет, не забывай! — быстро сказала она, изумив Асафа, а еще больше — себя саму. — То, что ты там прочел, это я. Какая есть. И теперь ты меня знаешь.

— Не совсем, — возразил он.

Вообще-то он собирался сказать: «Я как раз хотел бы узнать тебя лучше», но длинные фразы ему категорически не давались, застревая где-то в горле.

— И что теперь? — спросила Тамар.

Ее смущала его массивность, да и близость его тоже смущала — они все еще стояли слишком вплотную друг к другу, слишком лицом к лицу.

— Что теперь будем делать?

Она вдруг пожалела о своих густых волосах. За ними она по крайней мере могла бы спрятаться и не чувствовать себя такой голой. И что это за чушь она несет? Что еще за «будем делать»? Какое ей до него дело? Она хотела отойти, но почему-то осталась на месте.

— Что ты решишь.

— Что? — удивилась она. — Что?

Исходивший от его тела жар был ей куда более понятен, чем его неуклюжие слова. Он молчал. И чего он молчит? Тамар обхватила себя руками, будто вдруг ей

стало холодно, склонила голову набок и улыбнулась — как давным-давно не улыбалась. И чему она улыбается? Она посмотрела на его левое ухо, потом на его правый ботинок. Облизала пересохшую нижнюю губу. Слегка пожала плечами, без всякой причины передернула лопатками, потерла предплечья. Тamar чувствовала, что уже не властна над своим телом — оно дергалось и двигалось, точно вершило некий древний ритуал, сложившийся миллионы лет назад, и Тamar всеми этими подергиваниями совершенно не управляла.

— Все, что я решу? — улыбнулась она.

Кто-то внутри нее сделал резкий вираж. Асаф тоже улыбнулся. Пожал плечами, вскинул руки и потянулся. Его тело внезапно затекло. Потопал ногами. Провел рукой по растрепанным волосам. Спина... Почему-то жутко зачесалась спина, точно между лопатками, там, куда самому ни за что не добраться.

Ее улыбка сделалась шире:

— Но ведь ты сказал, что пришел отдать мне Динку. Ну вот и отдал. Что теперь?

Асаф с интересом посмотрел на носки своих ботинок. Странно, что он никогда не замечал, какой они любопытной формы, и черная кожа так захватывающе сочетается с белыми носками. Через секунду башмаки уже казались ему глупыми и уродскими, а главное — непомерно гигантскими: как это возможно, что он почти год разгуливает в таких чудовищах? Не приходится удивляться, что над ними все потешаются. И ничего странного в том, что Дафи его стыдится. И вот теперь его судьба зависит от этих гнусных уродливых башмаков — успела ли Тamar их разглядеть или нет? Осторожно, но проворно Асаф спрятал одну ногу за другую и чуть не

упал. Только этого еще не хватало — брякнуться тут перед ней. Что же делать, черт возьми? Лицо его вспыхнуло. Кто знает, сколько прыщей у него выскакивает прямо в эту минуту! А чесотка в спине просто сводит с ума. Да что с ним творится?

Асаф расправил плечи, еще раз вытянул руки, прижал их к груди, словно набираясь сил от самого себя, и выпалил слова, которых не ждал от себя:

— Если хочешь... я, того... может, ты хочешь, чтобы я остался?

— Да, да.

И Тамар испуганно умолкла. И откуда только выскочило это двойное «да»? Она что — хочет этого? И когда у нее успело созреть такое желание? Что ей до него? Она вообще с ним не знакома. Как она может посвятить его в свою тайну, в дело, важнее которого у нее ничего нет?

— Пстой, — она рассмеялась с усилием, став вдруг взрослее его на сотню лет, — ты вообще-то понял, во что влезаешь?

Асаф замялся. Ну да, он догадывается, что она от кого-то скрывается, и Шай... э-э... не в самом лучшем виде...

— Он уже почти год сидит на героине, — отрезала Тамар и испытала облегчение от того, как переменилось его лицо. — И я с ним здесь два дня. Сейчас у него хороший момент, но всего за минуту до твоего прихода у нас тут...

— Да, — сказал Асаф. — Я слышал. А почему он так?

— У него ломка. Ты знаешь, что такое ломка?

Асаф понимающе кивнул. Еще одна, не менее захватывающая новость: наркотики, выходит, она покупала не для себя.

— Ну вот, значит, на эту ночь, завтрашний день и следующую ночь придется самый пик, — сухо сказала Тамар, следя за его реакцией. — Самый пик ломок. Так мне, во всяком случае, сказали несколько, хм... специалистов.

— Лея?

— А? — От изумления скорлупа официальности треснула, и ее голос прозвучал беззащитно: — Да, и Лея тоже.

Молчание. Она пристально вглядывалась в него, смутно догадываясь, что этот парень преподнесет еще немало самых неожиданных сюрпризов. Но сейчас не до гипотетических сюрпризов, пора возвращаться на землю, выжженную фактами.

— Обычно у людей, в таком состоянии, как он, ломки длятся четыре-пять дней. Два с половиной уже позади. Так что подумай, действительно ли ты хочешь остаться, а то ведь это... нелегко. — Она смешалась и спросила с горечью: — А зачем тебе все это?..

— Что... да нет, это ничего. Скажи, а...

— Да?

Тамар уже отвернулась — чтобы обнять Шая, тянувшего к ней руки, точно испуганный младенец, но еще и для того, чтобы дать Асафу возможность исчезнуть — после того, как он все узнал, но прежде, чем почувствовал себя обязанным. Но Асаф уже стоял рядом.

— А почему... почему он в таком состоянии? У него нет здесь наркотиков?

— Он старается вылечиться. Мы... — она не знала, как об этом сказать, — мы вместе стараемся, чтобы он вылез.

Шай вскрикнул. Острая боль искорежила все его тело, и дремотное состояние немедленно сменилось судорогами и отчаянными стонами. Тамар взглянула на Асафа. Ее глаза спросили: «Ты остаешься?» И его глаза ответили: «Да».

— Отведем его в пещеру? — предложила она.

Асафу еще о многом хотелось спросить, да и немало он хотел рассказать, например о Теодоре, положившей конец своему затворничеству. Но сейчас от него требовались действия, а не разговоры. Он подхватил Шая под руку и помог ему встать, подивившись легкости тела, которое он держал: Шай показался ему пустым внутри. Цепкие пальцы утопающего впились в плечи Асафа. Как странно, они с Шаем не перекинулись еще и словом, а их уже не расцепить, подумал Асаф.

Эта мысль не раз возникала у него той ночью, пока не превратилась в обыденность. Шай кричал, стонал и плакал, он заблевал все вокруг. Он ожесточенно, до крови расчесывал себя. Примерно раз в минуту его лицо растягивалось в болезненном, вывихивающем челюсти зевке. На краткий миг он забывался обессиленным сном, но очередная судорога едва не подбрасывала его в воздух. Асаф и Тамар не оставляли Шая ни на мгновение: вытирали, обмывали, переодевали, поили, чистили. Асаф не заметил, как село солнце, как опустилась ночь. Время состояло не из минут, а из действий. Тишину пещеры нарушали лишь звуки, которые издавал Шай. Тамар и

Асаф почти не разговаривали между собой. Они быстро выработали язык мимики и жестов — вроде медиков в операционной или аквалангистов под водой. Асаф выкинул из головы все мысли о мире, оставшемся за пределами пещеры. Никакого мира не было. Не было близких людей, не было Носорога, который может поднять на ноги полицию и броситься на его поиски, и не было преследователей Тамар. Иногда вспоминая, что Тамар провела с Шаем двое суток, Асаф поражался: как она это вынесла? Наверняка ведь глаз не сомкнула. И ни словечка жалобы!

Тамар перегнулась к нему поверх Шая, Асаф протянул ей полотенце, а она отдала ему пустую бутылку и глазами показала, чтобы он принес полную. Ее губы изваяли в воздухе слова «туалетная бумага», и Асаф подумал, какие у нее красивые, будто нарисованные, губы. Он прошел в дальний угол пещеры и принес два рулона. Тамар уже стащила с Шая брюки. Асаф принял из ее рук загаженную бумагу. На Шае были боксерские трусы с изображением Снупи, они одновременно уставились на игривую собачью морду, потом переглянулись: надо же, миляга Снупи посреди всего этого ужаса.

Час за часом. Три часа, пять. Восемь. В те считанные минуты, когда Шай спал, они не разговаривали. От усталости, а еще потому, что светская беседа двух незнакомцев прозвучала бы под сводами этой пещеры по меньшей мере странно. Они просто падали на соседний матрас, вытягивались поперек него и глубоко дышали, уставившись в потолок, в стены пещеры, безуспешно пытаясь хоть немного вздремнуть.

Следили за тем, чтобы не дотронуться друг до друга. Каждый чувствовал, что присутствие второго подпитывает новыми силами, новым возбуждением, которое, кроме всего прочего, мешает заснуть. Иногда Тамар посылала Асафу чуть жалобную, чуть сочувствующую улыбку. Зачем тебе все это надо, говорила ее улыбка, а Асаф отвечал самой лучшей своей, самой доверчивой улыбкой. Но Тамар видела, что сил у Асафа все меньше — не физических, в этом смысле он казался ей удивительно износостойким, а душевных: без всякой подготовки он окунулся в эту историю, в мучения Шая.

В два часа ночи Шай проснулся и принялся с остервенением искать героин. Он был уверен, что у Тамар припрятана где-то еще одна доза, снова и снова допытывался, сколько именно «белого» купила она у дилера на Сионской площади. Пять, верно? Так где же пятый дозьяк? Четырьмя он уже закинулся, а пятый где?

Объяснения не помогали. Тамар уже тысячу раз повторила, что Шай использовал все пять, когда они прятались у Леи. Он метался из угла в угол точно дикий зверь, переворошил вещи, залез внутрь гитары, которую Тамар принесла из дома, вытащил даже стельки из башмаков. Он заставил Тамар и Асафа разуться и обшарил их обувь тоже. Шаю удалось добраться и до тайника с электрошокером и наручниками, и он долго сидел, разглядывая находку. Тамар испугалась, что теперь он ее убьет — после того, как узнал, что она для него уготовила. Но сознание Шая работало иначе, чем у здоровых людей: его мир делился только на две части — на героин и на негероин. Наручники его не заинтересовали. А вот шокер внимание привлек, поскольку оказался вещью неведомой, и мозг Шая

какое-то время трудился, обдумывая, нельзя ли обратить эту штуку в кайф.

Зато Асаф, увидев наручники с шокером, ошеломленно оглянулся на Тamar. Она пожала плечами: что ей оставалось делать? И Асаф начал осознавать, сколь далеко зашла в своей решимости Тamar.

Сообразив наконец, что шокер к героину не имеет никакого отношения, Шай в отчаянии повалился на матрас и принялся драть поролон. Время от времени он радостно вскрикивал, но тут же в разочаровании колотил по матрасу тощими кулаками.

Асаф и Тamar молча смотрели на него.

Асаф думал: «Ему вообще дела нет до того, что я тут, ему и на сестру плевать. Его интересует только одно». А Тamar думала: «Интересно, сколько продержится Асаф в этом дурдоме? Когда он сломается и молча исчезнет?»

Иногда она чувствовала спиной, как Асаф направляется к выходу из пещеры, и тогда испуганно оглядывалась. Асаф застывал в проеме, потягивался всем телом, вдыхал прохладный ночной воздух. Тamar заставляла себя не смотреть, дать ему возможность сделать еще один шаг и исчезнуть. Зачем ему все это нужно, думала она. С чего бы нормальному человеку себя в такое втягивать? Даже близкие люди сбегали от нее, и в куда менее экстремальных ситуациях. И тут же ее окатывало теплой волной, когда она слышала его тихое сопение за спиной, когда он забирал у нее канистру с водой или грязную одежду.

Шай, с трудом подтягиваясь на руках, дополз до угла пещеры. Принялся ковырять ногтями окаменевшую землю. Несколько минут в пещере раздавались скребущиеся звуки и тяжелое дыхание.

Они не могли отвести от него глаз, это было каким-то кошмаром наяву. Шай копал быстро, отбрасывая комья земли, из его рта вырывалось странное рычание. И вдруг он поднял голову, оглянулся на них с хитрой, абсолютно осмысленной улыбкой:

— Может, хотя бы подскажите, горячо или холодно?

И все трое заливисто захохотали, словно детишки в летнем лагере. Шай тоже смеялся, на миг оказавшись способным увидеть себя со стороны. Тamar упала на спину, обессиленная напряжением последних дней, раскинула руки и хохотала до слез, глядя на Асафа и думая, какой у него обаятельный мужской смех.

А потом вернулась боль. Шай жаловался, что все кости у него словно жерновами перемалывают. Он чувствовал, как они дробятся и рассыпаются. Затем боль перекинулась на мышцы — они разрывались, растягивались, сжимались, извивались внутри тела. Он и не знал, что у него есть мышцы в таких неожиданных местах — за ушами, например, или в деснах. И Тamar, еще по прошлой, домашней жизни помнившая, как Шай умеет расписать самое легкое покалывание в животе — с такой капризно-слезливой дотошностью, преодолела отвращение, которое вызывало в ней описание, но не сама боль.

Тamar постаралась отвлечь его внимание, рассказала про диафрагму, которая тоже что-то вроде мышцы, ее никто никогда не чувствует, но петь без нее невозможно. Она изобразила Алину, как та командует:

«Держать! Держать от диафрагмы!» Она устроила целое представление, изображая Алину после того, как та узнает, что ее любимая ученица развлекала пением уличную толпу: «Правда? И это им нравилось? Весьма интересно... Но как ты могла петь так высоко после Курта Вайля? У меня ты никогда ничего не можешь, у меня после Курта Вайля тебе вечно требуется антракт...»

Шай не смеялся. А вот Асаф смеялся до слез. Тамар поняла, что вопреки серьезной, если не сказать угрюмой, наружности, он очень смешлив. Ей нравилось веселить его. Идан никогда не смеялся ее шуткам, быть может, он даже считал, что у нее нет чувства юмора.

Асаф в свою очередь тоже кое-что обнаружил — ту самую ямочку у нее на щеке, о которой рассказывала Теодора. Интересно, что делала Тамар последний месяц? Он гадал, услышит ли когда-нибудь, как она поет, и решил для себя, что отныне будет следить за всеми газетными объявлениями о концертах, и если обнаружит ее имя... Но мыльный пузырь иллюзии тут же лопнул: хватит мечтать и парить в облаках, он ведь даже ее фамилии не знает!

Однако времени предаваться унынию не было, потому что Шай начал бредить про какого-то червяка, которого он называл Дуда. Этот Дуда изнутри высасывал его, ползая по всему телу. Шай чувствовал его извивы, каждое движение червяка отдавалось резкой болью. Шаю чудилось, что, изъеденный червем, он распадается на части, на мышечные ткани, на клетки. Ноги его расползлись в стороны и подергивались, затем их примеру последовали и руки. Асаф смотрел, не веря своим глазам: тощее длинное тело действительно словно разрывалось на части.

Тамар навалилась сверху на брата, прижала руки к туловищу. Асаф увидел, как напряглись мускулы на ее маленьких руках, и сердце его, как и предсказывала Теодора, забило крылами. Тамар, захлебываясь, говорила и говорила — рассказывала Шаю, как она его любит, как вытащит его, что осталось совсем немного, день или два, и все останется позади, и начнется новая жизнь. И Шай вдруг обмяк и заснул.

Тамар откатилась в сторону. В ней не оставалось ни капли сил. Под мышками темнела влага, весь комбинезон испачкан следами рвоты и мочи Шая. Асаф чувствовал запах Тамар и знал, что и она чувствует его запах. Она лежала и смотрела на Асафа своими слишком всевидящими глазами, своим слишком распахнутым взглядом. У Тамар было ощущение, что она голая, но ей было все равно, да и сил, чтобы понять, что с ней такое творится, не осталось. Поначалу ее смущало, что Асаф видит Шая голым: во-первых, из-за самого Шая, а во-вторых, она сама словно оголилась, когда оголилось тело ее брата, — они ведь сделаны из одного материала. Но вскоре ее стыдливость бесследно испарилась.

Ей хотелось спать. Сквозь полудрему она услышала, как Асаф встал и тихонько подошел к выходу. Она проверила себя, обнаружила, что прежнего страха нет, подумала, что, вероятно, они все-таки перешли вместе через какую-то черту. Асаф вышел из пещеры. Его фигура растворилась в темноте. Динка вскочила, посмотрела ему вслед, села. Прошла минута, другая. Тамар, храбрясь, думала, что это даже очень хорошо, пускай немножко проветрится, разомнет ноги, прогуляется. А может, ему просто понадобилось по нужде. Прошла еще минута. Шагов снаружи не доносилось. Тамар сказала себе, что она навсегда

сохранит к нему благодарность за то, что он уже сделал для нее и Шая, даже если сейчас он не вернется. С удивлением она поняла, что не знает его фамилии.

Динкин хвост заелозил по полу, поднимая пыль. Фигура Асафа снова соткалась из темноты. Динка улеглась, а к Тамар вернулось дыхание. Асаф подошел и очень осторожно лег рядом, поперек матраса, не касаясь ее. Она наслаждалась звуками его мерного дыхания, эти вдохи и выдохи почему-то делали ее счастливой. Тамар подумала, что это очень странный способ знакомиться и сближаться. Ведь именно это с нами происходит, сказала она себе, мы ведь немножко как бы начинаем дружить, делаемся ближе — непонятно, как именно, почти не разговаривая, не рассказывая о себе. Сейчас, когда он вот так близко, ей даже занятно думать о том, что она про него совсем ничего не знает: где он живет, например, где учится, есть ли у него друзья или подружка. Все эти его биографические данные ей неведомы, и тем не менее она чувствует: что-то она уже про него знает — определенно и твердо, и этого ей сейчас вполне достаточно.

Но случались минуты, когда это соединение несоединимого делалось ей неприятным, и осознание, что с ней творится нечто новое — в то самое время, которое она обязана без остатка посвятить Шаю, — трансформировалось в едкую боль. Тамар слишком устала, чтобы сформулировать для себя, в чем, собственно, состоит проблема. В другой раз она наверняка поспешила бы отточить острую, как скальпель, формулировку, но сейчас у нее не было для этого ни сил, ни желания. Она лишь знала в душе, что

есть тут некий диссонанс: словно Шай оказался посредником в этой новой связи.

Ну вот, ей все-таки удалось это сформулировать. Тамар испугалась, резко села, взгляделась в темное нутро пещеры, оглянулась на тусклый огонек неоновой лампы, обнаружила, что Шай и Динка спят, а Асаф смотрит на нее. Снова легла. Острее всего колола мысль, что Шай даже не осознает происходящего в двух шагах от него. Или, может, все вообще существует только в ее воображении? Может, это очередные ее фантазии и Асаф ничего такого в голове не держит? Просто хороший парень, почему-то решивший ей помочь? Она пошевелилась, ее рука коснулась его груди.

— Ой, прости!

— Ничего...

— На секунду забыла, что ты здесь.

— Где же мне быть?

— Я немного не в себе, да?

— Поспи, ты ведь наверняка совсем не спала в эти дни.

— Не помню... наверное, нет...

— Поспи, а я покараулю.

И после этих его слов, после этих непринужденных и деликатных слов... Нет, лучше об этом сейчас не думать. На миг Тамар едва не поддавалась тоске, сжимавшей ей горло, соблазну рассказать ему обо всем, хоть немножко поделиться тяжестью двух последних чудовищных дней. Ведь если существует ад, подумала Тамар, то именно в нем я и провела два дня — пока не появился Асаф. Но она чувствовала, что стоит ей только

открыть рот, стоит возникнуть хоть одной новой маленькой трещине в ее панцире, как поток уже не остановить. А говорить еще нельзя, нельзя... И кроме того, сказала она себе не без испуга, они ведь едва знакомы.

Она перевернулась на бок, лицом к Асафу, в ноздри ударил запах его пота, и она вяло подумала: какой кайф будет принять душ после того, как все это закончится. Может, хоть разок еще они встретятся потом, в реальном мире, где-нибудь в кафе, отмытые, причесанные и надушенные. Расскажут друг другу, кто они такие на самом деле. И может, она подарит ему в знак признательности дорогой дезодорант. Ну вот, пожалуйста, она снова забыла про Шая, снова предалась своим дурацким фантазиям. Как будто кто-то всегда должен принести себя в жертву, чтобы другие смогли начать что-то новое. О чем это ты, возмутилась Тamar, какое еще «что-то новое»?! Да у него и в мыслях нет ничего такого — с тобой! С этими путаными мыслями Тamar и заснула — уронив голову на голую землю.

Асаф сел, не сводя с нее взгляда. И сердце его переполнилось ею. Ему хотелось укрыть ее, отереть пыль с ее лица. Сделать для нее что-нибудь хорошее. Но лучшее, что он мог сейчас для нее сделать, — это не будить. Поэтому он не двигался. Только смотрел и смотрел, пожирал глазами и думал о том, какая же она красивая. Тamar вздохнула во сне, подсунула под щеку две сложенные ладони. Какие у нее длинные изящные пальцы. На грязной лодыжке Асаф заметил тоненькую, едва заметную серебряную цепочку. В мыслях он вел оживленнейшую беседу. «Ты знаешь, что я таких глаз,

как у тебя, ни у кого не встречал?» — «Да, мне много раз говорили, а ты знаешь, отчего они у меня сделались такими?» — «Потому что ты смотрела на мир с удивлением?» — «Ой, с тобой просто невозможно! Ты все это прочел в дневнике, точно?» — «Нет, только несколько страничек». — «Это нечестно, что ты знаешь обо мне такие вещи, а я о тебе ничего не знаю! Ты бы, например, согласился, чтобы я прочла твой дневник?» — «Я не веду дневник». — «Ну а если бы вел?» — «Если бы вел?» — «Да, тогда бы ты согласился?» — «Но зачем тебе мой дневник? Я могу тебе все и так рассказать!»

Тамар приоткрыла один глаз, увидела, как он улыбается, увидела его пальцы, сложенные в уже знакомом ей умоляющем детском жесте, и заснула опять.

Асаф встал, потянулся. Подумал, что когда-то, лучше прямо завтра, надо навеститься к телефону — позвонить Носорогу и родителям в Америку, прежде чем Носорог поставит на ноги всю полицию Израиля. Мысль эта его раздражала, словно внешний мир просунул в пещеру холодную руку и положил ему на плечо.

Снова всплыл вопрос о том, как он расскажет Носорогу про Релли. Сейчас это казалось даже сложнее, и Асаф не очень понимал, с какой стати. А не с такой ли, что теперь он осознал, что Носорог чувствует к его сестре? Возможно. Да, но вдруг Релли и впрямь тяжело приходилось с Носорогом, осторожно подумал Асаф, направляясь к едва мерцающему фонарю. Он поискал пакет с батарейками и обнаружил, что Тамар купила не те, что надо. Вспомнил, как всегда обвинял Релли, что она недостаточно любит Носорога. И ему было ясно, да и всем остальным, собственно, тоже, что Носорог любит *больше* соревноваться с ним по части любви,

заботы и щедрости, которые он изливал на Релли, просто невозможно.

Асаф порылся среди консервных банок и прочих вещей, нашел несколько целлофановых пакетов с печеньем, скрученных проволочками. Содрал с проволоки изоляцию. Ему было неуютно от всех этих мыслей. Носорог так часто рассуждал о своей тоске по Релли, что это превратилось в некий ритуал, в неотъемлемую часть их разговоров. Асаф даже мог слово в слово повторить про себя все жалобы и сетования Носорога о том, как он потерял Релли и какую страшную ошибку совершил, не настояв, чтобы она вышла за него замуж сразу же после армии, и каким он был идиотом, что согласился отпустить ее в Америку.

Асаф распрямил проволочки, скрутил их в два длинных куска. Из кармана джинсов достал моток черной изолянтной ленты («Изоляция — это что-то вроде носового платка, всегда держи при себе», — говорил отец), затем уложил шесть маленьких батареек в ряд — минус к минусу, плюс к плюсу. И по правде говоря, — он прикрутил проволочки одним концом к батарейкам, другой подсоединил к лампе — они ведь ни разу не разговаривали про саму Релли, про ее чувства, про ее мысли... Асаф поежился. Неужели он сейчас предает Носорога? Он попытался перестроиться, задумался о том, что будет дальше, как Носорог встретит новости из Америки, выдержит ли, как станет жить дальше.

Когда он открыл глаза (видно, сон его все-таки сморил), Шая в пещере не было. Асаф вскочил, посмотрел на Тamar и решил, что будить ее пока не стоит. Он тихонько свистнул Динке и вылез из пещеры.

Вот-вот должно было взойти солнце, на востоке в небе тянулась розовая полоса. Асаф взбежал на пригорок, огляделся — никого, взлетел на другой — никого и ничего. Шай в его нынешнем состоянии не мог далеко уйти. Трибунал над собой Асаф отложил на потом. Динка, принюхиваясь, бежала впереди. На нее Асаф надеялся больше, чем на себя. Только сейчас он сообразил, что с тех пор, как они добрались сюда, Динка словно отошла в сторону, словно почувствовала, что ее роль закончена после того, как она свела его с Тamar. Асаф резко остановился, подозвал собаку, опустился на колени, потрепал шерсть, прижал ее голову к своей. Всего один миг — и они снова бросились бежать.

С шоссе донесся далекий гул — грузовик. Асаф перепугался: нельзя допустить, чтобы Шай добрался до дороги. Его же задавят. А если не задавят, то поймают попутку, доедет до города и раздобудет себе дозу. И тогда все усилия Тamar пойдут прахом. Имелся и еще более ужасный сценарий: как только Шай доберется до города, его обнаружат те типы. Асаф вспотел. Удавил бы себя!

И тут он его увидел. Шай стоял у лысой сосны, на склоне очередного холма — припав к дереву и согнувшись в три погибели. Асаф кинулся к нему и подхватил за мгновение до того, как тот повалился на землю. Из рта Шая сочилась зеленая слизь. Глаза у него закатывались, но он все-таки пробормотал, чтобы Асаф не вздумал его останавливать, что ему позарез нужно добраться до шоссе. Он даже предложил Асафу деньги, если тот скажет, где Тamar прячет вмазку. Асаф взвалил его на плечо, как заправский санитар на поле битвы, и

по пересохшему руслу побрел к пещере. У входа Шай надавил ему на шею, заставив остановиться.

— Будь другом, — прохрипел он, — если она спит, не говори, что я уходил. Не говори ей, не говори...

Асаф подумал. Верность Тamar против желания Шая не разочаровывать ее.

— О'кей, только это первый и последний побег.

Шай поелозил пальцами по его шее, что, очевидно, означало «да». Асаф свалил его на матрас, уложил длинные, тощие конечности, словно приводя в порядок тряпичную куклу. Тamar услышала, как они возятся, и проснулась. Открыла глаза, с наслаждением потянулась, забывшись на секунду.

— Ух, сколько я проспала... Эй, а ты чего там стоишь?

Асаф молчал. Шай умоляюще посмотрел на него.

— Да так, размяться захотелось.

Тamar улыбнулась ему чудесной утренней улыбкой. Шай со своего места благодарно заморгал. В его затуманенных глазах промелькнула искра живого, чистого чувства, и Асаф улыбнулся в ответ. Тamar увидела этот обмен взглядами, закрыла глаза и подумала, что, может быть, все еще образуется.

Начавшийся новый день оказался чуть полегче. Шай страдал уже не так сильно, хотя часами навязчиво искал наркотик в матрасе, в щелях каменных стен. Он был уверен, что вчера видел потерявшуюся дозу, собственными глазами видел, да только никак не может припомнить, где именно. Асаф и Тamar давно уже

прекратили отвечать на его однообразные вопросы. Они массировали ему ноги, чтобы облегчить боль и усилить кровообращение, каждый час заставляли делать несколько глотков воды, иногда Асафу приходилось силой удерживать Шая, пока Тamar капала ему в рот из детской бутылочки, и тогда Шай напоминал истощенного птенца-переростка. И когда глаза Тamar встречались с глазами Асафа, она понимала, что он сейчас видит ту же картину, что и она сама, может, и думает в таких же словах. И Тamar с удивлением вспоминала свои мысли о том, что в ее душе не хватает той детальки, которая отвечает за связь с другим человеком. А что, если и эта аксиома требует проверки? — неуверенно думала она.

Внизу, на дне низины, вился крошечный ручеек. Собрав грязные простыни и одежду, Тamar отправилась к ручью. Полоща тряпье, она размышляла, что с тех пор, как очутилась в общежитии Пейсаха, ей почти не приходилось оставаться наедине с собой. Это было одно из самых тяжелых испытаний для нее в том страшном месте, поскольку она всегда, с самого раннего детства, нуждалась в одиночестве — хотя бы час или два в день. И сейчас Тamar немного растерялась: после появления Асафа у нее появилась возможность побаловать себя вот таким недолгим «отпуском», немножко побродить по руслу, подышать в одиночестве, но почему-то никакой потребности в этом она более не ощущала. Тamar поплескалась в ручье, как ребенок радуясь брызгам.

Друзья поят его водой,

Как чистый ключ в жару и зной...

Она развесила одежду сушиться на кусте возле пещеры.

Как чистый ключ в жару и зной,

Вот почему влюбле...

Тут она умолкла, улыбнувшись своей глупости и пафосу, отпустила в свой адрес несколько едких замечаний, — словом, привела себя в чувство и напомнила, что к чему. Вот только взгляд ее почему-то будто приклеился к рубашке Асафа, покачивавшейся рядом с ее джинсовым комбинезоном.

Себе и Шаю она припасла сменную одежду, но у Асафа, разумеется, ничего с собой не было, а потому Тamar выделила ему то небольшое из вещичек брата, что налезло на Асафа. А позже, когда испачкалась и эта одежда, он надел ее широкую свободную футболку — из тех, что она планировала использовать в качестве «рабочих халатов». Осталось с тех пор, когда она была жиртрестом, сказала Тamar, и Асаф ответил, что не верит в это. И она рассмеялась:

— погоди, вот увидишь на фотке — я была как слониха!

И Асаф дико обрадовался этому намеку на общее будущее.

Тamar достала из рюкзака зубную щетку, и Асаф растерянно посмотрел на нее.

— Возьми мою, — сказала она, почистив зубы.

И Асаф (да, да, если бы мама узнала, то наверняка грохнулась бы в обморок) как ни в чем не бывало почистил зубы ее щеткой.

Рвота у Шая прекратилась вместе с судорожными зевками. Правда, открылся понос, и это тоже оказалось нелегким испытанием. И они его выдержали вместе, вдвоем, а в общем-то, втроем. Шай потихоньку приходил в себя, и к нему возвращался стыд, сопровождаемый удивлением: кто такой этот Асаф и что он тут делает? И Тamar просто ответила ему, что он их друг.

Но когда Асаф сказал, что ему нужно выбраться в город на часок-другой, у нее сделался такой несчастный вид, что он чуть было не отказался от этой идеи.

— Ничего-ничего, иди, — сказала Тamar, явно смирившись с тем, что он не вернется.

Она села к нему спиной, злясь на себя за то, что поддалась соблазну поверить в него. Асаф объяснил, зачем ему нужно в город, стараясь говорить как можно спокойнее, но он чувствовал, что Тamar уже воздвигла между ними стену. Он не знал, как ее успокоить. Да и как она вообще может в нем сомневаться после этой ночи? В сердитом отчаянии он смотрел на нее и почти видел, как прежние комплексы крысиной стаей пробираются в ее голову. Одно он знал твердо: словами ее никогда ни в чем не убедить.

Когда он вышел из пещеры, она встала и поблагодарила его за все то, что он для нее сделал. Ее вежливость была почти оскорбительной. Он простился и с Шаем, а главное — с Динкой, которая встревоженно суетилась. Собака побежала за ним, потом вернулась к Тamar, затем опять за ним, и опять вернулась — Динка словно пыталась связать рвущуюся нить. Прилично уже отойдя от пещеры, он резко обернулся, услышав — или ему только показалось? — как Тamar тихо зовет его по имени. Он кинулся назад, навстречу ей, подхваченный

волной болезненного возбуждения. Тamar поразилась захлестнувшим ее чувствам, когда увидела, как он мчится к ней.

— Да, ты что-то хотела? — спросил Асаф, задыхаясь.

— Ты чего вернулся? — удивилась она.

— Но ты ведь позвала... и еще я забыл отдать тебе письмо Леи.

— Письмо Леи?

— Она дала мне для тебя письмо, но ты меня треснула дубиной, а потом все это закрутилось с Шаем, и я забыл.

Асаф протянул Тamar письмо. Они стояли рядом, отчужденные и раздираемые чувствами. Она комкала в руках конверт. Он смотрел, как на ее шее бьется голубая жилка, он едва сдерживался, чтобы не коснуться этой жилки пальцем, погладить, успокоить. И только через минуту догадался спросить, зачем она его, собственно, позвала.

— Зачем? — удивилась Тamar. — Ах да, погоди. Вот, послушай...

Она спросила, готов ли он сделать для нее еще одно доброе дело, последнее дело, колоссально важное дело. Асаф в отчаянии развел руками и даже топнул ногой: ну почему последнее, почему? Но вслух ничего не сказал, взял листок с номером телефона, выслушал многочисленные указания и вопрос, который он должен задать. По правде говоря, задание показалось ему слишком тяжелым. Тamar тоже это понимала:

— Конечно, я должна сама с ними поговорить... но как? Отсюда?

Асаф пообещал, что все сделает.

— Тогда повтори еще раз, что ты им скажешь!

И она заставила его в точности повторить вопрос, и он покорился, замороженный этим первым проявлением дотошности и упрямства, напуганный чуждыми ему хитросплетениями ее семейных отношений, открывшимися перед ним во всей своей неприглядности. Она тотчас почувствовала его недоумение и, когда он успешно сдал тест на память, беспомощно уронила руки и растерянно, беззащитно посмотрела на него.

— Странно, я рассказываю тебе о вещах, о которых не рассказывала никому.

— Послушай, к трем часам я вернусь.

— Да, да, мне пора к Шаю.

Она повернулась и побрела к пещере — глядя в лицо реальности, понимая, как трудно дастся ему возвращение в этот ад после того, как он окунется в нормальную человеческую жизнь.

Асаф выбрался на шоссе, дождался автобуса и, вглядываясь в дорожные указатели и таблички с названиями улиц, определил, где находится. Дома он прослушал сообщения на автоответчике. Снова звонил Рои, осторожно спрашивая, не стоит ли им встретиться, чтобы поговорить по-мужски. Ему кажется, что Асаф переживает какой-то кризис, и это стоит обсудить, не так ли? Нет, не так, ответил Асаф и перешел к следующему сообщению. Родители передали, что отправляются в

трехдневную прогулку по пустыне, так что пусть он не беспокоится. Асаф улыбнулся: точно кто-то подстроил так, чтобы эти три дня он чувствовал себя совершенно свободным. Он перемотал пленку и еще разок послушал их радостные голоса: они уже совсем очухались от перелета, утречком посетили фирму, где работает Джереми, и даже папа, с его тридцатилетним стажем, объявил, что такого он еще не видал.

Далее следовало подряд семь сообщений от Носорога, в последний раз он заявил, что если Асаф не объявится до двенадцати, то он, Носорог, звонит в полицию.

Оставалось еще десять минут. Асаф выпил один за другим три стакана мангового сока и позвонил в мастерскую. Вопль Носорога перекрыл даже шум станков. И Асаф тут же вспомнил, почему он так его любит, если об этом вообще нужно было вспоминать. Асаф рассказал ему все, ничего не скрывая, кроме новостей из Америки и кроме того, что с ним творится, когда он рядом с Тamar (то есть кроме самого главного). Носорог слушал не перебивая. Вот это Асаф в нем особенно любил: ему можно рассказать целую историю, от начала и до конца, не опасаясь, что тебя будут перебивать дурацкими вопросами.

Когда он закончил, Носорог спокойно сказал:

— Ну что, ты это сделал, а? Весь Иерусалим перевернул, но все-таки нашел ее... Правду сказать, Асаф, я не верил, что у тебя получится.

И, по сути, только теперь Асаф впервые осознал, что он действительно смог это сделать, смог найти Тamar... Даже странно, что эта мысль ему раньше не приходила в голову. Наверное, потому, что, найдя ее, он

тут же окунулся в новую задачу, в проблему Шая, а потом... Да у кого из них было время вздохнуть?

Носорог быстро, по-военному, задал несколько вопросов. Знает ли он, что за люди охотились за Тамар и Шаем? Грозит ли им по-прежнему опасность? Где в точности находится ресторан Леи? И можно ли получить координаты пещеры — исключительно на крайний случай? Он трижды предостерег Асафа, чтобы тот хорошо проверил, не следят ли за ним. В пустыне он, может, и был в безопасности, но в городе его запросто могут выследить. Только затем Носорог небрежно поинтересовался, что слышать в скорбной диаспоре.

Асаф ответил, что ему не удалось с ними поговорить. Ему оставили короткое сообщение, что они отправляются в путешествие на три дня, а значит, все более или менее в порядке. Он говорил немного торопливо, но понадеялся, что за шумом станков Носорог не уловит его суетливости.

Положив трубку, он набрал номер, который дала Тамар. Этот разговор, длившийся всего три минуты, оказался еще тяжелее предыдущего. Асаф назначил встречу в кафе торгового центра, описал себя, чтобы они могли его узнать, не забыв обрисовать последние добавления в своей наружности.

С полчаса он плескался под душем, переоделся во все чистое и отправился в торговый центр. Асаф шагал по улицам, слегка ошалевший от воздушных шаров и чистеньких магазинчиков. Он сам себе казался каким-то ненастоящим, двойником подлинного Асафа, того, который находится там, где ему следует сейчас находиться. На деньги, оставленные мамой на всякий пожарный в коробке для шитья, он купил четыре

гамбургера (один — для Динки) и несколько пакетиков с орешками в шоколаде и всякой прочей сладкой чепухи, потому что Шай накинулся на шоколад и запасы Тамар быстро таяли. Прохаживаясь среди безмятежной публики, Асаф вдруг вспомнил свое ощущение, когда входил в комнатку спящей Муки. Она спала, как спят маленькие дети — на спине, свободно раскинув ручки и ножки, всецело доверяясь миру. И Асаф тогда чувствовал, насколько она бесхитростна и наивна, и его переполняло желание защитить ее. И вот сейчас, в людской толчее, он ощутил нечто похожее: все эти люди гуляют, не подозревая о том, что происходит совсем рядом с ними, не ведая, насколько жизнь темна, опасна и хрупка.

Встреча до предела вымотала Асафа, к концу разговора он весь взмок. Из торгового центра он едва не отправился домой, чтобы снова принять душ. Ничего особенного, по сути, не случилось. Он встретился с двумя очень ухоженными, холеными, хорошо одетыми людьми, чуть моложе его родителей, гораздо более образованными и весьма прагматичными. Они почти не дали ему раскрыть рта, и на все, что он говорил, у них имелся ответ. И вообще, хотя это *он* пришел рассказать *им* правду, они вели себя так, как будто делали ему великое одолжение. Они еще и спорили, в основном мужчина, словно Асаф в чем-то перед ними виноват, и изо всех сил старались, чтобы он осознал, насколько они правы и обижены. Асаф не знал, как ему себя с ними вести. Он просто передал то, что его просили передать, отказался сообщить дополнительные детали и задал только один вопрос — тот самый. И с изумлением увидел, какие усилия потребовались этому взрослому мужчине, чтобы хоть чуточку смягчиться и ответить согласием.

И в тот момент, когда это все же случилось, лицо мужчины затряслось. Сперва правая бровь затрепетала, точно наделенная собственной жизнью, а потом все лицо будто распоролось, расползлось, и этот взрослый человек разрыдался, заслонившись ладонями. Женщина тоже заплакала — не пытаясь скрыть слез. И ни единой попытки дотронуться друг до друга, утешить, приласкать, успокоить. Они сидели отчужденно, каждый отстранившись от другого, и каждый рыдал своими отдельными слезами. Асаф, вспоминая слова Тamar, понимал, что является свидетелем чего-то невероятного для этих людей — отказа от их обычного притворства. Он не знал, как их успокоить, а потому заговорил про Тamar. Они плакали, а он убеждал, что она им поможет, что на нее можно положиться на все сто, что все будет хорошо и прочие глупости в том же духе. А они все плакали. Рыдания эти, похоже, копились немало времени, а когда немного стихли, то они оба долго сидели молча, внимательно слушая его — несчастные и даже по-своему трогательные. И тут разговор начался по новой. Дрожащими и покорными голосами они спрашивали Асафа о том, на что у него не было ответа. Ведь он слишком мало знал и про Шая с Тamar, и про то, что с ними происходило прежде, до того, как он их встретил. Но они все спрашивали и спрашивали. У него возникло чувство, что они спрашивают о том, о чем не осмеливались спросить все это время даже самих себя. Он в основном отмалчивался, лишь изредка отделялся скупыми ответами, и прервал их — и потому, что гамбургеры давно остыли, но главным образом потому, что понимал: с каждой минутой Тamar все сильнее уверяется, что он не вернется. И мысль эта была невыносима.

Покидая торговый центр, он думал, как же права была мама, заявившая однажды, до чего ее бесит то, что для получения профессии родителя, самой важной и трудной профессии на свете, не надо сдавать даже плевого экзамена.

Они сидели вчетвером у входа в пещеру и уплетали привезенную им еду. То есть Асаф уплетал, и Динка тоже уплетала, и Шай жевал помаленьку, и только Тамар не могла проглотить ни крошки. Она не сводила счастливых сияющих глаз с Асафа, словно тот свалился на нее негаданным подарком. Поев, они немного подремали на солнце, улегшись треугольником — голова Шая на ногах Тамар, ее голова — на ногах Асафа, а его — на ее рюкзаке. И Шай впервые рассказывал о том, что с ним происходило за этот год. Сквозь ткань джинсов Асаф чувствовал, как Тамар сжимается, слушая дикий рассказ брата: о местах, где он кантовался, об унижениях, о несчастьях, которые перенес. Временами Шай замолкал, и тогда вступала Тамар: вспоминала какое-нибудь забавное выступление в Ашдоде или в Назарете, рассказывала о бесконечных переездах, о том, каково петь на улице перед посторонними. Асаф слушал и внутренне ежился, он знал, что сам бы никогда на такое не решился. Только подумать, как она все спланировала, не отступилась и не сломалась. Вот из таких и получаются бегуны на марафонские дистанции.

Шай с Тамар делились воспоминаниями об уличных выступлениях, историями про Пейсаха. Когда упомянули его знаменитую косицу, Асаф понял, что именно этот тип ударил Теодору. Но Тамар была такая радостная, что ему не захотелось портить ей настроение рассказом про

монашку. Тамар перекинулась на охранников, карманные кражи, рассказала о несчастной русской, об отце с мальчиком в Зихроне, о многих других людях, обворованных на ее глазах. Потом они с Шаем изобразили для Асафа, как люди кладут монеты в шапку. Шай режиссировал, а Тамар актерствовала: вот скупердяи, которые стараются скрыть от остальной публики, как мало они дают; а вот эти швыряют тебе деньги так, словно покупают тебя с потрохами; а вот эти от чрезмерной душевной тонкости вообще ничего не дают; а некоторые отправляют положить деньги ребенка; и, наконец, те, кто слушает-слушает тебя, а потом, бац, прямо на последней ноте испаряются — и с приветом.

Тамар играла, смеялась, в ее движениях появились легкость и грация. Асаф наблюдал, как ее тело возвращается к жизни, как сущность Тамар пробивается наружу сквозь защитную броню. Тамар и сама почувствовала, что с ней происходит нечто замечательное, что она вся — как название той книги Иегуды Амихая, только наоборот — кулак снова становится раскрытой ладонью и пальцами. Закончив, она поклонилась по-королевски, и Асаф заплодировал и подумал, как здорово было бы сфотографировать ее в такой момент, вот с этим переменчиво-радостным лицом.

Шай спросил Асафа, откуда он, впервые прямо обратившись к нему, спросил, где он учится, и вспомнил двух знакомых ребят из его школы. Асаф, отличавшийся хорошей памятью на лица, сказал, что он, кажется, видел однажды Шая на матче «Апоэля». Может такое быть? Конечно, может, рассмеялся Шай. Асаф поинтересовался, ходит ли он еще на футбол.

— Раньше ходил, — ответил Шай, — сейчас у меня все в прошедшем времени.

— А «Манчестер Юнайтед»? — спросил Асаф. — Вот и постер их висит в пещере?

И Шай рассмеялся:

— Да это Тамар притащила, перепутала, решила, что я за них болею! Роковая ошибка, Ватсон! — И он швырнул в нее веточкой.

Тамар улыбнулась:

— Какая разница — «Манчестер» или «Ливерпуль», разве не одно и то же?

Тут уж мальчишки вскинулись, наперебой принялись объяснять этой дурочке, что ни один болельщик «Апоэля» не станет болеть за команду вроде «Манчестера». Но почему? — упорствовала Тамар. Этот разговор доставлял ей безграничное наслаждение.

— Объясни-ка девчонке — почему, — вздохнул Шай. — А то у меня сил нет.

И Асаф объяснил, почему истинный болельщик «Апоэля» никогда не станет болеть за таких хозяев жизни, как «Манчестер».

— Мы можем чувствовать солидарность только с полными лузерами, только с неудачниками, которые *почти* выигрывают чемпионство, вроде «Ливерпуля» или, скажем, «Хьюстона»...

— И вот представь теперь, что у меня над головой висит «Манчестер»! — простонал Шай. — Как мне оклематься с Бекхэмом и Йорком над башкой?

Тамар снова расхохоталась и вспомнила, как недавно ее мучил вопрос, может ли человек стать самим собой, если при исполнении некоего задания заморозил свою душу?

Асаф рассказал об одном своем приятеле, Рои, тоже болельщике «Апоэля», в общем-то уже бывшем приятеле, у которого в комнате нет ни одной желтой вещи: ни чашки, ни рубашки, ни коврика, ни горшка — ни намека на желтые цвета «Бейтара». И так они продолжали болтать, а Тамар слушала с двойным удовольствием, глотая их разговор, точно лекарство, излечивающее сразу от двух недугов. Временами она подкидывала вопросик, например о «бывшем приятеле» Асафа. И он рассказывал все как есть, а Тамар слушала и с облегчением думала, что Асаф — прямая ее противоположность во всем: в интересах, во внутреннем ритме, в семейных отношениях, в полном его неумении притворяться. Ей нравилось, что он так медленно говорит, обдумывая каждый ответ и будто оценивая каждое свое слово. Она и не подозревала, что у нее хватит выдержки терпеть такую медлительность, и уже тем более не подозревала, что такой тормоз может ей понравиться. Он из тех, думала она, кто остается самим собой, даже если ты повернешься к нему спиной. У него чистый голос, а этому не научишься у преподавателей вокала. Сквозь ткань джинсов она чувствовала неторопливо пульсирующую в артерии кровь и думала, что он точно проживет до ста лет, и до самой смерти будет расти и потихоньку изменяться, и учиться все новым вещам, и ничего никогда не забудет.

Потом им пришлось спрятаться в пещере, потому что на горизонте появилась парочка туристов. Им следовало насторожиться и повнимательнее рассмотреть этих двоих, одетых совсем не по-туристски. Но они настолько расслабились и размякли, что инстинкт самосохранения притупился. Поэтому они не стали приглядываться к пришельцам, быстро собрали свои манатки, прикрыли вход в пещеру ветками и спрятались.

Почти сразу к Шаю вернулись боли — короткие каникулы закончились, и Асаф с Тамар снова занялись привычным делом. Это опять были мышечные боли, не такие сильные, но все еще изнуряющие. Пещера наполнилась вонью от мази, которую Тамар купила специально на этот случай. Шай стонал, что от мази ему и жарко, и холодно, и вдруг он снова оказался отброшен назад, и принялся орать, что Тамар над ним измывается, мучает его, и кому все это нужно, чем было плохо раньше, он никогда не сможет играть так, как играл под «гариком», такое чувство есть только у Бога и у Джима Моррисона. И у него оно тоже было, а сейчас вот нет. Он снова начал искать героин, ему мерещилось, что он сидит в такси, которое направляется в Лод. С поразительной достоверностью Шай описал дорогу, упомянул даже пыльный багряник<sup>[51]</sup> на въезде в тамошние трущобы. Тамар с Асафом не понимали, о чем он говорит, но слушали как загипнотизированные. Вот он велел таксисту остановиться и подождать в сторонке, вот подходит к дому с высоким забором, стучится в дверь. Хозяин не открывает, но вынимает один кирпич из забора. Шай не видит, но слышит его и знает, что у того

---

<sup>51</sup> Иудино дерево (*Cercis siliquastrum*) — одно из наиболее распространенных деревьев Восточного Средиземноморья.

в руке, и вот он сует деньги в дыру, а тот — Господи, благодарю тебя — передает ему пакетик, он уже у него, и вот он снова в такси, живо, езжай, трогай, и он японским ножиком вскрывает краешек, боже мой, где же фольга, Тамар, где моя фольга?!

Шай вдруг завопил и начал шваркать рукой по бедру, словно скатывал бумажку, потом задрожал всем телом, выпалил: «Ну и глюки, больше не могу», на минутку забылся сном, резко проснулся, вскочил и разразился речью:

— Что такое люди? Люди — дерьмо, люди — лежалый товар. Эти твари до смерти боятся оригинальности, гениальности. Ведь у всякого человеческого сообщества есть только одна цель — кастрировать своих гениев, одомашнивать их. Это верно и по отношению к государствам, к народам, к семьям, особенно — к семьям! У меня, да, у меня никогда не будет семьи, никогда! На хрен мне нужна эта вонючая кучка ханжей, а потом еще настругать детей — новое поколение несчастных?! Вы посмотрите вокруг, люди готовы разорвать своих детей только ради того, чтобы они не обосрали их чистенькую жизнь, не позорили их перед друзьями-знакомыми!

Шай тяжело дышал, глаза его едва не вылезали из орбит, лицо будто покрыл слой пыли. Тамар поняла, что это уже не ломка, что это выплескиваются истинные ужас и гнев Шая, прежде задавленные наркотиками. Когда она захотела усадить его, он с силой отпихнул ее, и она упала на спину, вскрикнув от боли. Асаф вскочил, чтобы остановить Шая, но тот и не подумал драться. Он орал, что Тамар такая же, как все, что она хочет задушить его гениальность, выдрессировать его, сделать

домашним животным. Чем больше Шай ярился, тем грубее и безжалостнее становились его слова. Асаф подумал, что нужно прекратить эту жуть, но, взглянув на Тamar, увидел или почувствовал, что она запрещает ему вмешиваться, что это их личные дела — ее и Шая.

Успокоился Шай так же внезапно, как и разъярился — без видимой причины. Согнулся, опустился на матрас, прижался к руке Тamar, поцеловал, попросил прощения и за удар, и вообще за все. И расплакался: как она добра к нему, как всегда была ему вместо матери, хоть и младше его на два года, и он никогда ее не отпустит от себя, только она понимает его в этом мире, разве так не было всегда? И вдруг снова вскочил, словно в бреду, заорал, зарычал, что на самом деле она хочет его убить, что вечно ему завидовала, потому что он талантливее, оригинальнее во всем, а она знает, что без наркоты он ничто, кастрат вроде нее, ведь ясно же как белый день, что в конце концов она уступит, продастся ради чепухи, поступит на медицинский или юридический, выйдет замуж за какого-нибудь хрена из адвокатской конторы, вроде отца, или хуже того — из программистов. За кого-нибудь вроде этой вот сосиски, которая тут торчит как кость в глотке.

Когда Шай наконец уснул, они вдвоем вышли из пещеры и бессильно свалились у ствола терebinта. Динка села напротив, такая же пришибленная. Тamar боялась, что вот-вот взорвется: если бы это продолжилось еще хоть одну секунду, она выплеснула бы все, что у нее накопилось. Это ведь из-за него она торчит здесь, из-за него не поехала в Италию и, возможно, потеряла свой хор навсегда, а возможно, и всю свою карьеру. Все ее нутро переворачивалось от ненависти к Шаю и к его идеям, которые у нее уже в печенках сидят.

Ведь каждый раз, впадая в эти свои «периоды», или взбешенный спором с родителями, он врывается к ней в комнату, не спрашивая, до него ли ей, в силах ли она его слушать, запирает дверь и начинал разглагольствовать с холодной яростью, иногда часами говорил, пуская пузыри и размахивая руками, цитировал неведомых ей философов, рассуждал о «благородном эгоизме» и о том, что, в конце концов, каждый человек действует только исходя из своего абсолютного эгоизма, и так даже в отношениях между родителями и детьми, даже в любви, и не успокаивался, пока не заставлял ее признать, что он прав и что в глубине души она боится его правоты, ведь она подрывает все ее мелкобуржуазное мировоззрение. А иногда, особенно в последний год, у нее возникало ощущение, что все эти мысли сумели проникнуть в нее и отравить изнутри.

— Я иногда тоже думаю как он — про человечество и про эгоизм, — с изумлением услышала Тамар. — Знаешь, это ужасно угнетает — понимать, что он где-то прав.

— Еще как угнетает, — с горечью согласилась Тамар. — И ответить ему нечем.

— Вообще-то есть чем, — сказал Асаф, подумав. — У меня есть целых три ответа. Во-первых, я каждый раз, когда мне удастся преодолеть свой эгоизм... я как-то лучше себя чувствую.

— Но ведь именно этим возмущается Шай, это ханжество! — взвилась Тамар. — Ты предпочитаешь чувствовать себя хорошо, потому что просто боишься быть плохим, боишься отличаться от остальных.

Ага, подумала она про себя, в этом-то все и дело: он действительно боится быть плохим, он просто

законченный «хороший парень». Поэтому он здесь, со мной. Никогда ему меня не понять.

— Наоборот, — возразил Асаф. — Ведь если эгоизм — это что-то всеобщее, значит, именно тогда, когда мне удастся его преодолеть, я вдруг чувствую, что я другой, не такой, как все.

— Правда? — улыбнулась Тамар слегка удивленно. — Ну ладно, это — во-первых. А во-вторых?

— Во-вторых, это то, что сказала мне как-то Теодора: ясно, что на свете есть всякие уроды и негодяи, но ведь есть и другие, например, как та, что тащит Шая из его болота, а? — И он покосился на Тамар. — И между прочим, Теодора еще сказала, что только ради этих других стоит жить.

Интересно, желчно подумала Тамар, что бы Идан сказал про Асафа? И прежде, чем эта неприятная мысль затянула ее, она спросила себя, а что сказал бы Асаф про Идана?

— А в-третьих? — спросила она.

— В-третьих... это когда у меня нет нормального ответа на все эти дурацкие вопросы. Тогда... возле нашего дома есть заброшенный пустырь, и временами мне бывает просто необходимо туда наведаться. Там маленькая свалка с кучей хлама, в основном бутылки. Ну вот, я пристраиваю бутылку куда-нибудь и швыряю в нее камни. Часок-другой, двадцать-тридцать бутылок — и помогает. Очищает... — Асаф рассмеялся. — Понимаешь, я каждую бутылку называю по имени, не только именами людей, но именами всяких дурацких мыслей, всяких... — он на секунду замялся, — того, что ты называешь «крысами»...

Тамар напряглась от этого внезапного вторжения на ее заповедную территорию и вдруг улыбнулась. У нас есть секрет, подумала она, у нас есть общий секрет, о чем-то таком и говорила Лея...

— И я просто разбиваю бутылки с именами, одну за другой, и успокаиваюсь до следующего раза. — Асаф смущенно улыбнулся. — Вот такой метод для слабаков.

— Ты не слабак, — поспешно возразила Тамар. Наверное, слишком поспешно. — Ты меня когда-нибудь возьмешь туда? Я бы сейчас раскокала несколько бутылок.

Они вернулись в пещеру. Шай спал, вскрикивая во сне, тело его дергалось, как от ударов. Тамар и Асаф собирались спать по очереди, но оба не сумели заснуть. Во время дежурства Асафа Тамар лежала на матрасе, укрывшись тонким одеялом. Глаза ее были открыты, и она смотрела на него. Не разговаривала, просто смотрела. Не отводя взгляда. Словно его вид, его размашистые, немного неуклюжие движения, смущенные улыбки были тем дефицитным лекарством, которое поможет ей выздороветь.

Шай проспал три часа (хоть и утверждал, что не сомкнул глаз), встал, за минуту сжевал четыре шоколадных батончика и опять повалился на матрас. Он был мрачен, возможно даже раскаивался в своей истерике, но до извинений явно не созрел. Около часа ночи Шай снова проснулся, взял гитару, вышел из пещеры и заиграл. Асаф и Тамар тихо сидели внутри и слушали. Асаф нашел игру Шая гениальной, но Тамар прекрасно слышала, как брат сражается со струнами, сбивается с ритма, отчаянно гонясь за чем-то, что совсем недавно, всего лишь неделю назад, было при нем. Она

подумала, что звук стал поверхностным и каким-то тусклым. Гитара замолчала. Тамар знаком показала Асафу, что хочет выйти. Но прежде, чем они встали, послышался страшный удар и долгий вой струн. Шай вернулся в пещеру, уставился на Тамар испуганным и обвиняющим взглядом:

— Это пропало... я тебе говорил. Навсегда пропало. Чего я без этого стою?

Он рухнул на матрас и завыл на одной ноте. Тамар легла рядом с ним, обняла его всем своим телом, зашептала что-то вроде колыбельной, и Шай мгновенно — должно быть, от ужаса и отчаяния — заснул.

— Ты не хочешь узнать, что Лея написала в письме? — спросила она позже, когда они сидели около спящего Шая, накрывшись одним одеялом, чтобы согреться.

— А что она написала? — смутился Асаф.

Тамар улыбнулась:

— Нет, сначала признайся, что тебе любопытно!

— Мне любопытно, факт, еще как любопытно! Ну, что она написала?

Тамар протянула ему мятый листок.

*Тами-мами, — прочел он, — не сердись на меня, но только debil отказался бы от такой возможности. Брюс Уиллис и Харви Кейтел в одной упаковке!!! И кстати, скажи: разве это не точь-в-точь рука статуи Свободы?*

*Р. С. Нойка подтверждает.*

Асаф ничего не понял. Тамар толкнула его плечом. Она хотела узнать, как они ему понравились, и он рассказал о своем визите в ресторанчик Леи и только потом вспомнил, что до сих пор почти ничего не сказал про Теодору.

Тамар выслушала, подавила крик изумления и попросила, чтобы он рассказал снова, на этот раз во всех подробностях: и как Теодора вышла, и как смотрела на улицу, и какое у нее было выражение лица. Потом вскочила и заявила, что сходит с ума от того, что не может сейчас быть рядом с Теодорой, сопровождать в первых ее шагах за пределами тюрьмы. Про себя она подумала, что если даже Тео покинула свою обитель, то, может, и Шаю удастся выкарабкаться.

— Но как это возможно, что она тебе рассказала, как мы с ней встретились? И как это Лея тебе все рассказала? И остальные? Что ты с ними такое сделал?

Асаф пожал плечами:

— По правде говоря, самому удивительно.

— Ты — просто маг какой-то!

Асаф вспомнил: Воин, Вор, Рыцарь, Маг. Итак, он уже побывал тремя из них, остался лишь Рыцарь. И он вдруг расстроился: уж рыцарство ему точно не светит.

Вдруг нервно залаяла Динка, и Асаф вышел из пещеры проверить, что случилось, но ничего не заметил. А потом к прерванному разговору они не вернулись.

В два часа ночи начиналось его дежурство, но Тамар сказала, что все равно не заснет и лучше посидит с Асафом. Они решили устроиться на улице, у входа в пещеру. Немного повозившись, сели, прижавшись спиной к спине, и поразились тому, сколько, оказывается, всяких ощущений, сколько нежности, невысказанных слов прячется у каждого из них в спине — в спине! В этом абсолютно бесчувственном месте.

Асаф снова, уже по третьему разу, рассказал о своей встрече с ее родителями. Он ничего не скрывал, ну разве что детали, которые могли причинить ей особо острую боль.

Тамар рассказала о событиях последнего года, попыталась объяснить, как так случилось, что двое взрослых, образованных и неглупых людей повели себя так странно. Они отказались от собственного сына почти без борьбы, просто вырезали его, вместе с переживаниями о нем, из своей жизни. Тамар вспоминала ссоры Шая с родителями, о том, что брата никогда не покидало чувство, будто он инопланетянин в родной семье, рассказала, как года два назад Шай начал исчезать иногда на целые сутки, не ночевал дома, а возвращаясь, отмалчивался. Его видели во всяких сомнительных местах, а родители отказывались верить. Потом он начал воровать, и наконец случилась та кошмарная сцена, когда отец попытался не выпустить его и они подрались.

— Ну, предположим, в первую неделю я их еще понимала, папа злился и чувствовал себя оскорбленным. Все так. Но потом? А мама? И за все это время, больше года, они только дважды обратились в полицию, ты можешь в это поверить? Два раза! Если бы у них украли

машину, они бы ныли без остановки и всех бы на уши подняли. А тут — их родной сын! А когда полиция заявила, что Шаю уже есть восемнадцать, и если он по собственной воле ушел из дома, то они не имеют права вмешиваться, родители вообще забыли о нем. — Тamar ударила ладонью по лбу. — Ты способен в такое врубиться? Твои родители такое бы допустили?

— Нет, — ответил Асаф, потеснее прижимаясь к ее спине.

Он подумал, как было бы прекрасно, если бы она когда-нибудь познакомилась с его родителями, и тут же всем нутром догадался, что ей понравится у них. Он отчетливо увидел, как Тamar играет с Муки, разговаривает с мамой на кухне, как заходит в его комнату и он закрывает за нею дверь... Надо будет выкинуть из комнаты всякую ерунду, вроде той ужасной коллекции разноцветных уродцев-гоблинов, и фотоколлаж, на котором он стоит рядом с раввином Кадури, и драные постеры «Strike force», висящие в комнате уж лет шесть, не меньше.

Тamar ушла в пещеру, взглянуть на Шая. Тот проснулся и попросил воды. Попив, снова лег и, глядя на Тamar, робко извинился. Потом добавил спокойно, с холодной рассудочностью, что в его жизни нет никакого смысла без музыки. Тamar так же спокойно и трезво объяснила, что на этом этапе такое в порядке вещей, но через пару месяцев все к нему вернется. Шай покачал головой и ответил, что она себя обманывает, но у него никаких иллюзий нет.

— Почему ты не бросишь меня подохнуть тут? — спросил он, и Тamar постаралась не выдать своих чувств.

— Вы еще не врубились, Холмс? — улыбнулась она из последних сил. — Что я не позволю тебе сдохнуть, как бы ни старался? Ты еще не понял, что у тебя нет выбора?

Они молчали, взглядами цепляясь друг за друга, и слова им не требовались — они были двойниками, двумя ключами от одного сейфа.

— Ты правда будешь меня охранять?

— Да.

Шай очень глубоко и медленно вдохнул, расправив худую грудь, и Тamar поняла, что он доверяет ей — целиком и безраздельно.

— Ну-ка, — сказал он внезапно окрепшим голосом, — приглуши скрипичный фон и приволоки мне какой-нибудь фрукт, я умираю с голоду, а потом вали к своему корешу, вали-вали, я же вижу, что тебе нейдет...

Тамар вернулась к Асафу и сухо сообщила, что Шай лучше. Несколько минут они сидели в молчании. Тамар понимала, что чем больше оживает Шай, тем все больше места освобождается в ней для Асафа, да и для себя самой, а еще — для всего того, о чем раньше нельзя было и помыслить.

Она рассказала про Шели, про ее удивительную жизнерадостность, чувство юмора и тягу к саморазрушению. Она говорила почти целый час, не останавливаясь. Асаф слушал. Тамар описала, как встретила Шели, как они волокли тяжеленный матрас, как Шели привела ее к себе в комнату. И только теперь она начала осознавать весь ужас случившегося.

— Шели больше нет, — сказала Тамар с изумлением, словно только что узнала об этом. — Ее нет и больше не будет. Никогда не будет. Понимаешь? Я произношу эти слова и не понимаю их. Почему я их не понимаю? Скажи, со мной что-то неладно? Чего-то не хватает?

Они опять сидели спиной к спине, и поэтому Тамар не видела его лица, но подумала, что еще не встречала парня, способного так слушать. Потом, она даже не заметила, как это вышло, он перевел разговор на музыку. Она рассказала о перевороте, произошедшем в ее жизни три года назад, когда она заставила родителей записать ее в хор. Как она вдруг расцвела, ощутила, что чего-то стоит. Рассказала и про Алину, которая поверила в нее с самого начала, не испугалась ни ее дерзости, ни ее нахальства. Асаф признался, что ничего не понимает в музыке, и вообще он никогда не поймет, как это можно — выступать перед публикой. Тамар рассмеялась: ей самой собственная смелость всякий раз кажется каким-то чудом. А вот что, на его взгляд, самое трудное в публичном выступлении? Асаф задумался. Она терпеливо ждала.

— Отдать то, что у тебя внутри, — сказал он наконец. — То, что пришло из самого твоего нутра... отдать это людям, которых ты не знаешь, которых видишь впервые в жизни...

— Точно, — согласилась Тамар. — Но в этом одновременно и весь кайф, понимаешь? Выходить к чужим, незнакомым людям и пытаться их покорить...

— Да, понимаю. Но я — другой. Я бы так не смог. — Асаф рассмеялся, представив себя поющим перед толпой. Тамар плотнее прижалась к его спине, чтобы

впитать в себя все его смешинки, чтобы ни одна не пропала. — Я бы точно останавливался после каждой строчки и думал: как, клево вышло? Или не клево? С тобой такого никогда не случается?

— Да это же именно то, чему я стараюсь научиться все эти годы! — выпалила Тамар, потрясенная тем, что он моментально выудил главную ее проблему, которую даже Алина не сумела так точно сформулировать. — Для меня главное научиться избавляться от этой рефлексии. Ведь стоит хоть на миг задуматься, как тебе удалась нота, и все — конец. Я тут же зажимаюсь, и голос становится деревянным.

— Но если ты поешь хорошо, какое у тебя чувство?

— О, это лучше всего! Это как волшебство. Как мистика. Ты чувствуешь, что все-все во вселенной находится на своем месте...

В точности как сейчас, подумала Тамар.

— Скажи... а ты захочешь прийти на мое выступление?

— Еще бы. Конечно. Только тебе придется сначала мне все объяснить.

— Не волнуйся, я тебя подготовлю.

Асафу захотелось попросить, чтобы она спела прямо сейчас. Для него. Но он струсил, черт возьми, опять струсил!

Время от времени один из них вставал и шел проверить, в порядке ли Шай. А оставшийся чувствовал, как его тело тоскует по прикосновению другого. Динка вела себя нервно — потягивалась, принюхивалась. В

зарослях терebinта явно что-то творилось, но Тamar с Асафом целиком ушли в собственные ощущения и переживания. Позже, когда все закончилось, они долго еще поражались, как могли настолько оглохнуть и ослепнуть, что не заметили очевидного.

В какой-то момент они случайно прижались друг к другу затылками. Тamar спросила, не колется ли ее ежик, и Асаф ответил, что ежик совсем не колючий. И рассказал, как изумился, увидев ее остриженной, ведь Теодора описала ее очень лохматой. Тamar спросила, нравится ли ему так, и он ответил, что да, нравится.

— Правда нравится?

Тогда Асаф сказал, что ужасно нравится, и вообще для него неважно, есть у нее волосы или нет, потому как она по-любому красивая. Ужасно-ужасно-ужасно красивая. И замолчал, потрясенный собственной развязностью.

Динка снова залаяла, на этот раз громко. Тamar ощущала его тяжелую голову на своем затылке. Наслаждение было почти непереносимым. Она чуть не вскочила, чуть не убежала, испугавшись за будущее — что, если чары рассеются, когда они покинут пещеру? Она прижималась к нему, пока жар его тела не растопил все острые льдинки, застрявшие в ней, пока тепло не разлилось по всему ее телу. Это — реальность, думала Тamar, мои фантазии сейчас соприкасаются с реальностью, и я почему-то до сих пор жива. Асаф спросил, чего она так тяжело вздыхает, и она ответила, что ничего.

— Я хотел тебя попросить... то есть я не решился спросить...

— Что? Спрашивай! — Голос за его спиной был мягким и певучим.

— Спой мне!

— А, это...

Тамар даже не стала выпрямляться, чтобы не отрываться от его тела. Она запела легко и непринужденно, не стараясь произвести на Асафа впечатление. Голос звучал как-то иначе, и она не понимала почему.

Одна звезда, в одиночку,

А я бы не посмел...

Они сидели, закрыв глаза. Спина к спине.

Но я ведь не один...

Тамар пела тихо, исследуя свой изменившийся голос. Из него словно исчезли детская прозрачность и чистота, но появилось нечто новое, которому она никак не могла подобрать определения.

Внезапно Динка вскочила и беспокойно забегала, громко взлаивая.

— Наверное, в кустах какой-нибудь зверек, — сказал Асаф, когда Тамар замолчала.

Так приятно ощущать спиной ее легкое дыхание. Он так и не рассказал ей о своем увлечении фотографией, но говорить о себе Асафу не хотелось.

— Возьмем фонарик и поглядим? — предложил он.

— Нет, давай посидим... Сегодня, несколько часов назад, в Милане прошел последний концерт нашего хора... И Ади пела мое соло.

— Спой мне его здесь.

— Правда? Ты хочешь?

— Да. Если тебя устраивает аудитория.

Тамар встала, выпрямилась, изобразила, как поправляет концертное платье, величественно развернулась, демонстрируя глубокий вырез на спине, туфли на высоких каблуках, делающие ее старше по крайней мере на три года, провела рукой по несуществующим локонам. Потом поклонилась публике в партере, в бельэтаже, в позолоченных ложах. Легонько прокашлялась, сделала знак пианисту...

— Постой! — Асаф вскочил. — Там кто-то ходит.

И тут это случилось. Стремительно, как автомобильная авария. Асаф до последнего мгновения отказывался понимать, что происходит, ведь хеппи-энд был так близок, и вдруг все рухнуло. В голове промелькнуло идиотское сравнение: совсем как в настольной игре с фишками, ты уже на кружке номер 99, и тут внезапно падаешь, все ниже и ниже, на проклятый тринадцатый номер.

На чертову дюжину!

Словно военная операция, подумал Асаф. Словно кошмар, подумала Тамар. На них неслись со всех сторон, из-за всех холмов и скал. Сначала им почудилось, что пещеру окружает несколько десятков человек, но вскоре выяснилось, что нападавших всего семеро: Пейсах и шесть его прихвостней. В первые секунды Тамар почувствовала даже не страх, а ненависть: все это время

они прятались в темноте и подслушивали, изгадив своим присутствием самый волшебный в ее жизни миг.

Кто-то ударил Асафа в спину, кто-то свалил Тamar на землю. Из пещеры донеслись удары и крики, и вот Шишако выволок перепуганного и растерянного Шая. Из уголка рта Шая сочилась кровь.

— Храмовая гора в наших руках,<sup>[52]</sup> — сообщил Шишако, с ненавистью глядя на Тamar. — Сейчас займемся пещерой Махпела.<sup>[53]</sup>

Асаф увидел, как сморщилось лицо Тamar. Кто-то сзади снова ткнул его в землю, и Асафу подумалось, что он начинает привыкать к вкусу земли.

У Пейсаха имелся план.

— Глянь хорошенечко, Шай, золотко, — сказал он, встав перед ним. — Глянь, что у меня в правой ручке, что — в левой.

Шай попытался сфокусировать взгляд. Асаф приподнял голову, и на этот раз его не тронули. Он увидел косу и понял, что все пропало.

— Кой-чего, что ты ой как любишь, — ласково приговаривал Пейсах. — Кой-чего, что такую нирвану тебе сотворит.

Тamar громко застонала и зарылась лицом в землю.

— Что это? — слабо спросил Шай, и его ноги сделали шаг вперед. — Покажи...

---

<sup>52</sup> Историческое сообщение, переданное Мотой Гуром во время Шестидневной войны.

<sup>53</sup> Пещера в Хевроне, где расположена гробница патриархов.

— В правой ручке у меня упаковочка, прямо от производителя.

Шай издал стон недоверия и вожделения. Протянул руку.

— Не тронь товар! — одернул его Пейсах. — Теперь глянь-ка, что у меня в левой ручке? Сюрприз! Маленькая симпатичная марочка, пальчики оближешь! Унесет прямо на небушко! Ну, что скажешь? С чего начнем?

Шай тяжело дышал. Его тонкая длинная шея вытянулась вперед.

Как шея лебедя, подумала Тамар.

Которого сейчас зарежут, подумал Асаф.

— А то я слышал, — продолжал Пейсах, — из достовернейших источников мне услышалось, что твоя милая сестричка устроила тебе здесь курс отвыкания, энто верно?

Шай кивнул. При свете луны Асаф увидел, как на его лицо возвращается серая землистость ломки.

— Так ты, может, и не интересуешься больше? — спросил Пейсах с леденящей душу приветливостью и, как фокусник, спрятал в ладонях пакетик с героином и кислотную марку.

Шай, точно заколдованный, отрицательно покачал головой и застонал.

— Шай! — закричала Тамар. — Шай!

Человек, державший ее, ткнул Тамар лицом в землю, но отчаянный вопль ее сделал свое дело. Шай весь передернулся, отступил на шаг.

— Нет, — сказал он.

Пейсах театральным жестом приставил ладонь к уху:

— Чегой-то?

— Нет! — простонал Шай. — Я завязал... думаю.

— Ты думаешь, что завязал, — сказал Пейсах сладчайшим голосом. — Но ведь ты знаешь, что ничего ты не завязал и не завяжешь никогда. Потому что нету, нету на свете силушки, которая тебя из этого вытащит. И знаешь почему? — Он наклонился к Шаю, положил тяжелую руку на его тощее плечо.

Тамар ощутила волну сдерживаемого насилия, кругами расходящуюся от Пейсаха. Асаф огляделся — остальные громилы не сводили глаз с главаря, невольно повторяя его движения.

— Ты правда хочешь услышать, почему ты никогда не завяжешь? Потому что ты нулик, нулик в кубике ты без своей дозы. Ты и полдня не можешь провести без ширева, на улицу выйти не можешь без него, с людьми почирикать не можешь, девку снять не можешь без кайфа своего. А уж оттрахать кого... не смеди меня. Может, во сне он у тебя и встанет без дозы. Так вот, я, Пейсах, папулик твой и мамулик, твой друг и подружка, твой агент и твое будущее, я тебе советую — бери, бери по-хорошему.

Шай слушал его, опустив голову. С каждым словом Пейсаха он делался все ниже, как будто его молотком вбивали в землю. Но когда Пейсах замолчал, Шай выпрямился, откинул волосы с лица и сказал:

— Нет.

— Жалко мне тебя, — вздохнул Пейсах. — У тебя пальчики Джимми Хендрикса, но как хочешь.

Он отступил на шаг и подозвал Шишако. Тот подошел, мрачный и поджарый, дернул Шая за правую руку. Шай заскулил и попытался вырвать ладонь.

— По правде сказать, я малость теряюсь в догадках. — Пейсах почесал голову. — За что будет первый пальчик — за «мицубиси», которую ты раздолбал, или за кореша нашего Мико, нынче озонирующего воздух Русского подворья? Как вы считаете? — обратился он к своим бульдогам, тарасившимся на него точно загипнотизированные. — Может, сперва сломаем, а решать потом будем?

— Лучше не стоит, — произнес чей-то голос, медленный и тяжелый.

Шишако застыл на месте. Шай быстро вырвал руку и спрятал ее за спину. Бульдоги нервно озирались, Динка зашлась в бешеном лае, а Пейсах быстро отступил в тень.

— Прибалдел я малость, — сказал Носорог, спускаясь с холма. — Ну и местечко вы себе выбрали. У меня аж ноги затекли. Привет, Асаф!

В последующие дни, когда Асаф прокручивал в мозгу всю эту историю, его не покидало ощущение, что финал должен был сложиться немного иначе. Капельку драматичнее. Что-нибудь этакое — со столбами дыма и всполохами огня, и нечеловеческой схваткой не на

жизнь, а на смерть, и чтобы она длилась несколько часов...

На деле же все произошло как-то буднично. Выяснилось, что вокруг полным-полно полиции, все в гражданском, они еще с вечера залегли у ручья, в кустах, в зарослях сорняков. Там был даже комиссар из отдела по борьбе с наркотиками — тихий, суховатый очкарик, который служил с Носорогом в одном танковом экипаже. Носорог рассказал Асафу, что этот полицейский очкарик, как бы это выразиться, немножко обязан ему жизнью.

Речь Пейсаха записали на магнитофон — как тот заставлял Шая взять наркотики.

— Да, улики хватают, — бесстрастно сказал комиссар.

Все эти события заняли не больше десяти минут. Мир перевернулся дважды, в результате возвратившись в свое прежнее положение. Пейсах, разумеется, попытался удрать. Несмотря на свой огромный вес, он был очень скор и проворен, и потребовалось четверо полицейских, чтобы его схватить. Но и тогда он не сдался, отбивался до последнего. Тамар потом вспомнила, что в прошлом Пейсах — профессиональный борец. В конце концов его все-таки повалили на землю, лицом вниз, и связали руки. А когда поставили на ноги, выглядел он жалким и несчастным. Полицейские надели наручники на всю шайку, усадили их попарно и запретили разговаривать. Одни наручники потерялись во время возни с Пейсахом, выяснилось, что как раз для него-то и не хватает. Тогда Тамар кинулась в пещеру и тут же вернулась с парой новеньких наручников, которые с непроницаемым видом протянула полицейским.

— Может, у тебя есть и прибор ночного видения? — улыбнулся один из них. — А то мой испортился.

Полицейские осмотрели пещеру, пытаюсь понять, что там происходило. Комиссар задал Тамар несколько вопросов, сделал какие-то записи, и по тому, как запотели его очки, можно было догадаться, что он едва сдерживается.

— А если бы тебе не удалось? — спросил он своим бесцветным голосом. — Ты ведь понимаешь, что все обстоятельства были против тебя? Что бы ты делала?

— Мне бы удалось, — твердо ответила Тамар. — У меня просто не было выбора.

Шай сидел в сторонке, привалившись к скале, обессиленный и истекающий потом. Тамар подошла к нему, села рядом, обняла за плечи. Они зашептались.

Асаф разобрал:

— Сегодня, сейчас. Мы просто отвезем тебя туда, ты постучишься и войдешь.

— Они никогда не согласятся, — едва слышно прошептал Шай. — Они меня даже не искали.

Тамар сказала, что им всем еще предстоит поговорить об этом ужасном времени, но они его ждут. Шай хрипло рассмеялся — откуда такая уверенность? Тамар посмотрела на Асафа. Он сел рядом с ними и спокойно рассказал о встрече в кафе. О том, как плакали те двое.

— Не верю, — сказал Шай. — Он плакал? На людях? Ты уверен, что видел слезы?

Полицейские ушли, гоня перед собой полную бессильной злобы колонну арестантов. Носорог остался, предложил отвезти их домой, а завтра, с солнышком, они вернутся сюда и все соберут. У Асафа упало сердце. Значит, все закончилось? Все волшебство? Весь этот ужас и все это счастье?..

Все вместе они поднялись на холм. Динка бежала впереди, Носорог поддерживал Шая. Потом он поручил его Тамар и зашагал рядом с Асафом. Асаф спросил, как он все это организовал и как Пейсах нашел их. Носорог рассказал, что после того как в Эйлате умерла бездомная девчонка, сбежавшая из коммуны, ребята из отдела по борьбе с наркотиками всерьез взялись за Пейсаха, поставили его телефоны на прослушку. Материала у них на него хватало, недоставало лишь последнего штришка, и, когда Носорог позвонил своему замороженному приятелю комиссару, тот пришел в полный восторг.

— Ну а дальше все просто. Кое-кто нынче вечером явился к Пейсаху, может, это даже был я, и между делом просветил его, где обретаются упорхнувшие пташки. А потом — сплошной детский сад.

Луна скрылась за облаками. Идти стало трудно. Они продирались через заросли теребинта. Слышалось только тяжелое дыхание и свист, вылетающий из легких Шая. Асаф чувствовал странную задумчивость Носорога. Несколько раз Асаф пытался заговорить о Релли, но слова не шли. Возможно, уже и не надо ничего рассказывать, подумал он.

Наконец они забрались в джип Носорога. Все молчали. Только однажды Шай сказал:

— Я бы не отказался сейчас от косячка.

Тамар поняла, как он боится предстоящей встречи, да еще без наркотической брони. Асаф смотрел на угадывающийся во мраке пейзаж и думал: ну вот, через десять минут все закончится, через пять, через минуту...

Палисадник перед домом освещал одинокий фонарь. Тамар выглянула из машины, припомнила, как ушла отсюда месяц назад. Динка беспокойно металась, учуяв родной дом. А Асаф... Он смотрел на красивый дом, ухоженный садик, на две серебристые машины на стоянке и чувствовал, как сжимается его сердце.

Шай выбрался из джипа, остановился у калитки. Динка выскочила следом и в полном упоении стала кататься по траве. Шай повернулся к Тамар:

— Ну, ты идешь?

Тамар молчала.

— Иди ты, — наконец сказала она. — Сначала ты. Вам надо поговорить без меня. Я приду завтра утром.

Асаф в изумлении уставился на нее. Носорог сидел к ним спиной, барабаня пальцами по рулю. Вдруг оказалось, что он состоит из одной спины.

— Я подумала, — неуверенно заговорила Тамар, — что мне нужно провести еще одну ночь там. Я не простилась как следует с этим местом.

— Одна? — глухо спросил Носорог.

Молчание.

— Динка пойдет со мной, — прошептала Тамар.

— Э-э... я... я тоже, — сказал Асаф.

Носорог пожал плечами, опустил голову на скрещенные на руле руки. Через лобовое стекло они смотрели, как Шай входит в калитку, идет по мощеной дорожке, и понимали, что только сейчас он начинает свое возвращение к жизни, — удастся ли оно ему? Дойдя до двери, Шай обернулся. У него был вид загнанного зверя. Асаф и Носорог одновременно выставили большие пальцы. Тamar кивнула. Шай постучал в дверь. Она не открылась. Он подождал ровно одну секунду и развернулся — полным обиды и возмущения движением, но тут в окне вспыхнул свет. Шай замер, явно готовясь рвануть прочь. Еще через секунду дверь отворилась. Шай долго смотрел внутрь. Потом очень медленно шагнул вперед и вошел. Дверь закрылась. Асаф услышал рядом какой-то сдавленный звук и увидел, что у Тamar мокрое лицо. Он подумал, что до этой минуты не видел, как она плачет.

— Я не реву, — прошипела она ему на ухо, едва сдерживаясь.

Асаф коснулся пальцем блестящей струйки на ее щеке.

— Нет-нет, — улыбнулась она сквозь слезы, все еще не сдаваясь. — Это так, немножко... не знаю... просто у меня аллергия на сентиментальность.

Асаф лизнул мокрый палец.

— Это слезы, — вынес он вердикт.

Всю дорогу она рыдала у него на плече, содрогаясь и всхлипывая, — разом за все тяготы последнего месяца.

Носорог доставил их на автобусную остановку над оврагом, простился и уехал. По-прежнему стояла темень, правда, уже не такая непроглядная. Динка бегала вокруг, энергично размахивая хвостом. Они прошли по обочине шоссе, потом спустились в низину, помогая друг другу в трудных местах, ища поводов дотронуться, ухватиться. Они молчали. Тамар подумала, что еще не встречала человека, с которым так легко молчать.

# Примечания

## 1

Фисташковые деревья. — *Здесь и далее примеч. перев.*

## 2

Пресвятая Богородица (*греч.*).

## 3

Парафраз из Первой книги Царств.

## 4

Барышня (*идиш*).

## 5

Ог, царь Васанский, упоминается в Библии, кн. Второзаконие; отличался гигантским ростом.

## 6

Иегуда Поликер — популярный израильский певец и композитор, в творчестве которого отчетливы греческие народные мелодии.

## 7

День совершеннолетия, отмечаемый по еврейской традиции при достижении девочками двенадцати лет.

## 8

Киббуц на южном берегу о. Кинерет.

## 9

Иегуда Амихай (1924–2000) — выдающийся израильский поэт.

## 10

Бней-Брак — город в окрестностях Тель-Авива, большую часть населения которого составляют малоимущие ультраортодоксы.

## 11

Мой человек (*греч.*).

## 12

Распространенное израильское ругательство, проникшее в иврит из русского языка в первой половине двадцатого века.

## 13

Сюзанна тебя приведет  
В дом свой у тихой реки.  
Там слышно, как лодки плывут.  
Ты рядом с ней ночь проведешь.  
И пусть Сюзанна безумна,  
С ней ты захочешь остаться.

Песня Леонарда Коэна; здесь и далее перевод Александра Голева.

## 14

Она тебе чаю нальет  
И угостит апельсином,  
Но только захочешь сказать,  
Что нет у тебя любви для нее,  
Она тебя сразу поймет  
И реку попросит ответить...

**15**

Что всегда любила тебя.  
И уплыть захочешь ты с ней,  
Уплыть, зажмурив глаза.

**16**

«Не звони нам, мы сами тебе позвоним» (*англ.*)

**17**

Русское подворье — это, прежде всего, Троицкий собор, церковно-административный центр Московской патриархии в Иерусалиме. Прилегающие к нему постройки долгое время были заброшены, и впоследствии в них разместили иерусалимскую полицию и суд.

**18**

Стихи Н. Заха, перевод Г.-Д. Зингер.

**19**

Универмаг в центре Иерусалима.

## 20

Жареные птичьи потроха в лепешке.

## 21

Популярный иерусалимский ночной клуб.

## 22

В арабской деревне Шуафат, находящейся в черте Иерусалима, находится ветеринарная станция, занимающаяся бездомными животными.

## 23

«Сима» — недорогой мясной ресторан вблизи рынка Маханэ Йегуда.

## 24

Теодор Герцль (1860–1904) — писатель и мыслитель, основатель сионизма как политического движения.

## 25

Административно-торговый центр на улице Яффо.

## 26

Повсеместное название пешеходных зон в израильских городах.

## 27

Билли Холидей (настоящее имя Харрис Элеонора, р. 1915) — выдающаяся джазовая певица; песня «God bless the child» («Господи, благослови дитя») относится к раннему периоду ее творчества.

## 28

Небольшая поэма израильского писателя и поэта Михаэля Снунита, обращенная к детям, но ставшая популярной и среди взрослых.

## 29

Не спеши, крошка (*англ.*).

## 30

Януш Корчак (наст. имя Генрик Гольдшмит, 1878–1942) — польский педагог и просветитель.

## 31

Галабие — арабская длинная рубашка.

## 32

Мэриан Фейтфул (р. 1946) — английская рок-певица. Первые альбомы бывшей монахини были сочетанием фолк- и рок-музыки. После неудачной попытки самоубийства и проблем с наркотиками Мэриан снова появилась на рок-сцене в 1976, но ее нежный голос звучал уже хрипло и скорбно.

## 33

Высшая талмудическая школа.

## 34

Заброшенная арабская деревня у въезда в Иерусалим.

## 35

«Звук похорон в моем мозгу...» (*англ.*).

**36**

Счастличик (*иврит*).

**37**

Кальяны.

**38**

Национальное блюдо сефардов (евреев, выходцев с Востока) из мяса, фасоли и картофеля.

**39**

Очищенные жареные фисташки (*вообще-то кукурузные палочки на арахисовом масле — sem14*).

**40**

Популярная компьютерная игра «Башни и драконы» («Dungeons & Dragons»).

**41**

Группа (*иврит*).

**42**

«Эгед» — автобусный кооператив.

**43**

Цвет спортклуба «Апоэль» («Рабочий»).

**44**

Ароматизированное красное вино.

## 45

«Звездная, звездная ночь» — песня американского композитора и певца Дона Маклейна.

## 46

«Шели» на иврите означает «моя».

## 47

Известный израильский радиожурналист, ведущий популярной «исповедальной» передачи.

## 48

Бар-мицва — празднование совершеннолетия мальчика, достигшего тринадцати лет.

## 49

Израильская вооруженная операция по освобождению заложников в аэропорту Уганды в 1976 г.

## 50

Парафраз из Библии, кн. Исход, 24:7.

## 51

Иудино дерево (*Cercis siliquastrum*) — одно из наиболее распространенных деревьев Восточного Средиземноморья.

## 52

Историческое сообщение, переданное Мотой Гуром во время Шестидневной войны.

Пещера в Хевроне, где расположена гробница патриархов.